

ЧЕТВЁРТАЯ

ВОЛНА

альманах
берлинских
литераторов

ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА

**Berlin
2016**

Альманах берлинских литераторов
«ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА»

Руководитель проекта
Светлана АГРОНИК

Dr. Svetlana Agronik, Leiterin des Projektes «Impuls»
(Integrationsdezernat der Jüdischen Gemeinde zu Berlin).

Составитель
Александр ЛАЙКО

Технический редактор
Иосиф МАЛКИЕЛЬ

ISBN 978-3-926652-92-8

Берлин
2016

СОДЕРЖАНИЕ:

Несколько слов от составителя	5
Елена Мадден Эмиграция как выбор: три судьбы...	7
М. Калеко, Й. Рингельнатц, Г. Бенн, Э. Кестнер Столик на четверых. Предисловие и перевод Марины Науйокс	18
Леонид Лейках Жор тухлых яиц. на тризне великого Сталина. Рассказ	26
Ольга Завадовская Стихи	34
Леонид Немировский Мои мемуары	41
Карл Абрагам Баварский квартал. Эссе	46
Михаил Гельцер Солженицин не прав	51
Любовь Рейнгач Стихи	59
Константин Июльский Неисповедимы пути Господни /Из записок журналиста/	62
Генриетта Ляховицкая Стихи	77
Вадим Фадин Пейзж в окне напротив. Ночная жизнь Китежа. Рассказы	82
Ульяна Шереметьева Стихи	98
Александра Лебедева «Сделано в ГДР» /Рассказы очевидца/	104
Борис Рохлин Моя Шали. Маленький герой. Рассказы	111
Михаил Вайман Стихи	123
Борис Черепашенец Чёртова поляна. Ромны. Рассказы	130
Виктория Жукова На болоте. Рассказ	137
Илья Китуп Стихотворения из шести книжек	148
Леонид Усач От Советского Информбюро. Ленинцы. /Сцены из актёрской жизни/	155
Вера Лурье Из воспоминаний. Предисловие и перевод Антонины Игошиной	166

Г.Гейне,Э.Мёрике,Г.Лойтхольд,Г.-А. Бюргер, В. Буш, Х. Моргенштерн, Г.Гессе,Э. Кестнер Переводы из немецкой поэзии Альфреда Ходорковского	185
Марлен Глинкин Миниатюры	194
Иосиф Вольфсон Небольшие рассказы о большой войне	205
Леонид Кац Иронические стихи	213
Олег Никогосян Берлинские собаки. Эссе	216
Дмитрий Хмельницкий «Погано работать на этих людей...» О дневниках Е.Лансере	220
Евгений Денисов Стихотворения разных лет	233
Ирина Винклер Мой друг Рональд. Раввин. Казаки. Запеканка. Рассказы	239
Александр Бренер Стихи	250
Анна Мелихова Море. Эссе	254
Дурс Грюнбайн Берлинские маршруты. Перевод и предисловие Марины Науйоке	259
Михаил Эненштейн Супник. Гефилте фиш. Рассказы	267
Александр Лайко Из старой берлинской тетради. Стихи	274
Маргарита Их Девочки. Повесть. /Журнальный вариант/	281
Марлиз Шмидль За танками вослед. Поэма Перевод с немецкого Бориса Шапиро	289
Юрий Векслер Писатель и история. К первой публикации в России «Избранных сцен» из романа-драмы Фридриха Горенштейна «На крестцах»	297

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемая читателю книжка – это сборник поэзии и прозы литераторов-эмигрантов из России, живших и живущих сейчас в Берлине. Если вести отсчет от первой послереволюционной эмигрантской волны, то, после падения Берлинской стены, – мы, очевидно, четвёртая волна людей, которые покинули родину в конце 90-х и в нулевые годы 21-го века.

Такая вот затянувшаяся на два века история, и конца ей не видно. На родине у нас, перефразируя поэта, до боли знакомые кони – всё скачут и скачут, а избы – горят и горят.

Хотя многим из наших эмигрантов и удалось реализовать себя дома – и профессионально, и человечески, – остался, тем не менее, практически у всех какой-то не востребованный потенциал. К этому следует добавить непривычное ощущение личной раскрепощенности и отсутствия цензуры.

Итак, «воздух свободы сыграл с Плейшнером злую шутку», – и люди начали писать. Очень по-разному, – в соответствии с разной степенью одаренности, разным жизненным опытом, разным кругом интересов. Кто-то – профессионально, так как и здесь остался профессионалом, кто-то – без особых затей, просто как очевидец и участник прежней домашней и новой тутошней эмигрантской жизни. И, откровенно говоря, второй вариант был для меня часто даже более предпочтительным при собирании материалов для этой книжки.

Есть у нашего сборника еще одна особенность. Хотя авторы во многом и приобрели современные европейские интересы и взгляды на жизнь, сумели переосмыслить и свое прошлое, и прошлое своей страны, – все-таки «домашние заготовки» преваляют в их литературном хозяйстве. И сегодняшние темы часто заглушается «фантомными болями» из нашего прошлого, – факт, как говорят, в медицине хорошо известный.

Наша книжка только берлинская и отражает ситуацию «здесь и сейчас». Она показывает определенный срез нашей здешней массовой культуры, и этим, мне кажется, и любопытна.

А вот с чем эту книжку будет занятно сравнить, так это с литературной продукцией будущих русских эмигрантов – пятой волны. Что-то заставляет меня думать, что они уже собирают чемоданы. Пусть они приедут и напишут лучшие нас.

*Александр Лайко
Берлин, июнь 2016 г*

Елена Мадден

ЭМИГРАЦИЯ КАК ВЫБОР: ТРИ СУДЬБЫ

(по материалам одного архива¹).

В 1918 году Александр Семенович Яценко, тогда ординарный профессор Пермского университета, специалист по международному праву и торговым договорам, прибыл в Берлин в составе советской делегации как эксперт. В архиве Яценко хранятся удостоверения университета и Народного Комиссариата по просвещению, Отд. Высш. Учебн. Зав., выданные весной 1918, речь в них идёт о командировке «за границу для научных занятий на летнее вакационное время 1918 года и на учебный 1918-1919»². Однако ни в 1919, ни позднее командировка «закрыта» не была.

Во вступительной статье к книге «Русский Берлин» сообщается, что Яценко остался за границей по собственному выбору. Отказался вернуться – стал, по словам М.В. Вишняка, одним из первых невозвращенцев³.

В самом ли деле именно так все и было, и если так, то каким было решение – трудным, лёгким? Было оно выношено в долгих раздумьях или родилось сразу и никогда не пересматривалось? Некоторые архивные документы если не оспаривают заявление Вишняка, то говорят о серьёзных колебаниях «невозвращенца». В 1920 году Яценко, во всяком случае, еще не знал определенно, какими будут отношения с родиной.

14 и 22 февраля набрасываются черне несколько писем, в том числе известным лицам – М.М. Литвинову (тогда члену коллегии Наркоминдела, советскому полпреду в Эстонии), поэтам Г. Чулкову (с которым Яценко был дружен), В.Брюсову. Всем адресатам Яценко сообщает, что собирается вернуться. В письмах к официальным лицам подчеркивает, что он в Берлине временно, уедет в обозримые сроки – «как только откроется граница», «когда снята будет блокада» (Набросок письма «Вениамину и Верочке» 22.11)⁴. Иные письма составляет так, чтобы читающий мог заключить: писавший думал о возвращении всегда, и лишь обстоятельства помешали желаемое выполнить (и продолжают оставаться досадной помехой). В наброске письма к Литвинову, например: «С тех пор я сижу без дела здесь в Берлине в

ожидании времени, когда будет разорвано кольцо, которое окружило Россию». Формулировка такова, как будто об эмиграции Яценко н и к о г д а не помышлял⁵.

Трудно сказать, правда ли Яценко с самого начала хотел вернуться – или решение созрело к 1920 г. Во всяком случае, в это время Яценко к нему склоняется. Слова о возвращении пишутся не просто для красного словца и не «впрок» – на случай, если в будущем окажется удобнее жить в России. Неверно было бы думать, что автор писем просто демонстрирует официальным лицам патриотизм и готовность сотрудничать, чтобы не закрывать себе дорогу назад. Другьям он пишет о том же, о чем представителям власти.

Он настроен серьезно. Исполнение намерения представляется реальным и близким. К знакомым Яценко обращается с просьбой выяснить, в порядке ли его квартира (занятая другими людьми). Особенно беспокоит его библиотека и письменный стол с работами и письмами: владелец настойчиво просит узнать, сохранились ли бумаги, в целости ли они⁶.

В письмах 1919-1920 гг. можно найти объяснение этой решимости возвратиться домой. Из письма в письмо повторяется один мотив: **вынужденное безделье**.

В эти годы Яценко готов заняться любым делом. Даже если оно будет бесконечно далеко от его специальности. В 1919 он сообщает одному из друзей, что нашел занятие по организации торговли между Россией и Францией. Яценко переписывается с официальными учреждениями, Скурмунтом (главой торгового дома, перебравшимся из России во Францию) – узнает, какие товары нужны, какие разрешены к ввозу-вывозу, каковы цены и условия оплаты. Переписка профессора права заполняется обсуждением экспорта какао в зернах и прованского масла, дешевых тканей, каучука и нафталина; импорта электроаппаратуры и фармацевтических продуктов... Письма 1920 г. обрастают деталями: сорта, размер пошлины, пути перевозки, объем партий и сроки, проценты комиссии... В 1920 г. составляются обращения к Представителю Российской Советской Федеративной Республики В. Коппу и к наркому просвещения А.В.Луначарскому: созрела новая идея, Яценко берется отпечатать в немецких типографиях учебники для Р.С.Ф.Р. С лета 1921 сотрудничает в американском ХСМЛ: руководит Русскими курсами заочного преподавания при берлинском отделении. Между делом выступает в периодике... Но все это, конечно, временные занятия.

Пожалуй, в русском интеллигенте пореволюционных лет сегодняшнему интеллектуалу нетрудно узнать себя: застигнутый перестройкой страны, он открывает, что не востребоваи; еще пытается заниматься наукой, но поставлен перед элементарной проблемой выживания, видит, что время

нуждается в новых героях, берется за любую работу (откуда только силы и практическая жилка берутся...), пытается заняться даже торговлей (думая, что особого ума она не требует – разве желание тратить время на получение доходов) – и все это в надежде вернуться к привычным занятиям, когда положение немного стабилизируется.

Итак, «Сижу без дела», – досадует Яценко в письме к Литвинову, «томлюсь вынужденным бездельем», – жалуется Л.Б. Красину⁷ (с которым знаком постольку, поскольку в 1918 тот тоже был членом советской делегации в Берлине). К этому времени, видимо, уже стало окончательно ясно, что случайные занятия удовлетворить не могут и постоянными не станут, точка приложения сил все же должна соответствовать наклонностям и профессии.

Наверное, это было очень тяжело для специалиста по международному праву: думать о положении России, выстраивать «концепции» её будущего, видеть поле для работы – и чувствовать себя оторванным от дела, свои силы и знания обнаруживать никому не нужными.

К тому же, менялась экономическая и политическая обстановка, становилось другим и отношение к советской России. Кончалась гражданская война. Рос престиж страны, Европа нуждалась в ней (так, по крайней мере, ситуация виделась из Берлина). «Она из Сандрильоны превращается сразу в принцессу», – писал о новой России Яценко Г. Чулкову.

Вырисовывалась перспектива мирного построения нового государства. Яценко, как человек, по натуре настроенный на, так сказать, жизнеутверждение, предпочитал политической и военной борьбе – строительство, пусть даже и с новым режимом во главе. Эта позиция определилась уже в 1919⁸.

Прагматика, житейский расчет, соображения о выгодах в планах Яценко, кажется, отсутствовали. О тяжелом положении в России, о нужде он знает (упоминает об этом), но как-то не принимает всерьез. Набросок письма к Чулкову: «22/11. Милый Георгий! Прочитал в газете заметку из «Вечернего _____», и узнал, что ты жив и работаешь в Москве. Ты не можешь себе представить моей радости. Тут в газетах писали такие ужасы о голоде в Москве и о ценах, что волосы становятся дыбом на голове. Зная твою бедность, я болею за тебя. Обнимаю тебя нежно и Надю, Гр и Володю./.../ Я живу в Париже с лета 1918 года. Матильда⁹ сейчас находится у родных, я был у нее три месяца. Видел Алексея¹⁰. Он живет у Скиммунта. Пишет роман «Хожение по мукам», который судя по первой части, обещает быть замечательным» и т.д. – метафора «волосы становятся дыбом на голове» призвана подчеркнуть силу сопереживания, но выражения сочувствия воспринимаются в ряду обычных конструкций частного письма (приветствия, повод к написанию, новости...) – и это придаёт словам о сострадании оттенок если не легкомыслия или беспечности, то

недостаточной прочувствованности, недопережитости всерьез. Как видно из письма, не голод кажется главным автору – другое. Доминирует «теория»: размышления о России, восхищение её уникальностью (которая видится в том, что Россия одна во всем мире движима идеальными мотивами). Именно потому в Европе постепенно складывается представление о светлых перспективах русской жизни. «Новая Россия должна быть лучше, культурнее, просвещеннее старой. Старая была слишком развращена, ленива, апатична и труслива. «Но в испытаниях родной веры окрепла Русь. Так тяжкий млат, будто стекло, куёт булат». Из пережитого Россия выходит не посрамленной, а возвеличенной и просветлённой. Среди алчного мира Россия одна представляла идеальную идею. Влияние этой идеи за границей необычайно. Может быть, более даже чем у Вас дома».

Идеи о России и ее будущей роли в мире (несколько идеализированные) были настолько лично важными, что стали темой Яценко-ученого, развивались в его книгах этого времени «Парламентаризм и советизм» и «Восточная федерация» (как явствует из писем, эти книги Яценко планировал напечатать в России и на основе их читать университетские курсы). В одной, как сообщает Яценко, он давал «критику парламентарщины» и искал выход в «советизме» – «что нового может внести советская идея в политическое строительство и каким образом, с точки зрения государственного права, может быть она осуществлена в жизни». В другой писал о «новом политическом мире, образовавшемся на Востоке Европы и том, какие причины, политические или экономические, должны привести к созданию Восточной Федерации»¹¹.

Что ж, теории (метафорический хлеб интеллигента) нередко определяют жизненные повороты и очень часто помогают важнейшим «судьбоносным» решениям...

Не все, однако, могут жить «при идее», от неё и для нее. На это не способен человек иного типа – земной, жадный к жизни, ищущий встреч с ней; и выбор места проживания у него неимоверно затрудняется.

* * *

Соколов-Микитов выехал за границу в 1920 году; в 1922 – вернулся. В архиве хранятся два любопытных письма его к Яценко, от 17/4 января 1925 г. и 17 января 1926 г.

Первое – написано в уверенном тоне. Автор доволен выбором, сделанным в 1922, гордится жизнью, какую ведет, даже хвастается ею: «рядом с волчьим городом, – я открыл такой: с улицами, с площадками для игры молодых, –

у костра, под сало, которое так вкусно шипит над огнём; – кстати: нынче летом я пробовал один на неделю уходить в лес и целую неделю не видеть ни единого человека – это стоит всех Гарольдов и всех Кемпинских!)).

На Западе Соколов-Микитов личность свою ощущал неосуществлённой – в России смог удовлетворить потребность в жизни созерцательно-охотничье-бродяжьей. Поэзия описаний такого образа существования в посланиях Соколова-Микитова звучит убедительно – и это, пожалуй, доказывает, что пишущий искренен, он и в самом деле нашел то, что его душе было необходимо.

Собственно, выбирая жизнь в России, Соколов-Микитов на деле отказывался от городской жизни – в пользу природной: «Я третий год берлогу в Кочанах почти безвыездно: оброс кудлом, сплю чутко, как дрозд на суку, и за полсотни шагов слышу, когда пробежит в траве мышь. Почти все это лето (когда пришло законное для охоты время) – я пробродил с ружьём по лесам, спал во мху, рядом с волчиными выводками, жарил на костре дичь и пил самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного черта (это совсем не похоже на Luna Park и на Garold)»¹².

В Германии он чувствовал себя маленькой шестеренкой огромного механизма, обречённым вечно «крутиться», принимая не им заведенные правила существования; жизнь в центре цивилизации оплачивалась утратой самоуважения. Российская глушь освободила от непомерной платы за «преимущества» цивилизации: «...не свишу в кулак, не халтуру, не пресмыкаюсь, никого не бью по мордасам и меня не бьют, – а все это по нынешним временам ух какая редкость!...»¹³ Любопытно: природа и городской мир в представлении Соколова-Микитова как бы поменялись местами. Именно в обществе уподобляешься «дарвиновскому» животному: «пресмыкаешься» либо силой занимаешь место под солнцем, сносишь толчки и выпады себе подобных, всегда готов к ним. (Если решил жить среди людей, должен принять *борьбу за кусок* как данность, как должное, как закон.) Природа же, как ее видит автор письма, более располагает к человечности. Можно и так сказать: цивилизация плебейски устроена – природа требует аристократизма. Тут даже не просто независим ни от кого – чувствуешь себя правителем, мудрым, справедливым, королевски-великодушным: «И кто я был в Берлине? А теперь я знаю, как поет каждая птичка, знаю всю соль охоты: умею щадить дичь, никогда не убиваю, когда мне не нужно – и как приятно отпустить жить какого-нибудь белопорточного зайчишку! – и сколько-сколько раз бывало: то заяц прибежит мне прямо в колени, то рябец подойдет так близко, что его можно взять рукою...»

Итак, собственно, не в родине или чужбине было дело – взвешивались природа и цивилизация, воля и зависимость от других, ощущение себя

хозяином в своем мире – и презренная, унижительная необходимость поступаться собой, подлаживаться под чей-то (недостойный) образ жизни...

Казалось, открывалась возможность определить линию своей жизни так, чтобы никогда потом не раскаяться. Если бы только мы последовательно держались собственных установок, если бы самочувствие наше было в ладу с рационально выработанной «программой» жизни, если бы наши собственные потребности и желания были абсолютно прозрачны для нас...

Пожалуй, неудивительна неожиданная, на первый взгляд, смена настроений во втором письме: неудовлетворенность, внутренний надрыв, тоска. Мечта о далеких заграничных пространствах (теперь именно они видятся воплощением свободы) и отвращение к своему, родному. «На третий год все это мне отчаянно отошнело (все, кроме охоты): на мужиков, т.е. на Россию – я нагляделся всытость, глядеть больше не на что и я м у ч и т е л ь н о, из всех сил хочу хлебнуть моря и света».

Образ жизни не изменился; что же произошло?

Соблазнительно, но неверно было бы вычитать из письма разочарование в российской жизни и оправдание эмиграции. Второе письмо, конечно, ни в коем случае не запоздалое сожаление о выборе. И не возвращение блудного сына в цивилизованный мир. Скорее уж, очередная попытка убежать от этого мира: ведь российская глушь тоже ему принадлежит, при всей примитивности жизни ее обитателей; человек, обремененный семейством и домом, уже скован зависимостью от «общества», заключён в оковы «цивилизации» («теперь я связан, как овца на возу») ... Прежде автор писем рвался на родину, теперь – за границу, но если всмотреться, мотивы – все те же: желание избежать необходимости приспособливаться, устраивать дела, ломая гордость, соприкасаться с бюрократической рутинной. (Не потому ли оказалось проще просить «д а л ь н е г о» помочь с визой, вместо того, чтобы самому заняться ею – в Москве: «...нравы московские таковы: чего зубом не ухватишь, того и не возьмешь /.../ и не люблю я Москву всею душою моею и всем помыслом моим»)...

Пожалуй, есть нечто трагикомичное в этих абсолютных переоценках родины-чужбины, в той легкости, с какой меняются местами пункты отправления-назначения (вместо «из города – к природе, на волю» – «из тесного мирка – в большой мир, к свету, свободе»). В этом ... неумении? отдать себе отчет в своих побуждениях, в собственной природе, определиться в коренных ценностях. Беда человека «слишком земного» в том, что он, не умея найти себя, и в жизни не находит себе места – буквально: «географическая» проблема становится для него болезненной.

Кажется, иначе у тех, кто однажды как бы вторично родился во вневременном и внепространственном мире идей. Таким людям должно

быть легче решиться жить вдали от родины: их настоящая «родина» иная, и, собственно, любая среда более или менее питательна для мысли, которая развивается, в общем-то, по собственной логике.

* * *

Для Б. Вышеславцева эмиграция (он поселился в Париже) оказалась поддержкой в философских размышлениях, подтверждала правильность любимой мысли о преображении Эроса. Об этом прямо говорится в письмах к Яценко, датированных 20 декабря 1925 и 18 апреля 1926 года. Темы писем сильнейшим образом связаны с идеями, вышедшей в 1931 книги Вышеславцева «Этика преображённого Эроса»; потому необходимо сказать о ней хотя бы несколько слов.

В книге Вышеславцев утверждает вместо этики старой, нормативной и «морализирующей» (требующей исполнения долга) – новую, где выбор диктуется любовью¹⁴. Вышеславцев рассматривает Эрос как мотив этического выбора и вообще как силу, явно и скрыто определяющую поведение человека. Она, эта сила, должна быть распознана и отдана наиболее достойной цели.

Подобные идеи, как известно, разделяли многие авторы XX века. Психическая энергия Эроса может и должна быть направлена на «творчество» – в этой мысли Вышеславцев сходится с Н. Бердяевым (его имя названо уже в авторском предисловии к книге). Можно было бы назвать и другие параллели. А. Платонов, например, многие годы одержим был мыслью бросить «силу телес» не на «производство потомства», но, например, на изобретение небывалой цивилизации, на антропотехнику – искусство строить человека¹⁵.

Идея сублимации эротической энергии, конечно, перенята у Фрейда. Но во многом Вышеславцев с ним спорит. Саму сублимацию он понимает иначе, чем Фрейд. У Фрейда религия, искусство – иллюзия, по сути, это сексуальное влечение, *и только*; высшее сводится к низшему, «редуцируется». Поэтому критик Фрейда выступает с парадоксальным заявлением о том, что у Фрейда на самом деле нет сублимации (её подменила «профанация»).

У самого Вышеславцева сублимация – возвышение, преображение, пресуществление эротической энергии, она становится *aufgehoben* (снятой, уничтоженной и одновременно сохраненной, поднявшейся на высшую, принципиально иную ступень)¹⁶. Появляется возможность «Эрос» понимать расширенно. Он у Вышеславцева не исчерпывается *libido*. Он может быть

плотским желанием – и воплощаться в поэзии или философии. В этом современный философ следует Платону, у которого Эрос – сила, движущая мирами – многолик, может быть низмен – и высок.

Однако какое отношение имеют все эти выкладки к рефлексии Вышеславцева-эмигранта? Как повлияла эмиграция на идеи философа?

В письмах Вышеславцев много говорит о Париже. Утверждает, что Париж имеет для него «провиденциальное» значение.

Вышеславцев описывает (понимая невозможность передать ощущения) парижский дождь, поэтичные улицы, помогающие размышлениям. Париж – прекраснейший город, располагающий к восхищённому любованию – и, стало быть, пробуждающий «эротическую», творческую энергию. Это важно: Эрос обеспечивает «рождение в красоте»¹⁷, открытое глазу Прекрасное сказывается на порождённом...

Но Париж – «самый эротический город» ещё и потому, что наглядно показывает ступени Эроса и их иерархию. В письмах, адресованных Яценко, – философские размышления и бытовые, «эпикурейские» описания (обстановка квартиры знакомого, обеда, «чудное вино», русский ресторан и «хорошенькая русская барышня»)⁸. Париж, как никакой другой город, демонстрирует «лестницу восходящих блаженств», как пишет Вышеславцев. Тем легче выбрать достойнейший объект желаний: «Дистанция недоступности всегда создаёт туман очарования. Здесь этой дистанции нет. Ходи и убеждайся: внизу – «то, что чернь называет блаженством», выше – то, что нувориши называют блаженством; а дальше начинается восхождение по мере сил, насколько позволит сердце и дыхание».

В Париже Вышеславцев осознавал себя – место своей философской системы среди других, свои пристрастия. Он пишет: мудрость стремится к евдемонии – «в этом смысле я, пожалуй «эпикуреец», точнее сторонник эвдаймонизма – блаженства, как цели философии. Однако «блаженство» не состоит для меня, как для Эпикура, в холодной ключевой воде и пшённой каше (довольно её поели в «пайках»),.. не состоит оно для меня и в обеде, вине и «галантных» rendez-vous! Париж лучше всего научает, что блаженство не в этом: он показывает это в бесчисленных экспериментах, со всех сторон и во всевозможных комбинациях. В этом его величие и глубина для искателя глубин». И вот вывод: «Благословляя свою судьбу, что не уехал в Россию и еще раз благословляя, что приедешь в Париж»¹⁹.

Может быть, в таком восприятии «столицы мира» было преувеличение, привнесённые «книжные» впечатления, самовнушение, некоторый самообман – эмигрант, который знает, что вернуться невозможно, ищет оправдания, высшего обоснования своему положению; но...

Париж больше вдохновляет, более располагает к верным ориентирам,

чем Россия – пусть это иллюзия, но она была настолько сильной, что дала вполне реальный результат.

* * *

Что касается А.С. Яценко, он решение принимал, в конечном счёте, иначе – проще. Не по «теории».

Нашлось дело по душе. С 1921 редактировал журнал «Русская книга» (позднее «Новая русская книга»): уникальное библиографическое издание и сейчас очень высоко оценивается специалистами²⁰. В 1924 открылось и место по специальности. Яценко долгие годы проработал профессором юридического факультета Каунасского университета.

В конце концов, существовало и совсем простое, но сильнейшее обстоятельство. В 1924 г. образовалась семья. Женой Яценко стала немка Алиса Кегель – родившаяся с мужем день в день (только на 22 года позже), конторская служащая – позднее она стала брать уроки живописи и рисунка и делала успехи: обнаружился талант...²¹

Кажется, именно житейские обстоятельства «укоренили» Яценко за границей – сильнее, чем это могли бы сделать любые теории и убеждения. Яценко любил жизнь, обнаружил умение *выживать*, приспосабливаться к новой среде; был «крепкий жилец», по выражению его знакомого, – качество, которое с разных точек зрения можно воспринимать с уважением или снисходительно, как бы то ни было, именно оно помогло ему жить дальше, работать – и послужить, по мере сил, России, ее культуре.

И ещё несколько слов – чтобы избежать непонимания. Двое остались в эмиграции и были удовлетворены жизнью, третий вернулся – и не избежал душевного покоя. Заманчиво было бы вывести из трех судеб апологию эмиграции. Но было ведь и иначе (у Шмелева и Поплавского, Зайцева и Газданова...) Так что речь, собственно, о другом. О том, как часто настоящие мотивы выбора не ясны самим выбирающим. И о том, как много зависит от скрытых обстоятельств – от склада характера, целей и занятий... И, наконец, о том, что даже принципиальное и решительное «да» в пользу эмиграции из русской культуры не изымает.

¹ Nachlaß von Jaščenko. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

² Письма цитируются с сокращениями, принятыми в подлиннике; орфография оригиналов (чаще всего соответствующая старым правилам) не соблюдается.

³ Вишняк М. Дань прошлому Н.-Й., 1954. С.171.

⁴ Обращение к Литвинову – в наброске письма к Кунце 14.11.1920 (в двух вариантах).

⁵ Ср. Брюсову 22.11.1920: «Я уже полтора года живу в Германии, в ожидании, когда можно вернуться в Россию». из письма 14/11.1920 Владимиру Дмитриевичу: «С тех пор я живу в Берлине, в ожидании возможного возвращения в Россию».

⁶ Может показаться эгоистичной эта забота о книгах и бумагах в первую очередь; но, видимо, так уж устроена душа книжного человека: главная страсть заставляет забыть о житейски насущном и – порой – даже о требованиях морали, теряется способность видеть себя со стороны... Утрированно – и выразительно – описал этот феномен Е. Замятин в «Маме»: человек меняется, когда дело касается любимых книг: мышь съела деньги, желанную книжку купить невозможно – и мгновенно одичавший персонаж (вообще-то тихий и мягкий) заносит кинжальчик...

⁷ Письмо 12.IV.1920.

⁸ В одном из писем того времени говорится: «Нам нужно как можно скорее установить в России мир и приняться за ее экономическое восстановление. Главная опасность – затягивание борьбы. Если к зиме большевики не будут разгромлены, попытаться с ними сговориться. А то от России останется одно кладбище и пустыня, и очень тощим будет утешение, что это кладбище – противобольшевистское и пустыня – про-антантская». Это – в письме к другу, так что уверения (например, обращенные к «т. Красину»), в готовности «поработать для России» и «для великой идеи», которой служат адресат, – не расчёт, продиктованный конъюнктурой момента, а убеждение, отвечающее самому характеру Ященко.

⁹ Первая жена Ященко.

¹⁰ А.Н. Толстого.

¹¹ Письмо 22/11.1920 В.Я. Брюсову.

¹² Письмо 17 января 1926 г.

¹³ Письмо 17/4 января 1925 г.

¹⁴ Прообраз альтернативы долга и любви Вышеславцев находил в христианской традиции, в противопоставлении Закона и Благодати у ап. Павла.

¹⁵ («Родоначальники нации»). Идея трансформации половой энергии в творческую подпитывалась и планами Н. Фёдорова вложить силу размножения в дело воскрешения предков. Утопические масштабы, конечно, сохраняют красоту идеи. Но в «Антисексусе» Платонова уже отталкивает прагматика правильного обращения с эросом. Идея использования стихийных сил природы, как обнаружилось, прекрасно усваивается (и присваивается) тоталитарными структурами. Насильственно организованная жизнь иссушена, вызывает платоновские сарказмы, впрочем, не только смешна – страшновата.

¹⁶ Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. (Б-ка этич. мысли) С.109-111.

¹⁷ С.14. Ср. в «Пире» Платона: «Любовь... – стремление родить и произвести на свет в прекрасном» (Платон. Соч.: В 3 тт. М., 1970. Т.2. С.137. 206е).

¹⁸ Письмо от 20 декабря 1926 г.

¹⁹ Письмо от 18 апреля 1926 г.

²⁰ «Задача «объединения» литературы воспринималась 19 современниками как беспрецедентная по культурному значению и по смелости организации – в условиях крайней политической и географической раздробленности нации». «Сведения, рассыпанные на страницах журнала Ященко, во многих случаях являются если не единственным, то исходным источником наших знаний о данном периоде» (Русский Берлин 1921-1923: по материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте /Л.

Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. УМКА-PRESS, 1983. С.18, 20). Ср.: «На днях я прочитал в «Общем деле», что ты будешь издавать русский библиографический журнал в Берлине. Известие это ? несколько подняло моё настроение: ещё не все погибло, если можно, черт возьми, заниматься русской библиографией...» – письмо Н.Н. Алексеева от 12 декабря 1920 г. из Константинополя.

²¹ 1 февраля 1929 г. Ф.и Б. Дюшени пишут, радуясь успехам «Алиньки»: «Ты же, Сандро, заслуживаешь самой высокой награды как создатель Али».

СТОЛИК НА ЧЕТВЕРЫХ

Предисловие и перевод с немецкого Марины Науйокс

Все время между двумя мировыми войнами, – «немецкую оттепель», – берлинская богема просидела в литературных кабаре и кафе.

Здесь же, за столиками, между сахарницей и кофейником, писались стихи, придумывались театральные постановки, делались наброски к картинам. Из таких кафе наибольшей популярностью пользовались «Большое безумство», «Уютный уголок у Шванна», «У мамыши Менц», «Ресторация Шлихтера», в которой бывали и люди из театра и где задумывалась «Трёхгрошевая опера».

Но наиболее посещаемой точкой этого «литературного общепита» было, конечно же, «Романское кафе», стоявшее на месте современного Европа-центра. Здесь мирно уживались представители самых разных литературных направлений. Прозаики Цвейг и Ремарк активно общались с поэтами-декадентами. Поэтесса Эльзе Ласкер с удовольствием кокетничала и с экспрессионистом Бенном, и с импрессионистом Демелем и, невзирая на различие их эстетических платформ, крутила, как тогда говорили, «роман века» с обоими.

За наш виртуальный «столик на четверых» я предлагаю посадить постоянных гостей «Романского кафе» – Йохима Рингельнатца, Машу Калеко, Готфрида Бенна и Эриха Кестнера. Не исключено, кстати, что они и в реальности оказывались именно в такой компании, хотя трудно представить себе более разных по стилю поэтов – Кестнера и Рингельнатца, создателей «лирики для всеобщего употребления», экспрессиониста Бенна и Машу Калеко, для творчества которой немецкие литературоведы не придумали ещё до сих пор точного определения. Но есть у этой четвёрки и нечто общее, – все они стали классиками немецкой литературы.

И многие свои стихи они писали в литературных кафе – разных, не только в «Романском». А также и о самих этих кафе.

Давайте прекратим скрипеть стульями и стучать тарелками, прислушаемся к стихам, раздающимся с соседнего столика на четверых.

Маша Калеко (1907 – 1975)

СТИХИ, НАКАРЯБАННЫЕ НА СТОЛИКЕ
«РОМАНСКОГО КАФЕ»

Я не люблю чего-то долго ждать,
ведь ожиданье мучительно и тяжело, –
сидеть сто лет над недопитой чашкой
и кельнеру без дела досаждать.

Пусть ждут меня, ведь было так когда-то.
Но вот любовь уходит, не спрося.
Что тут сказать? Молчим лишь виновато
о том, что словом выразить нельзя.

Полпервого. Гостей уж не осталось,
давно все дома или же в пути.
Огромный город. Пустота. Усталость.
Жить незачем и не к кому идти.

МАЖОРНЫЙ СОНЕТ

Перебирая жизнь свою устало,
спрошу себя в свободный тихий день:
Пока с души моей не стер ты тень,
что до тебя, любимый, я искала?

Жизнь в пустоте – без счастья и без горя,
чем было без тебя мое вчера?
Одни стихи лились из-под пера
и утекали, словно реки, в море.

Я птичьего не замечала пенья
и безголосой сделалась сама.
Всегда одна, – я не ждала спасенья,
и круглый год была одна зима.

Но стоило остаться не одной, –
и вот зима сменяется весной.

**Йоахим Рингельнатц
(1883 – 1934)**

В БЕРЛИНСКОЙ ЗАБЕГАЛОВКЕ.
ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО О КАРТОШКЕ

Вот минута прощанья настала.
Ты измучилась ждать и устала, –
в воде разварена,
лежишь в испарине.

Вот речь произнесена
и вилка занесена.
Достоинство умри,
на меня не смотри
с мольбою и болью, –
вот посыплю солью,
морской, не мелкой,
раздавлю на тарелке!

И приходит последняя мука –
мне селедку приносят с луком.
Солнцем в окошке
желтеет картошка
на луке белом,
дрожит юным телом.
Эй, подлейте мне пива немножко,
вечная память картошке!

В КАФЕ. ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Дорогая, все что следует ниже,
написано еще в Париже,

в кафе «Негр де Тулуз»,
за последней бутылкой прощальной
и, быть может, навеет грусть
и покажется сентиментальным.

Я не могу здесь дольше остаться.
Завтра я расскажу все подробно, в лицах,
буду хвастать, болтать, смеяться –
в лучших немецких традициях.

Представь, дорогая, из далекого далека
(да и я уж теперь не ближе) –
колодцы дворов, сырость, река
и вечное небо Парижа.

Оглядываюсь, вино допивая.
Лицо Парижа встает без прикрас –
как и у нас, непробиваем,
самодоволен, непотопляем
так называемый средний класс.

А бедные люди – поэты, рабочие –
скверно накормлены и озабочены.

Завтра ты услышишь притчу,
что Парижем кличут.
В ней будет все вперемешку –
в кофейнях абсент и орешки,
и Эйфелева, и Паскэн,
в разбитом окне манекен,
и будут в Монсо петь скворцы,
в воде отражаться дворцы,
и глядя на яркость нарядов,
в фонтанах застынут наяды
(в последнее я не вникал)...

Тррррах!!! Кто-то грохнул бокал...

Готфрид Бенн (1886 – 1956)

АНГЛИЙСКОЕ КАФЕ

Жулье в остроносых ботинках,
женщины – русские, еврейки;
вымирающие народы , дальние страны –
протискиваются сюда сквозь весеннюю ночь.

Скрипки зеленеют. Май обтекает арфу.
Пальмы румянятся, взволнованные ветром пустыни.

А вот и Рахиль в своем золотом браслете –
не опасна для тела, но ум встрепенулся:
врагиня! И все же руки ее – земля обетованная;
изумительно темные, неизбывные,
они соскальзывают с колен.

И этот – смазливый, с серьгой – притащился,
весь в «Шарм д Орсей».
Нет, все-таки нарциссы ужасно славные –
с желтыми мордашками, с лужайкой у ног.

О, какая блондинка! О, солнечность этого затылка!
О, эта жасминовая отравка у стибов локтей!
О, я уже люблю тебя. Я поглаживаю взглядом твои плечи.
Слушай, давай уедем:

Тирренское море. До безобразия голубое.
Дорические развалины. Долины в завязях роз.
Поля, изнемогающие от белых лилий.

Губы, уставшие от желаний
и переполненные словами, как бокал,
шепчут о ранней осени,
и кровь замедляет свой бег.

Голова разламывается.
На лбу траурная повязка из темных бровей.
Улыбнись!
Порадуйся радуге скрипичных каденций!

БЕРЛИН

Если вдруг дома и парки
станут степью голой, жаркой
и пески их занесут...
Если варвары нагрянут, –
в лисьих шапках, лук натянут,
у церквей коней пасут...

...То в развалинах Берлина
меж следов тигриных, львиных
раскопают письма, что
лежала здесь когда-то
и пропала без возврата
предзакатная страна.

Эрих Кестнер **(1899 – 1974)**

СКУЧНЫЙ РОМАНС

Они восемь лет уже были знакомы.
Насколько близко? Да более чем.
И вдруг разбежались, поправ все законы
драматургии чувствительных тем.

Они потеряли из виду друг друга,
как сданный на вешалку зонт или плащ.
Мужчина измучен, страдает подруга,
пускаясь то в смех беспричинный, то в плач.

То ну целоваться, то молча в окошко
следят, как к причалу идут корабли

То крутят пластинки, то возятся с кошкой,
но вот время кофе и рюмки шабли.

Спустились в кафе. И без устали ложкой
мешают свой кофе... «Тебе с молоком?»
И вновь замолкают... «Асахар?» «Немножко»...
Надрать бы им уши! Жаль, мало знаком!

СОЛЬНАЯ АРИЯ

Ждать любви, в нее не веря.
Время каплет из часов.
Заперевшись на засов,
целый день в окно глаза,
пересчитывать потери,
жизнь чужую взяв в наём.
Но страшней на самом деле –
одиночество вдвоём.

Счастье вьется у порога.
Изменяя вдруг маршрут,
уползает в свой закут.
Вот опять оно в дороге,
и болтается в итоге
счастье где-то, но не тут.
Ждешь любви, в нее не веря,
у окошка день за днём.
Но страшнее в самом деле –
одиночество вдвоём.

Пусть уж так. А то ведь снова –
ждать полвзгляда, ждать полслова,
ждать спокойных легких снов.
Врут про сладкие оковы,
знаю, нет таких оков.
Время каплет из часов.
Ждать любви, в нее не веря, –
что за странная затея,

пирамида, лотерея,
стар как мир такой приём.
И страшней на самом деле –
одиночество вдвоём.

Материалы прошлых лет

Леонид Лейках

ЖОР ТУХЛЫХ ЯИЦ НА ТРИЗНЕ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

В конце рабочего дня в цех прибежала уборщица и рассказала небывальщину – в «Мясо-Рыбе» дают яйца! Сколько хочешь, по госцене! Но... протухшие. Поверить в продажу даже тухлых яиц было трудно. Шёл 1953 год. В последние полгода в «Мясо-Рыбе», да и во всех магазинах Иркутска, кроме опостылевшей кильки в томате, непонятных крабов и костного жира ничего и не было. На рынке продавать мясо не разрешали – колхозники почему-то не сдали поставки. Правда, на новый год выбросили свиные головы, они с печальной ухмылкой смотрели на нас с витрин. Куда девались сами свиньи, приходилось только гадать. Нас, приезжих молодых специалистов, не связанных с семейными запасами, постоянно преследовало чувство голода. Мы совсем отощали.

Несмотря на собачий холод – где-то минус сорок – попёрся в «Мясо-Рыбу». Надежда юношей питает.

И, правда! Прямо в зале стояли деревянные ящики с яйцами, уложенными в стружку. На картоне, торчащем из одного, было намалёвано:

Яйца ЛИЖАЛЫЕ

*Разрешины санэпидем станцией к употреблению
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТИРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ*

На прилавке в блюдце лежало несколько разбитых яиц. От них шёл сильный, но противный дух. После какой такой термообработки их можно было употреблять, оставалось непонятным. Продавщица уверяла всех, что на пироги они пойдут. Но толпящиеся в магазине женщины покупать опасались. Я рванул в университет к Коле Северцеву – мы вместе снимали квартиру – и изложил ситуацию. Мы тут же примчались обратно.

Коля обнюхал яйца, посовал в них спичку, с осторожностью облизал и сплюнул. После недолгого размышления отозвал меня в сторону и изложил кредо: Что – влечить жалкое существование вечно голодных дистрофиков, что – травиться тухлыми яйцами, все одно. Либо мы питаемся как люди, либо нас кормят в больнице. Отравы здесь, наверно, нет. Микробов уничтожим на сковородке. А то, что дух противный, то не духом единым жив человек, а, больше, белками. Идём на риск! И... по крупному. Вкладываем в яйца все наличные. А там – что-нибудь придумаем. Коля был и сыном, и внуком выдающихся биологов, и в этом вопросе ему можно было доверять.

Так мы оказались собственниками двух ящиков с «лижалыми» яйцами общей численностью 400 штук (четыреста!). Потрясающее богатство! Но тухлое.

Да! Это был крупный риск! Мы вложили большую часть наших скудных зарплат. Был день получки – первое или второе марта 1953 года. Под иронические взгляды женщин мы взгромоздили ящики на плечи, и потащились домой, тревожно размышляя о возможных трагических для нас последствиях этой неожиданной авантюры.

Придя домой, содрогаясь от голодного вожделения, мы начали готовить традиционную яишню. Конечно, мы приняли и меры предосторожности – щедро посыпали и красным, и черным перцем. Но чуда не случилось. От прекрасного с виду омлета несло духом могилы. Но сил утерпеть не было. Стараясь не дышать, мы умяли яишню до последней крошки. Вскоре началась отрыжка тухлым. Вконец убитые неудачей – ни продуктов, ни денег – мы завалились в постели. Лёжа я начал сетовать – «Какие же мы идиоты, хотели выиграть у советской власти...». Коля повернулся лицом к стене и молчал.

Тем не менее, назавтра после работы, подгоняемые импульсами голодных желудков, мы начали кулинарные эксперименты. Коля химичил над яйцами – с пищевой содой, уксусом, спиртом и активированным углём, который притащил из университета. Грел, взбалтывал, взбивал, фильтровал. Получалась липкая масса, которая если и пованивала, то уже совсем по-другому – как-то изыскано.

Я занялся аннигилирующими добавками. Козырным тузом этой кулинарной разработки стала черемша. Даже у нас холостяков она была заготовлена против цинги – солёная и подсушенная. Если кто не знает

– черемша это дикий лесной чеснок, оч-ч-чень пахучий. Совсем недавно я прочёл о черемше в письмах из Сибири сосланного туда в 30-е годы знаменитого остролова – Николая Эрдмана (автора сценария «Весёлых ребят»): *«Дивизия, обожравшаяся чесноком, должна пахнуть, как*

ветка сирени, по сравнению с шестнадцатилетней девушкой, наевшейся черемши». Он нисколько не преувеличивал. Черемша забивала любой запах. Но есть её можно было только соборно.

Я перекрутил черемшу на мясорубке, добавил перец – красный и чёрный, горчицу, лесную малину сушеную, кусочки сала из стратегического запаса. Добавил мочёную булку, натёртый картофель. Влил зачем-то грамм 100 водки. Мы тщательно смешали модифицированную черемшу с обработанной яичной массой и снова пропустили через мясорубку. Из всего этого я слепил котлетки и хорошо прожарил на костном жире.

Не без опаски мы приступили к рискованному ужину. Однако едово теперь оказалось на удивление вкусным, с каким-то папуасским вкусом и ароматом. Мы умяли все, и запили водкой. Оставалось ждать реакции. Попросили соседку утром провести нас и отправились спать, приготовившись к худшему.

То, что утром мы встали в прекрасном состоянии и, даже, без головной боли было для нас приятной неожиданностью. Путь к великому жору был открыт. Мы наметили его на 8 марта, намереваясь пригласить (не без коварного умысла) избранное женское общество.

Однако тут же тяжёлые шаги истории растоптали наши радужные планы. Появились сообщения о болезни Сталина. Праздник 8 марта отменили. Мы следили за событиями с нездоровым любопытством и надеждой – наконец-то! Сталин и у меня с Колей, да и у всех наших иркутских друзей симпатий не вызывал. Постоянные разоблачительные компании, которые мы с отвращением наблюдали, были либо смехотворны – вроде борьбы с джазом, либо нелепы – как дело арестованных «врачей-убийц». Мы нисколько не верили ни во вред джаза, ни в безрассудство сытых привилегированных кремлёвских врачей – зачем-то продаться ещё и империализму и сионизму. А толстошие толстопузые вожди, их постоянно подавали в киножурналах, были нам просто омерзительны.

Вечером, в день, когда объявили о долгожданной смерти Сталина, собралась наша компания. Обсуждали практические последствия, надеялись на послабления. Девятое, кажется, марта был назначен днём траура – нерабочим. Траур мы решили ознаменовать пьянкой с использованием для закуси тухлых яиц. Было что-то в этом символичное.

Высказывались и опасения – не припают ли нам минимум по червонцу за пьянку, когда всем ясно было предписано выражать печаль и проливать слёзы. Но тут выступил Коля с исторической справкой. Де – в древних традициях славян на смерть вождя устраивать тризну, пировать и веселиться – «Ковши круговые напелясь шипят на тризне печальной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у берега» – проде-

кламировал он. Довод был сильный, и мы весело приняли решение в духе тогдашней демагогии – возродим древний, исконно-русский народный обычай – тризну, отменяя навязанный иностранщиной гнилые западные траурные обычаи.

В день траура участники тризны стали собираться с полдня. По радио передавалась печальная классическая музыка. Однако в предвкушении отменного жора на душе было радостно. Радостно было и оттого, что покончено с нашим обидчиком, под дамокловым мечом которого мы себя постоянно ощущали.

Со мной, например, приключилось следующее. Сразу по приезде на завод я был поставлен зам секретарём комсомольского бюро. Однажды меня и секретаря пригласили на совещание в обком. Там секретарь из ЦК ВЛКСМ, надсаживая грудь, уговаривал – открыто без утайки рассказать о причинах неполадок в иркутском комсомоле. И я попался на удочку – высказался! Другие выступающие мямлили о необходимости спланировать ряды и тому подобное. После совещания был богатый стол, все честь по чести – секретарь отбывал в Москву и благодарил всех выступавших.

Прошло два или три дня. После обеда меня нашли в цеху – срочно в партбюро. Там уже сидел секретарь комсомола – с перекошенным от страха лицом. Секретарь партбюро, весь красный, говорил в трубку «...Николай Иванович, он же просто дурачок наивный, необстрелянный... Ну и что же, что из Москвы, там что, дураков мало? Какая там клевета на советскую молодёжь – просто болтун неопытный... Николай Иванович, дорогой, если отдадим его, у нас некому будет новую модель вести.... В том то и все дело, что инженер он толковый.... Директор очень просит – он заводу нужен Спасибо Николай Иванович. ...Будем следить Николай Иванович, отвечаем головой... Не сомневайтесь, за нами не пропадёт. А этих – утомони. Вместо того, что бы народ сажать, пусть лучше фезеушниками занимаются, распустились совсем». По яростным взглядам, которые бросал на меня секретарь во время разговора, я уже уяснил, что речь обо мне. Отдышавшись, он обрушился на меня ...

А у одного из наших приятелей погиб на Корейской войне старший брат – лётчик. На поминках он и отец крепко выпили и прошлись по тем «кто своих сынков в Корею не посылает». Назавтра их взяли. Сочли намёком на Васю Сталина. Володю еле отстояли друзья по охоте, связанные с органами, а старик отец пошел по этапу, хорошо хоть близко – в Тайшет, на завод в «Озерлаг».

Так все мы и жили – «не тужили».

Собралось у нас человек пятнадцать. Женщины заранее заготовили кулинарную массу по отработанному Колей и мной рецепту. Из неё пред-

полагалось по ходу тризны выпекать в духовке горячие изделия разной формы – с пылу, с жару. На это дело мы не пожалели более сотни яиц из нашего фонда морального и физического возрождения.

Сначала напекли фигуры в форме традиционных рыб и медведей. Вкус этого едова оказался, как выражался потом Райкин, спщфическим. Чудесным образом «лижалый» запах яиц, объединенный с острой черешей и пряностями, создал потрясающий экзотический обонятельный и вкусовой букет (жаль, потом не было условий это повторить). С громадным энтузиазмом мы начали уминать все под водку.

Тут наш художник Сима принялся лепить монумент «Рабочий и колхозница» – наподобие гипсовой статуэтки (Мухиной), моей заводской премии за достижения в 1952 году. Но в его интерпретации рабочий опустил молот на голову колхозницы, а она пилила серпом у него ниже пояса. А потом в дело включились все. Новые фантазии становились все смелее и смелее. Скульптуры украшались – где морковкой, где скорлупой от яиц. Три композиции, ждавшие очереди отправиться в духовку, выглядели не менее живописно, чем экспонаты нынешнего эротического музея. Про Сталина за этим делом мы как-то и забыли.

Но не забыл Сима. Закончив колхозницу, он тихонько занялся лепкой непосредственно Сталина. Он изображал его в гробу – в кителе и галифе, руки скрещены на груди, голова и босые ступни непропорционально большие – в духе готической скульптуры погребения Христа. Для гроба использовал нашу старую закопчённую громадную гусятницу.

Сначала мы перетрусили. За подобное кощунство могли всем и четвертак припаять. Ходили рассказы о бедолаге, на которого донесли, что он в туалете воспользовался (конечно, не заметив) газетой с портретом Сталина и представили вещественное доказательство. Ему вlepили червонец. А другому, который селёдку в Сталина завернул – только три года.

Но Сталин уже был мёртв. Какой-то бес вселился в нас. Какая-то удал сибирская. Была-небыла. Да и мы уже крепко навеселе были.

И мы начали обрывать Сталина.

По краю живописно обложил труп яичной скорлупой. Заглазировали лицо, руки и пятки яичным желтком.

Сталина запекли вне очереди, отставив на время непотребные композиции классовой дружбы. После духовки Сталин подрумянился и выглядел как живой, только в масштабе – где-то один к четырём. Декорировали его с энтузиазмом. Губы ярко подкрасили помадой, усы – утлём, в глазницы вставили кусочки яичной скорлупы, а в серёдку – тлеющие угольки. Кто-то воткнул ему в руки ножик и зажжённую новогоднюю свечечку.

Горячую гусятницу водрузили в центре стола. Вокруг поставили почёт-

ным караулом ряд бутылок – на горлышках пустые консервные банки. В ногах зажгли две свечи. В головах подпёрли крышку гусятницы, выложенную лавровыми листьями и лентами квашеной капусты. Свет потушили. Глаза вождя слегка дымились, нож блестел. По репродуктору звучала кладбищенская музыка. Все молча стали вокруг. Ощущение было жутчайшее. У меня волосы поднялись дыбом. Запели.

Сначала затянули похоронный марш Шопена – «Та-там та-та-та тра та-та та-та! Т-а-а-м та-ра-ра ра ра-ра..». Я в такт бухал в поднос. Потом молча выпили, закусили остатками колхозницы и запели медленно – «Вставай проклятьем заклеймённый – весь мир голодных и рабов» и «Наверх вы товарищи все по местам, последний парад наступает...». Получилось очень торжественно. К Сталину приступить так и не решились. Выпили ещё раз и вдруг запели обязательную для любого иркутского застолья – «Зять на теще капусту возил, молодую жену в упряжке водил. Калинка малинка моя» с присвистом и гиканьем.

Откуда была эта отчаянная бравада, когда ещё вчера сажали просто за анекдот? Накопилось за много лет «голодных и рабов» и выплеснулось на благодатной сибирской почве. Нутром мы чувствовали, что последний парад наступает. Что такого уже больше не будет. Не может быть!

Тут мы услышали громкие удары в дверь, видимо колотили уже давно. Решили, что пришёл кто-то запоздалый, и побежали открывать.

На пороге стоял участковый.

Небольшого роста в белом полубубке, с неизменной офицерской планшеткой. Не ожидая приглашения, стряхнув снег, он прошёл переднюю, вошёл в комнату и огляделся.

– Че за песни, когда траур по товарищу Сталину? На улице слышать. – Он втянул носом аромат жареного, – Че пируете, откуд таки продукты? – Он был немного под мухой. Мы молча соображали – что делать.

– Кто будет хозяин? Кто присутствует? Фамилии? – Он сел за стол, раскрыл планшетку и вытащил формуляр с напечатанным сверху – «ПРОТОКОЛ». Запахло предсказанным четвертаком! В душах у нас захолодало – сюжет песни о вещем Олеге продолжался: «Из мёртвой главы гробовая змея шипя, между тем, выползала ...». И тут взгляд его остановился на гусятнице. Вытянув шею, встав, он долго разглядывал всю композицию, видно не веря глазам.

– Это кто? Вы че? Кто разрешил? Это че, секта такая? – Мы замерли.

Коля, в чёрном костюме и при галстукe, подошёл и вальяжно взял его под руку. Участковый от изумления не сопротивлялся.

– Видите ли, – медленно, по-академически начал втолковывать он, – мы возрождаем здесь доисторические народные, исконно-славянские

традиции – тризну. Изображение великого вождя торжественно поедается для того, что бы он вечно жил с нами, внутри нас. Как великий Ленин – вечно-живой в мавзолее. Вы что, имеете что-нибудь против этого?

– Я, лично, не против, – набычился участковый, – а где указание?

– Да вы что, газет не читаете?! – Коля поднял голос до крика, – Не слышали ничего о борьбе с космополитизмом, о возрождении древних народных обрядов и превращении их в коммунистические?!

– Я газеты читаю, но это, – он указал пальцем на Сталина, – не читал. Я, правда, в отпуск в деревню ездил.

– А вы сначала почитайте!

Участковый растерялся. Действительно, в газетах постоянно выдавался такой винегрет философии и идеологии. То об ужасах космополитизма, Вейсманизма-Менделизма-Морганизма, сионизма, генетики и кибернетики, то о пользе марксизма в языкознании, то о каких-то экономических проблемах социализма. Постоянно древние русские традиции превращались в новые коммунистические обряды. Постоянно в газетах кого-то костерили за незнание и непонимание Марксизма-Ленинизма и жестоко наказывали. Конечно, Коля привирал, приписывая доисторическим славянам такие ритуалы. Но это было очень, очень в духе тогдашней политической риторики (например: сразу после смерти Сталина Эренбург в «Правде» писал – *«...Простые люди живы, и в них жив Сталин»*, и никого это не смущало).

Было от чего участковому растеряться.

Тут включился Димка-лихач. Отрезав ещё горячую ногу товарища Сталина, со стаканом водки в руке он подступил к участковому и стал совать ароматное жареное ему под нос.

– Старшина, ты поешь, ты попробуй, ты пожуй, ведь голодный! И запей. – Димкин дар уговаривать был хорошо известен здешним девицам.

У голодного участкового, давно не нюхавшего запаха ароматной жареной яишни, собачьим блеском загорелись глаза. Не совладав с собой, он ухватил ногу, вцепился зубами, мгновенно отхватил кус, пережевал с ужасом на лице и откусил ещё. Димка скормил ему всю ногу, после чего участковый выпил залпом стакан водки. Все заорали – ура-а-а-а! Мигом Сталина растерзали на части, причём участковому щедро выделили ещё одну сталинскую ногу. Гусятница опустела. Стас Сапежинский (по прозвищу – пан Сапега, потомок ссыльных поляков) провозгласил с пафосом – «Спасибо великому товарищу Сталину». И все завопили – «Спасибо великому Сталину за яйца! Великий Сталин с нами! Сталин – вечно живой! Слава, слава нашему вождю и учителю!» Со Сталиным было покончено. Мы все стали Мавзолеями Сталина.

Участковый опустился на стул. Он облизывал губы и пытался осмыслить произошедшее. И надругательство, и славословие. Вещественное доказательство исчезло, и он оказался причастным к этому.

К этому времени поспела очередная горячая композиция. Её торжественно выставили на противне в середину стола. Мясистая колхозница, нагнувшись, жала серпом. Рабочий в экстазе с поднятым молотом примостился вплотную сзади. Творение полыхало всеми ароматами Востока и ядрёным сексом. Участковый выпучил от удивления глаза. Всем разлили. Яшка Розенберг, врач гинеколог поднял стакан:

– Эта штука, – он указал жестом Нерона, – как гениально сказал по другому поводу наш великий вождь товарищ Сталин, посильнее чем «Фауст» Гёте – любовь побеждает смерть! За нашу новую жизнь!

– Эта штука, – подхватила тост иркутская гречанка Аврора Метаксас, указывая пальчиком на рабочего – посильнее даже чем «Ромео и Джульетта» Шекспира! Любовь побеждает труд. За любовь!

Яшка со сноровкой опытного патологоанатома разрезал съедобный шедевр, раздав каждому по куску и щедро выделив участковому целиком пышные ягодички колхозницы. Участковый не нашёл сил отказаться.

Жор возобновился с новой силой. Участковый скинул полушубок и принялся притоптывать. На стол подали следующий символ непосредственной смычки рабочего и крестьянки, в котором партнёры находились уже в горизонтальном положении.

Жор и веселье продолжались до глубокой ночи. Все остались ночевать.

«О том, что было дальше, об этом промолчим», как поётся в старой оперетке.

Удивительно – я вплоть до XX съезда коммунистической партии СССР мистически ощущал останки товарища Сталина у себя в кишках. А после – как бы облегчился.

Ольга Завадовская

СТАНЦИЯ СИВЕРСКАЯ

Деревенские места.
Детство. Синяя безбрежность.
Серых досок глухота,
Рыжих досок безмятежность.

Дождь, качели, мокрый сад
фотографией бледнеют.
Все, как тридцать лет назад,
но безлюдней и больнее.

Снег идет. И крыш углы
станут круглыми под вечер.
Молча сгорбятся стволы,
опуская веток плечи.

Снег идет. Идут лета.
И все та же безответность –
рыжих досок простота,
серых досок беспросветность.

* * *

А я болталась по Берлину
в тот странный год с тремя нулями,
и улыбалась шуткам сына,
и заезжала чаще к маме.
Писала музыку. Решала,
что выдумать еще на ужин,
на случай, если... Впрочем, знала,
что ужин вряд ли будет нужен.

А три нуля катком дымящим
свою раскатывали прозу:
парад планет, пожары в чашах
и небывалые морозы,
обвал компьютеров на грани
тысячелетий, взрывы газа
и войны, войны на экране,
и ум все чаще шел за разум...
Я все надеялась на цифры –
вот-вот исчезнет ноль степенный
и единица встанет хитро,
обозначая перемены.
Писала музыку. Усердно
к шагам прислушивалась ночью...
А год уже двестиципервый,
и лишь февраль на день короче.

* * *

Нет, если встречу – глаз не отведу.
В упор под брови
я посмотрю, оглохнув на ходу
от шума крови,
ударившей, как бьет струя воды
в эмаль из крана
с сорвавшейся резьбой.
Есть мир вражды
и мир обмана,
лишь физика бесстрастна и права
в своих законах,
и кран со мной в одном кругу родства.
Определенно.
Так вот, оглохнув на ходу,
взгляну навстречу.
Как видно, в парниках растит беду
род человеческий.
Как видно, тут и физика без сил,
когда коснется
мой взгляд тебя – ступени без перил,
без дна колодцы -

и, пробивая толщу вещества,
вдруг приземлится
во времени другом.
И голова
начнет кружиться.

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Как-то все обозлились сразу
друг на друга, беды не чуя,
то заляпают морду грязью,
то фонарь на ней нарисуют.

Даже климат чудачит не в меру,
и шалят у погоды нервы.
Пахнет дымом. А может, серой.
Как ни нюхай, а запах скверный.

То ли год високосный причиной,
то ли злоба планету качает.
Дед-Морозы бредут в овчинах,
и мешки с бедой за плечами.

МОЛИТВА

*Посвящается юным монахиням
русского монастыря
Франция, Лесна.*

А девочки божественно так пели,
и падал мягкий свет на их чела.
Казалось, все стоит у колыбели
та мать, что непорочно зачала.
А девочки без устали просили,
и таял плач, взлетая в небеса,
чтоб Тот, кто так велик и так всемогущ,
прислушался к молящим голосам.

И просьба безыскусна и понятна,
ребяческой наивности сродни...
Но не бывает милость необъятной,
что до грехов — то множатся они.
И каждый день, в ночи и на рассвете,
их голоса — натянута нить, —
за нас, что легкомысленны, как дети,
не устают прощения просить.

ТАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Есть такое время года,
без особенных примет.
Там живут как часть природы
слово, музыка и цвет.
Там и будущее с прошлым
не спеша гуляют в лад,
о великом, о ничтожном
между прочим говорят.
И откуда там берется
этот ровный, теплый свет?
То ли луч со дна колодца,
то ли силы высшей след.
Словно чистая порода
в бесконечной толще лет...
Есть такое время года,
даже если его нет.

* * *

Без имени еще. Без видимых примет.
Движение, звук, предчувствие, догадка.
Как будто шевельнулась платя складка
и ожил вдруг проснувшийся портрет.

Дремоту отряхнув, пришла в себя сосна
и потянулась, дрогнула всем телом.
И ей навстречу силуэтом белым
Рванулась занавеска из окна.

Набросок, полутон, оттенков переплет,
где глаз еще не различает краски.
Но бабочки причудливый полет,
как ощущение незнакомой ласки.

* * *

«Вы любите Цветаеву?..»

Т. В. Петкевич

Т.

Та женщина, прощаясь навсегда,
срывалась в бездну.
Исчезнуть!

И падала – взлетая.
Простите. Я смолчу. Она – другая.

Люблю моря.
Надменных гор громады
не чувствую. Боюсь.
Наверно,
укоренюсь как верба
и там,
но так – не надо.
Мне хорошо травинкой у ограды.

Вот видите – все чуждо и не близко.
Только в лес, как в храм, вступаю
и я.
Но листьев стаи –
воробьи на обелисках-
Мне шепчут:
где же та, не ты, другая?

Не дай, Господь, судьбы,
хоть краем схожей!
Огонь – так враз дотла,
а если свет – кинжала острие.
Невесте – мука вечная...

И дрожи
для всей не хватит боли.
Как и кожи.

Любить ее...
Вы знаете, т а к о е –
не выдержать.
Осилить можно
лишь малость. Чтобы позже
в том, недоступном, роясь,
открыть в себе
не страсть, не взрыв,
но... поиск?..

ВЕЧЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ

На Бродвее туман
и не видно вершин небоскребов.
И клубится внизу – не понять, то ли пар, то ли дым.
Огнедышащий мир,
пробирающий душу ознобом,
упирается в ночь
закаленным стеклом лобовым.

Острый запах еды,
словно дух колдовского отвара,
перемешан с дыханьем толпы, что идет все плотней, –
разноцветных людей,
молодых, и не очень, и старых,
одинаково жаждущих плыть
в этом море огней.

Вот и я, как и все,
под гипнозом прошла по Бродвею,
не оставив следа в беспрерывно кипящем котле.
Город словно вулкан –
Судеб людских лотерея.
Но и он невелик,
только точка на круглой Земле.

1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Первый день года.

Песок и сосны.

Балтика лижет лениво берег.

Вода не соленая.

Запах не острый.

Вижу, что море,

но как-то не верю.

Были другие море и берег,

тоже в начальный день года.

Наши следы,

как и наши потери

смыли беспечно соленые воды.

Между морями —

тридцать три лета,

Столько же зим,

осеней и весен.

На том был восторг и страх.

На этом —

Я и время

меж дюн и сосен.

Леонид Немеровский

МОИ МЕМУАРЫ

Вспоминая театр

В 70-е годы «Театр Киноактёра» покорял Москву уникальным зрелищем. Это был искромётный мюзикл Кола Портера на сюжет самого Шекспира. И звучал он броско-вызывающе: «Целуй меня, Кэт!»! Спустя время, спектакль неожиданно сошёл – умер Евгений Синецын, прекрасный дирижёр, сумевший сплотить и «укротить» звёздный состав спектакля. А в нём блистали: Людмила Гурченко, Зинаида Кириенко, Сергей Мартинсон

К моему появлению в Театре (начало 80-х) мюзикла как такового уже не было. Но прощальные аплодисменты и страстные разговоры о нём – не умолкали. С маниакальным постоянством обсуждались успехи и неудачи, все перипетии актёрской игры, в кулуарах разыгрывались мизансцены, звучали арии, куплеты, дробил «стэп» красавчик Р. Ахметов...Словом, «Кэт», лишённая курса и капитана, гудя и пульсируя, продолжала плаванье по огромному зданию театра.

Шло время. Всполохами былого озарялись вечера, когда на Театре давали «Дурочку», по пьесе Лопе де Вега. Изящно и умно вела главную партию Наталья Гурзо. Саша Белявский, наш секс-символ (ещё термина не было, но секс уже появился), «полонял» женщин прямо со сцены. Татьяну Конюхову оглушали аплодисментами.

Но весёлое действие с добротной музычкой мало устраивало артистов: оно не тянуло даже на оперетту. В театре зрел бунт. Актёры не хотели играть. Инфицированные «мюзиклом», они требовали каскада музыки на сцене, желая петь, танцевать. Актёры жадно тянулись не к словесно-серому, а к музыкально-пластическому самовыражению.

Дирекция негодовала – бунт? В театре?! Вот вам, держите, исконный, родной, «Бабий бунт»... Шо, посконный? Да то ж наша, советская оперетта! Не нравится! «Музикулы» им подавай. До вас Шолохов снизошёл, а композитор Птичкин до Шолоха взлетел. Мотю Ошеровского з Одэссы позвали!.. Ну шо, делаем спектакль? А то – бунт! Ишь, «бундовцы»! За работу, товарищи! И закипела работа...

Тогда я уже был в штате Театра. Легко распрощавшись с музыкальной школой, с нудной педагогикой, премудрости которой так и не освоил, я ринулся на «подмостки» со страстью грибоедовского героя, припав к ногам Мельпомены. Я понял своё призвание: учить актёров и учиться у них – о, это было неизъяснимое наслаждение!

Сидя в классе, куда – зримые и осязаемые – входили, ступая с Олимпа, богини Кино: Ладынина, Фатеева, Крючков, Кириенко, я, как Данило-мастер, очарованный Каменным цветком, в обожании своих Хозяек, молил Бога не оставлять меня на моем поприще. Бог милостив был ко мне, Богини – тоже.

В работе над «Бабым бунтом» мы перелопатили гору музыки: хоры и арии, ансамбли и куплеты – словом, всё, что полагается советской оперетте с острой тематикой личных и гражданских отношений. Мне посчастливилось войти в таинственный мир музыки Евгения Птичкина. Талантливый еврей, лихо освоивший псевдорусский стиль и оросив его сентиментальной семитской слезой, композитор написал довольно милую оперетту.

Судьба свела меня и с «великой» певицей, З. Кириенко, с её незаурядными человеческими «достоинствами»... До сего дня под впечатлением!

И, наконец, – н и з к и й п о к л о н уважаемому Матвею Абрамовичу Ошеровскому – художественному руководителю одесского «Театра музыкальной комедии». Талантливому режиссёру удалось из нашего посредственного либретто извлечь нечто толковое и построить довольно яркое, зримое действие. Правда, на сцене порой бывало тесно и шумно, как на Привозе. Ну, а что – Привоз? Это ведь тоже произведение искусства!

Наши университеты

Не знаю, простое это совпадение, или наметилась тенденция? На моей памяти три человека примерно за год до смерти решили навестить родные места, покинутые ими в детстве накануне эмиграции. Я говорю о трёх великих музыкантах: Владимире Горовце, Леонарде Бернстайне и Игоре Маркевиче. Двоих родители увезли в Америку. Маркевич с семьёй поселился во Франции.

Владимир Горовец

Начало 80-х. Москва теснилась слухами о редком музыканте, завсегдае королевских и президентских залов и т.д. Выяснилось только, что он родился в Жмеринке, а в 25-м году отбыл в Америку. Это были скупые

сведения о великом пианисте, чья игра добрую половину двадцатого века восхищали цивилизованный мир. Сейчас мы ждали его в Москве.

Увиденное и услышанное было сродни обману, астигматизму – зрения, слуха, привычного представления о музыке!

...Ярко освещённая сцена Большого зала консерватории казалась пустой. Куда-то уплыл блестящий чёрный «СТЕЙНВЕЙ». В центре, будто на якоре, благородно-коричневого цвета дрейфовал, интригуя зрителя, камерный рояль. Нетерпение росло. В дальней кулисе появился человек, направляясь к роялю. Рабочий или настройщик?

Но человек почему-то улыбнулся залу и начал говорить с ним по-английски. Мы поняли: это Горовец! Нам всё было ясно, хотя английского никто не знал. С нами разговаривали его глаза, мудрые глаза еврейского бога, тихо сошедшего на сцену... А затем он играл. Это было продолжение разговора, но уже на привычном, музыкальном языке. Не ясно лишь было, почему Шуберт или Шопен звучит не так, как принято слышать, как этому нас учили. И не понятно, на какой волне восприятия, но пальцы пианиста, нежно массируя клавиши, убеждали, что Шуберт – именно такой, Шопен – такой, а Моцарт, сидя у Бога на ладонях и улавливая его идеи гениальным ухом с миниатюрной мочкой, звучит только так и другим быть не может!

...Это был обман, но обман в о з в ы ш а ю щ и й. Мы слушали, верили и по-другому принимать уже не могли. Он играл божественно, умудряясь и во время игры метать добрые, ироничные взгляды. А мы, упиваясь звуками, с лукавым нетерпением ждали завершающего аккорда, за которым, глуша овации, последует всё разъясняющая улыбка. Это была одна из его последних репетиций – в Москве... Потом он играл в Ленинграде, в Киеве... Горовец прощался с Россией, прощался с миром, который он любил, который его боготворил.

Леонард Бернстайн

Первый раз этот человек появился в Москве в 1959-м, вскоре после Вана Клиберна (Первый Международный конкурс Чайковского). Оглушительный американский десант! На дворе «оттепель»; оттаяла и политика, американцы на время стали друзьями... А затем – глубокий долгий ледниковый период, протянувшийся на десятилетия.

В 1988-м году по миру прокатился Фестиваль молодёжных симфонических оркестров. И вот этот человек снова в Москве. Концерты в Зелёном театре, в Филармонии, Консерватории... Легендарный Леонард Бернстайн – композитор, дирижёр, уникальный интерпретатор Густава Малера – руководит молодёжным студенческим оркестром. В программе Первая, юношеская, симфония Дмитрия Шостаковича. Легендарный Бернстайн?

А мы ведь его и не знали. Спасибо кино, показавшему «Вестсайдскую историю», поведавшему нам о мюзикле. А Бернштейн – дирижёр? Это ведь отдельная эпоха! Нам залепили глаза, законопатили уши. Мир хорошо знал Кандинского, Малевича, Филонова, Фалька, слушал музыку Малера, видел экзальтирующего, потеющего от счастья Бернштейна, без проблем смотрел «Смерть в Венеции», наслаждаясь зрительно-звуковой органикой – Дирк Богарт и божественное малеровское «Адажиетто».

А мы долго «расшифровывали» Прокофьева, привыкали к Шостаковичу, пялились на холсты Кандинского, аки на коровью мазню, не подозревая в них симфонию цвета. А бедный Малер, – ещё в 19-м веке поносимый музыкальным гуром «Могучей кучки», – у нас до сих пор не понят, а потому и не принят. Такая вот жесткая логика. Для Шостаковича Малер был кумиром. Но что из того – нам бы с Шостаковичем разобраться.

И вот звучит его Первая, юношеская симфония в исполнении молодёжного симфонического оркестра. За дирижёрским пультом – Леонард Бернштейн! Мы слушали её неоднократно, знали почти наизусть: озорная, студенческая с присущей Шостаковичу иронией музыка. И никак не увязанное с этим траурное шествие. И вдруг, по воле дирижера, именно это шествие вскрыло тайный смысл симфонии, заложенный юным гением композитора: «Жизнь, её радости – лишь приятная прогулка перед Вечным сном!»

...Концерт окончился. Бернштейн сидел в центре растянувшегося стола в тускло освещённом фойе. Несмотря на усталость, он был возбуждён, в приподнятом настроении в ожидании встречи с людьми, разделившими с ним сегодняшний вечер. Всё походило на тайную вечерю или на тайную исповедь. Он говорил с каждым из нас. Мудрый, слегка ироничный еврейский взгляд притягивал, завораживал, оставляя ощущение близкого родства: ведь его родители, давние выходцы из местечка под Ровно, и, наверное, наши предки – из одного корня. Мы все вернулись в детство... Через полтора года Леонарда Бернштейна не стало. Я, не любитель автографов, но оставил себе память об этом Божественном Человеке.

Игорь Маркевич

Да, он был великий дирижёр – этот американец с русскими корнями!

Дирижёрская школа в России после отъезда в 1918 г. в Америку Сергея Рахманинова практически исчезла. Ситуация наладилась где-то в середине века: в Москве «звучал» Александр Гаук, в Ленинграде – Евгений Мравинский. Блистательные педагоги ленинградской консерватории Илья Мусин и Николай Рабинович плодили талантливых учеников...

Для московских студентов «шестидесятые» явились счастливой порой. Следом за Клиберном и Бернштейном к нам пожаловали Караян, Лорин Мазель и Клаудио Аббадо с умопомрачительными спектаклями театра «Ла-Скала»... Вся эта гениальная лавина чудным образом ворвалась, качнув дамбу, отделявшую нас от мира.

В 1963-м году в Союз прибывает известный французский дирижёр Игорь Маркевич. Восхитительные концерты в Москве: гениальное прочтение музыкальной классики с присущей дирижёру сверхэлегантной манерой исполнения!

И вот кафедра Консерватории (не блиставшая педагогическими талантами) приглашает маэстро сделать мастер-класс с последующим проведением учебного семинара. Студенты полюбили педагога безгранично за талант и волшебное обаяние; в нём обитала Франция со всей её культурой – от барокко, романтизма до импрессионизма и «новой волны»! Естественно, в следующий приезд маэстро в Москву семинар пришлось повторить. Однако, увидев, как студенты привязались к своему кумиру, руководство консерватории решило семинары прервать, а на состоявшемся вскоре Всесоюзном конкурсе дирижёров его обожателей «срезать».

Позже ученики Маркевича нашли свои достойные места: Владимир Кожухарь возглавил оркестр в Киеве, Джансуг Кахидзе – в Тбилиси, Тамила Кальчинская – в Израиле и Америке. Но на том «Празднике дирижёров» им определили позорные арьергардные места. Главные же призы конкурса достались «блатным»: родичу музыкального босса А. Михайлову и Максиму Шостаковичу, бесталанному наследнику, при жизни отца ещё нелицеприятно о нём отзывавшемуся и ловко ухватившему наследство после смерти композитора.

...А Игорь Маркевич не раз дарил нам ещё концерты-праздники. В последний свой приезд он посетил Киев, где имел особенный успех. Ему аплодировала публика города, в котором 70 лет назад великий музыкант родился и прожил два года перед отъездом в Париж. В 1983-м сердце музыканта перестало биться. Но полет его дирижёрской палочки, движение его элегантных рук над волшебной музыкой – всегда с нами!

Карл Аабрагам

БАВАРСКИЙ КВАРТАЛ

Память о шести миллионах невинно убитых евреях Европы запечатлена в стихах, музыке, учёных книгах и простеньких рассказах, в живописи, скульптурах и мемориалах. Я расскажу вам об одном необычном памятнике жертвам Холокоста, о котором даже не каждый коренной житель Берлина знает.

Садитесь на седьмую линию берлинской подземки, сойдите на останковке «Байришер плац» и поднимитесь наверх. А теперь пройдите по тихим тенистым улочкам этого района, в котором до войны жило много евреев и который был известен как «Баварский квартал». Идите неспешно, поднимите чуть голову, и вы увидите на фонарных столбах небольшие памятные таблички, которые мгновенно перенесут вас из лучезарного «сегодня» в Берлин времён фашистской диктатуры. Прочитайте их, и вы поразитесь, с каким тщанием и размахом нацисты организовали вначале травлю, а затем и уничтожение немецких евреев. Оставляя эти таблички с надписями без комментариев, я расположил их в хронологической последовательности и сопоставил с наиболее позорными фактами из истории третьего рейха. Прочтите эти надписи, и на вас пахнёт могильным холодом.

Год 1933

30.01.33 – приход Гитлера к власти

28.02.33 – поджог Рейхстага

Евреям-адвокатам и евреям-нотариусам города Берлина ведение юридических дел впредь запрещено.

Начиная с 1 апреля 1933 года больничные кассы счета за лечение у врачей-евреев не оплачивают.

Всем окружным ведомствам предлагается преподавателей-евреев из государственных школ немедленно уволить.

Евреи-чиновники госучреждений подлежат увольнению.

*Пользование пляжем на озере Ванзее евреям запрещено.
Генетика и расовая теория вводятся во всех школах как обязательный предмет.*

Год 1934

Запрет на профессию для артисток и артистов еврейского происхождения.

Год 1935

15.09.35 приняты «Нюрнбергские законы», лишившие евреев гражданских прав

Для писателей-евреев любая литературная деятельность подлежит запрету.

Запрет на профессию для евреев-музыкантов.

Заключение брака и внебрачные связи между немцами и евреями наказываются каторжной тюрьмой. Браки, заключённые в нарушении этого закона, считаются недействительными.

Год 1936

Ветеринарным врачам-евреям запрещено заниматься врачебной практикой

Журналисты и их супруги должны доказать своё арийское происхождение, начиная с 1800 года.

При решении вопроса о расовой принадлежности крещение евреев и переход их в христианство значения не имеют.

Год 1937

Почтовые чиновники, женатые на еврейках, отправляются в отставку.

Запрет на защиту диссертаций евреями.

Год 1938

09.11.38 – еврейский погром, вошедший в историю как «Хрустальная ночь»

Евреи не имеют права заниматься врачебной практикой.

Дополнительно к своему имени еврей должен прибавлять имя «Израиль», а еврейка – «Сара».

*Посещение евреями театров, кинотеатров и концертов запрещено.
Детям-евреям запрещено посещать государственные школы.
Посещение евреями определённых районов Берлина запрещено.
Детям арийского и неарийского происхождения играть друг с другом запрещено.
Водительские права евреев считаются недействительными.
Запрет на профессию для евреек-акушеров.*

Год 1939

01.09.39 – начало Второй Мировой войны

*Запрет на все виды профессий для евреев.
Еврейские культовые учреждения должны сами устранять следы разрушения синагог. Восстановление их запрещено.
Выдача евреям карточек для получения одежды прекращается.
Евреям запрещено покидать свои квартиры после 8 часов вечера.
Евреи, имеющие украшения, изделия из золота, серебра, платины и жемчуга, обязаны их сдать.*

Год 1940

Июнь 1940 года – создание концлагеря в Освенциме

*Телефоны евреев подлежат отключению.
Евреи могут покупать продукты питания только между четырьмя и пятью часами пополудни.*

Год 1941

22.06.41 – нападение Германии на СССР

18.10.41 – начало массовой депортации берлинских евреев

*Все евреи в обязательном порядке привлекаются к принудительным работам.
Мыло и крем для бритья евреям продавать запрещено.
Все евреи старше шести лет должны на одежде носить шестиконечную звезду и надпись «Jude».
Запрет на эмиграцию евреев.*

Год 1942

О чем думали евреи, покидавшие свою страну навсегда? Вот только две записки, оставленные несчастными, помеченные 16 января 1942 года:

«Пудреницу я оставляю тебе как маленькое напоминание о себе. Пользуйся ею чаще, тогда ты будешь каждый раз вспоминать меня. Ваша глубоко опечаленная Эльза Штерн».

«Вот и всё... Завтра я отправляюсь в дорогу, и это меня, конечно, глубоко ранит. Я буду тебе писать». Подписи нет.

Обречённые знали, что депортация ничего хорошего им не сулит, но они ещё не знали, что их увозят, чтобы убить. Они ещё на что-то надеялись.

20.01.42 – Ванзейская конференция, посвящённая «Окончательному решению еврейского вопроса»

Принудительная сдача евреями шуб и шерстяных вещей.

Булочные и кондитерские обязаны вывесить объявления, запрещающие продавать евреям кондитерские изделия.

Евреи не имеют право покупать газеты и журналы.

Квартиры еврейских семей должны быть в принудительном порядке помечены шестиконечной звездой.

Евреям запрещено содержать домашних животных.

Сигареты и сигары продавать евреям запрещено.

Евреи не имеют права на получение яиц.

Свежее молоко отпускать евреям запрещено.

11.07.42 – начало депортации берлинских евреев в Освенцим

Отпуск евреям мяса, колбасных изделий и других продуктов по карточкам прекращается.

Продажа книг евреям запрещена.

После этого других распоряжений, ущемляющих права и достоинство берлинских евреев, в общественных местах города больше не появлялось.

27.01.45 – Освобождение советскими войсками Освенцима

Распоряжение имперского министерства экономики от 16.02.45

Архивные документы, свидетельствующие о преследовании евреев, подлежат уничтожению.

Для справки: к осени 1941 года в Берлине оставалось 73 тысячи евреев; из них войну пережили шесть тысяч.

Литература:

1. R. Stih & F. Schnock, Orte des Erinnerns Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin, 24 S- 2002
- 2 J. Walk (Herausgeber) Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat, 2. Auflage, C-F-Müller Verlag, Heidelberg; 1996
3. W. Ribbe & Schmädeke, Kleine Berlin-Geschichte, 2. Auflage, 270 S. Berlin, 1989

Михаил Гельцер

СОЛЖЕНИЦЫН НЕ ПРАВ

В двух толстых томах книги «Двести лет вместе» вопросам эвакуации еврейского населения из оккупированных территорий Александр Солженицын уделил только несколько страниц. При исследовании этого вопроса он ссылается в основном на двух авторов (И. Шехтман и М. Коган), утверждавших, что советские власти принимали специальные меры для эвакуации еврейского населения, для чего были представлены тысячи поездов, сверх того – тележные обозы, и что был правительственный приказ эвакуировать граждан еврейской национальности в первую очередь. Солженицын соглашается с этой версией, несмотря на существование иных мнений (С. Шварц и др.) о том, что никаких специальных приказов не было, как и самой плановой эвакуации.

Меня удивило то, что Солженицын, который оценивал негативно практически все решения руководства страны, в этом вопросе оказался безоговорочно на стороне властей. А предложение «многих и многих спасла от уничтожения эвакуация 1941 и 1942 гг.» (А. Солженицын, «Двести лет вместе», часть 11, стр.343) привело меня в недоумение. Корректна ли эта фраза? Можно ли сказать, что 800 человек, спасшихся в «Норд-Осте», – это «много и много», когда при этом погибло 174 человек? Или что 833 человека, оставшихся в живых в Беслане, это «много и много», если при этом погибло 348 учеников и учителей? Точно так же кощунственно подчёркивать, что эвакуация спасла «многих и многих», если на оккупированных территориях погибло более 1,5 млн. человек. Мой личный опыт не совпадает с мнением автора книги «Двести лет вместе». Я сам пережил события, был их участником. И могу свидетельствовать...

В нашей деревне планово были эвакуированы только три семьи членов партии и колхозное стадо. Семьи членов партии исчезли ночью, даже не предупредив самых близких родственников. Очевидно, таков был приказ сверху. Соседи, проснувшись, обнаружили, что хаты этих людей стоят пустые.

А что касается эвакуации колхозного скота, то такой указ был, его

обсуждали открыто, и в том числе на общем колхозном собрании. Сопровождать скот были назначены в основном молодые парни, не достигшие ещё призывного возраста, и молодые девушки. Во главе группы был колхозный ветеринар. Но эта затея закончила печально. Дороги были загружены обозами беженцев, отступающими войсками, военной техникой, и стаду продвигаться по ним было невозможно. В конце концов, немецкие войска их настигли. И все сопровождающие (их было более десяти человек) погибли. Больше никому никакой помощи в эвакуации не было оказано.

Не лучше обстояли дела с эвакуацией и в нашем районном центре. Свидетельствует об этом такой факт. К нам в деревню из районного центра пришла женщина с двумя маленькими детьми, одному было четыре года, другому – семь. В руках у женщины была небольшая хозяйственная сумка. Пройдя 20 км, стерев ноги до мозолей, она еле добралась до нас. Пришла она, чтобы в нашей деревне переждать тяжёлые времена, спрятаться от войны. Муж её был отправлен на фронт умирать за родину, что он добросовестно и выполнил. Кто же, если не родина, за которую он отдал свою жизнь, должна была позаботиться о жизни его жены и детей? Не преступлением ли было оставлять её на верную гибель? Где же здесь признаки помощи людям в эвакуации?

Придя в нашу деревню, она увидела, что чуть ли не у каждого двора стоят гружёные фургоны. Деревня наконец-то собралась в далёкий путь. И ей ничего не оставалось, как поплестись вслед за нашим обозом. Четырёхлетнего сына, который уснул у неё на руках, и её дорожную сумку моя мать положила на нашу телегу.

В данном случае, я думаю, не обязательно было прибегать ко лжи, утверждая, что были приняты какие-либо меры по эвакуации еврейского населения. Вполне можно понять, что ситуация была критической, – стремительно отступающие войска, потребности фронта, необходимость эвакуировать военные заводы, нехватка транспорта, жуткая паника и т.д., – даже при всём желании, могло не хватить ни времени, ни сил для эвакуации мирных жителей. Важнее обратить внимание на то, что даже там, где не требовалось ни материальных средств, ни дополнительных сил, власти вели себя преступно, не помогая, а мешая еврейскому населению в эвакуации. Но этого А. Солженицын почему-то не заметил. Я прекрасно помню, с каким нетерпением и волнением мы ожидали возвращения председателя нашего колхоза «Найе лебен» из районного центра, куда он ездил неоднократно за разрешением на эвакуацию. И раз за разом возвращался ни с чем. Ему отказывали, мотивируя это тем, что наш отъезд вызовет панику среди населения.

Получили же мы разрешение на выезд, совершенно случайно: машина с районным начальством, проезжая через нашу деревню, застряла в глубокой яме, и наши сельчане отказались вытаскивать её из грязи до тех пор, пока не получат разрешение на выезд.

Потом, будучи уже в Куйбышеве, старики шутили: на месте той ямы, где застряла районная машина, нужно поставить памятный камень. Эта яма спасла нас от гибели.

По этим же дурацким идеологическим соображениям (то есть, чтобы не поднимать панику среди населения) власти скрывали правду о том, что ждёт евреев на оккупированных территориях. Они, видите ли, заботились о том, чтобы не нарушить спокойствия людей накануне их гибели, конечно же, руководствуясь принципами социалистического гуманизма. Если бы эти более чем 1,5 миллиона погибших знали, что все они – и дети, и старики, и беременные женщины – все без исключения, будут зверски замучены, расстреляны, сожжены, то многие из них бы и без помощи властей – пешим ходом, ползком, на карачках, на попутном транспорте, расплачиваясь своим добром, последними сбережениями, всем, чем угодно, – нашли бы возможность избежать смертельной беды.

Оставить в данной ситуации людей без необходимой информации – всё равно, что держать в неведении людей, находящихся в загоревшемся здании. И разве это не являлось существенной помощью фашистам в их планах по окончательному решению еврейского вопроса? Не все бы, конечно, спаслись, но сотни тысяч избежали бы смерти. И эти сотни тысяч жертв лежат на совести советского руководства. Как можно в такой ситуации говорить, что власти оказывали помощь в эвакуации?

Об опасности, которая ожидала нас, мы узнавали из распространявшихся отовсюду слухов. Беженцы, которые иногда останавливались в нашей деревне подкрепиться, напоить и накормить лошадей, говорили нам: «Бросайте дома, всё ваше хозяйство и немедленно убегайте, иначе гибель». Отсутствие необходимой информации Солженицын объясняет по-своему: не дать повода немцам утверждать, что евреи верховодят в России.

Эта фраза произвела на меня особенное впечатление. Оказывается не с бухты – бархаты принималось такое решение, а кем-то взвешивались варианты: что важнее, спасти от гибели более чем полтора миллиона евреев или не давать повода для вражеской пропаганды. Как будто им нужен был какой-нибудь повод, чтобы распространять самую гнусную ложь и творить непостижимые злодеяния? И решили, что второй вариант важнее. При этом опять-таки руководствовались государственными интересами. Солженицын не утруждает себя анализом этого вопиющего решения.

Итак, мы выехали 17 августа в ночь, когда был уже слышен грохот раз-

рывающихся снарядов за нашими спинами. На следующий день, уже у села Березовка, начались наши мытарства. Немецкие самолёты разбросали здесь листовки с антисоветским содержанием («бей жидов и коммунистов» и др.) и предупреждали, что будут бомбить мост через реку Ингулец, а населению предлагали укрыться в Вишнёвой балке. Местное население, конечно же, заботясь о нашей безопасности, погнало нас к этому оврагу, хотя наши подводы были уже на противоположной стороне реки. Поднявшаяся паника буквально лишила наших женщин разума. В Вишнёвой балке, кроме нас, никого не было. Грохот в отдалении не стихал. Через некоторое время к людям возвратился разум. Сколько будем мы ещё здесь лежать? Ведь нас, наверное, ждут и ищут? А вдруг не дождутся? Преодолев страх, мы отправились к мосту, где нас действительно ждали и волновались, не понимая, куда мы делись.

На дорогах было невероятное скопище беженцев на подводах, множество машин с солдатами, военная техника. Все торопились переправиться через Днепр – рубеж, за которым охваченные страхом люди видели своё спасение. Телеги, оказавшиеся почему-либо на обочине, не могли втиснуться в тесный поток медленно двигавшегося транспорта.

Неразбериха, паника, пробки нарастали по мере приближения к Запорожью.

И вот переправа совсем близко. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Но вдруг по непонятным причинам движение остановилось. Оказалось, переправа закрыта, мост заминирован и будет вскоре взорван. Что делать? Возвращаться домой и ждать гибели в родных пенатах? Всё происходило совершенно стихийно. Даже дорожных регулировщиков не было. Вскоре выяснилось, что надо ехать в Никополь. Там мост будет взорван позже. Шансы на спасение ещё не все были потеряны. Но успеем ли? Нам повезло: мы переправились через Днепр в Никополе.

Грохот разрушенного моста раздался, когда мы уже были на левобережной Украине, где обстановка была совсем иная. Можно было хоть нормально покормить лошадей и на кирпичах сварить какую-нибудь похлёбку. Доехав до Ростовской области, мы осели в селе Новоивановка, решив, что сюда немцы уж точно не придут. На этом закончился первый этап нашей эвакуации.

Пробыли в колхозе «Красный партизан» месяца полтора, и нам стало ясно, что надо снова бежать. И чем быстрее, тем лучше. Но пришлось снова преодолевать сопротивление председателя колхоза – очень уж ему не хотелось расставаться с нашими лошадками. И сюда, очевидно, тоже ещё не дошёл приказ о первоочередной эвакуации граждан еврейской национальности...

Наши мужчины даже планировали ночью взять своих лошадей, и, как говорится, поминай, как звали. Но этой авантюре не суждено было осуществиться. В начале ноября мы всё-таки выехали. Зима в том году была ранняя и морозная, поѐмки начались с ноября, но это нас не остановило. Зимней одежды у нас не было. Мама наматывала мне на ноги множество тряпок, поверх которых я надевал женские резиновые боты «прощай молодость». Подъезжая к очередной деревне, мы врассыпную направлялись к избам. Просились на ночлег. Были рады, когда нас пускали ночевать в сених или даже в сараях для скота. Там я впервые узнал, каким может быть приятным тёплое дыхание коров.

Путь наш лежал к Сталинграду. Вдоль дороги на всех столбах были наклеены бумажки с надписями. «Доченька, мы будем ждать тебя на вокзале. Мама». Или: «Наташа, напиши тѐте Тане в Свердловск. Когда приеду на место, я тоже напишу ей, и мы сможем найти друг друга». И множество других. Одна записка запомнилась мне особенно. Она была написана красными чернилами. «Мама, не волнуйся, я жив! Яша». Где только парень в те времена нашѐл красные чернила? Не кровью же он писал.

Война, действительно, разорвала на части миллионы семей, разметала их по миру, как ветер песчинки в поле. На долгие, тяжѐлые, мучительные годы была потеряна связь между самыми близкими людьми, которые ждали и надеялись, теряли надежду и снова ждали.

До Сталинграда мы не доехали. Там, как нам говорили встречные беженцы, на вокзале было вавилонское столпотворение. Люди ждали неделями и не могли уехать. И потому наши мужчины решили свернуть на станцию Тихорецкая. Не зная дороги, мы блуждали, как слепые. Не раз попадали в безвыходные положения. Случались и счастливые моменты.

К ночи мы заехали в армянскую деревню. Это было где-то недалеко от Крапоткино. Нас приняли на удивление радушно. Пожилая женщина натопила печь, чтобы согреть нас, озябших до косточек. Такого гостеприимства нам ещё не приходилось встречать. А когда мы увидели, что она затеяла печь блины для нас, кое у кого появились слезы благодарности на глазах.

Очень многое было пережито, но «Мама, не волнуйся, я жив. Яша» и блины пожилой армянской женщины неразрывным сгустком памяти остались в моей душе на всю жизнь. Запомнился и такой случай.

Смеркалось, но никакого жилья поблизости не было видно. Просѐлочную дорогу припорошило снегом. Неожиданно передняя телега остановилась. Мужчина, державший вожжи, похлестал лошадь по бокам, но никакого результата не было. Затем он взял её под уздцы и потащил вперѐд, но она, сделав несколько шагов вперѐд, опять остановилась как

вкопанная. Кто-то предположил, что лошади, наверное, своим звериным чутьём чуют близость волков. Помню мамин испуганный голос: «Господи, неужели нам суждено вместе с детьми замёрзнуть здесь, в этой дикой степи?» Я не испытал большого страха. Впереди собрались несколько мужчин, они о чем-то рассуждали. Я верил, что они найдут выход. В то время, когда вокруг было бесконечное множество беззащитных вдов и сирот, роль мужчины и его возможности мне казались безграничными. И действительно, один из представителей сильного пола увидел небольшой огонёк в стороне. Было похоже, что там за чьим-то окошком слабо мерцает керосиновая лампа. Мужики повернули на этот огонёк. Лошади, словно обрадовавшись, что их поняли, бодро пошли вперёд без всяких понуканий и при этом, видно, думали: «Насколько всё-таки люди глупее нас, вместо того чтобы разобраться, дерутся кнутами. И за что мы их только любим?» А огонёк продолжал гореть впереди, как рождественская звезда перед пастухами из Назарета.

В общем, мы поняли, что продвигаться дальше невозможно, и остановились в станице Григоропольская Ставропольского края, решив, что сюда уж немецкие войска никак не придут. Колхоз, в котором мы оказались, имел несколько полевых станов, расположенных вдали от станицы. На них работа не прекращалась и зимой. Все наши трудоспособные люди были отправлены на эти полевые станы. Также и лошади наши были разбросаны вдали от станицы. Когда к весне стало ясно, что немецкие войска стремительно продвигаются к Кавказу, выехать самостоятельно мы уже не могли.

Оставалось только покорно ждать чуда. И оно произошло. Кто-то из наших узнал, что в районном центре вербуют граждан в город Куйбышев для работы на военных заводах. На кого вербовщики рассчитывали? Местные жители уезжать никуда не собирались. «Неужели это организованное мероприятие по спасению застрявших здесь еврейских граждан?» – Думали мы.

Так или иначе, получив продукты питания на дорогу, мы поездом отправились в Куйбышев, где нас ожидали представители двух заводов. Они чуть было не подрались из-за нас. Оказалось, что перевезённые из Москвы, Воронежа и других мест заводы остро нуждаются в рабочей силе, простаивают. В то время как их продукция – самолёты – нужна была фронту. Была ли вербовка на Северном Кавказе связана со спасением беженцев или же с крайней необходимостью в рабочей силе на военных заводах? Или то и другое вместе? Об этом можно только гадать.

Я не утверждаю, что источники, на которые ссылается в своих выводах Солженицын, являются заведомо лживыми. Наверное, где-то и учитывали,

что оставлять евреев на оккупированной территории – значит обрекать их на верную гибель. Но и мой личный опыт эвакуации, свидетельствующий, что никакой плановой помощи со стороны властей не было, нельзя оставлять без внимания.

В конце мне хочется вспомнить быль или легенду, передаваемую их века в век, как одна простодушная старушка бросила свою щепку в костёр, на котором сжигали Яна Гуса. Ян Гус, ещё не потеряв сознание, воскликнул «O, sankta simplicitas!»

Книга «Двести лет вместе» не щепка, какую бросила невежественная женщина в костёр, а огромная масса легко воспламеняющегося материала. А об Александре Исаевиче уж никак не скажешь «О, святая простота!»

До войны в еврейской колонии я об антисемитизме никакого понятия не имел. Но потом, когда я попал в среду антисемитски настроенных агрессивных подростков, я почувствовал себя в чём-то неполноценным, но утешался тем, что это у них от подросткового хулиганства и глупости. Когда то же самое отношение к евреям я стал замечать у взрослых, я был уверен, что виной тому является их безграмотность и невежество. Но то, что это чувство свойственно и образованным, и умным, и даже талантливым людям, я с горечью постигал всю свою сознательную жизнь.

Солженицын чувствовал проявление лжи в самых её микроскопических дозах. Но когда он касался еврейского вопроса, то присущие ему тонкие, чувствительные индикаторы на ложь не срабатывали. Как это могло произойти? Ответить на этот вопрос очень непросто.

Антисемитизм, как мне стало известно впоследствии, явление уникальное. Множество существующих версий, каждая в отдельности, да и все вместе, не в состоянии полностью объяснить причины его возникновения и живучести, особенно в тех случаях, когда он вообще лишён здравого смысла и появляется как бы из подсознания. Ужасы прошедшего Холокоста показали чудовищное, звериное лицо не только фашизма, но и антисемитизма, составной частью, которого он является. Казалось бы, они должны были породить неприятие к этому позорному явлению.

И с уничтожением фашизма и антисемитизм должен был бы, по крайней мере, значительно уменьшиться. Но произошло обратное. Объясняют это влиянием оккупации, т.е. народ-победитель позаимствовал у побеждённых то, против чего он боролся. Это ли не абсурд? Ведь даже на заре человечества победители людоедов, не становились сами людоедами. Но есть и более правдоподобное объяснение: дремлющий извечный антисемитизм, имевшийся у народов изначально, возрос потому, что во время оккупации приобрёл для себя благоприятную почву.

Все доморощенные палачи – помощники немцев, добровольцы, мест-

ные полицаи, проделавшие, как минимум более половины работы по уничтожению евреев, причём, самой страшной, грязной, работы, – не осуждены и не покались, как это произошло в Германии. Более того, многие факты до сих пор не обнародованы, как военная тайна, чтобы, не дай Бог, не открылась вся правда о деяниях доморощенных палачей.

Даже теперь, когда открыты многие архивы того периода и в России появилась некоторая свобода в средствах массовой информации, нет такого смельчака, который заговорил бы об этом вслух, во всеуслышание. Если ещё добавить те антисемитские кампании, которые прошли по стране в послевоенные годы (борьба с космополитизмом, дело врачей-отравителей и др.), то наивно было ожидать какие-либо благоприятных тенденций с этим вопросе. Конечно, участие своих отморозков в уничтожении тысяч и тысяч мирных граждан еврейской национальности — это позорное пятно для народа, который их породил. Но лучше, раскаявшись, смыть это пятно, чем хранить этот позор в законсервированном виде.

Любовь Рейнгац

* * *

Обломки черепков, осколки плиток...
Раскопано. Разрыто. Это я
ушедшей жизни пожелтевший свиток
вытаскиваю из небытия.

* * *

Любить, жалеть, понять, простить –
училась, клеила, лепила.
Себя ж с собою примирить
я, к сожалению, не в силах.

* * *

Сама ростками прорастаю,
сама пишу, сама читаю.
Сама себе я вместо стаи –
история совсем простая.

* * *

Я – так, дичок. Я не из сада.
Лишь ветвь касается ограды.
И хоть вы, верно, мне не рады,
прошу: выкапывать не надо.

* * *

Сытно. Не убого.
Место для спанья.
Коврик у порога.
Рядышком семья.
И совсем немного
нужно, чтобы я
путь нашла, дорогу
в бегстве от себя.

* * *

Я на вопрос нашла ответ,
я тайну вызнала, секрет:
приходят письма на тот свет,
а говорили – его нет.

* * *

Опять судьба сулит подарок,
опять стою перед чертой:
здесь – не увидят меня старой,
там – знать не будут молодой.

* * *

Поросший осокою остров...
Вдали перелесок густой...
Изломанный лодочный остов...
Мостки со скрипящей доской...
И желто-зеленая осыпь...
И неба распахнутый крой...
И пахнет пронзительно-остро
какой-то нездешней тоской.

* * *

Как в чертежах, -- разметкой – светотень,
кусты стоят в затылок, ряд за рядом.
Пронумерован каждый куст и пенёк,
и буйства веток нету над оградой.
Здесь не в чести обломовская лень.
Приручено, прикручено, как надо.
И лишь вольнолюбивая сирень
без привязи, вне строя, вне парада.

* * *

На одном берегу я, –
глядящая невидяще на буйство весенней зелени,
не оправленной в раму.
На другом –
сидящая в темных очках за чашкой кофе
одинокая молодая дама.
Между нами –

бегущая темная река
с ослепляющими блестками разбитой амальгамы.
Мне непонятно –
это осколки моей или ее драмы?

* * *

Степенно стариться, смирнеть,
влезать в привычные обноски,
поесть, поспать, осоловеть
от вкуса крепкой папироски.
Не допускать, чтоб солнца медь
высвечивала пыль на досках,

сквозь жалюзи на жизнь смотреть,
нарезанную на полоски.

* * *

Как пресно – все одно и то же:
обеда, ужины, кровать,
следить за постаревшей кожей,
комедий патоку глотать,
день голодать, – а вдруг, поможет? –
с соседкой время коротать,
брюзжать: «...когда была моложе...»,
на выросших детей роптать.
Я не хочу свой бег стреножить!
И старость мне не ублажать!
Я не хочу – бревном – на ложе,
и пылкость мне не остужать!
Я не готова жизнь итожить,
мне столько нужно испытать!
Затем и демонов тревожу,
что с мукой вместе – благодать.

Константин Июльский

НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДНИ

/Из записок журналиста/

К середине девяностых мы оказались в Германии и успели даже некоторым образом интегрироваться. То есть, могли без переводчика купить в магазине колбасу, улицу переходили только на зелёный свет, не удивлялись немецким бутербродам с сырым фаршем и считали совершенно нормальным, что местные жители игнорируют нас.

В один погожий воскресный день решили мы выбраться на экскурсию в небольшой баварский городок. Расположился он в горной долине. Сверху, с дороги, выглядел кукольным, вроде тех, что украшают игрушечные железные дороги. При ближайшем рассмотрении тоже не разочаровал: тротуары вылизаны до блеска, домики, ярко расписанные на евангельские сюжеты, похожи скорее на театральные декорации, чем на человеческое жильё. Повсюду тишина и покой, на улицах одни туристы. Местные спрятались по домам и только по запаху кофе, тянущемуся из распахнутых окон, можно догадаться об их присутствии. В одной маленькой улочке мы вдруг услышали хоровое пение. Разобрать слова было трудно, но мелодия показалась удивительно знакомой.

– К гадалке не ходи, – фыркнула жена, – из Штирлица, «Не думай о секундах свысока». Помнишь, в фильме, не доезжая до Берлина, он прикорнул, а Кобзон за кадром укачивал его в это время песенкой.

Над входом в домик, откуда доносилось пение, красовалась доска с надписью на русском и немецком языках: «Свободная евангелическая община». Из любопытства мы заглянули внутрь. Просторный светлый зал был заполнен до отказа: старушки в платках, молодые и не очень молодые серьёзные мужчины, женщины с детьми. Пастор в сереньком сиротском костюмчике самозабвенно дирижировал, а паства дружно распевала псалом из Библии на мотив Таривердиева. В руках люди бережно держали листочки с текстом. Лицо священнослужителя показалось мне знакомым.

Я пригляделся. Бог мой, да неужто это мой старый знакомый пастор Йохан Тиссен из села Дергуны. Односельчане величали его Иван Адамычем. Именно этого пастора курировал и частенько распекал инструктор по атеизму Заливатского райкома партии Пётр Фёдорович Шлыков. А было это лет двадцать назад во время моей командировки в те края.

Началось все с коровьего молока. Доярки одной из ферм Курдюмской области (названия местностей и имена везде изменены) надоили как-то жутко много. На Западе подобным событием никого не удивишь. Но советская журналистика конца семидесятых была ориентирована на освещение трудовых подвигов, и пройти мимо этого эпохального события работники пера просто не имели права. Пресса немедленно откликнулась на замечательный успех доярок рядом статей: от передовой «Равняйтесь на лучших» до публицистической «Куда текут молочные реки».

– Мы тоже не можем игнорировать этот факт, – рубанул рукой Фёдор Ячменный, главный редактор одной мелкой, но столичной газеты, – надо немедленно командировать в Курдюмск корреспондента. Пусть выяснит на месте, как удалось им столько надоить.

Корреспондентов в редакции хватало. Зубры пера охотно соглашались на командировки за границу. Ехать за бугор готовы были даже злостные язвенники. Вояжами в Курдюмск и другие не менее замечательные родные города зубры почему-то манкировали. Нет-нет, глубинку они любили всем сердцем, охотно признавали, что настоящая культура могла сохраниться лишь на периферии, ни минуты не сомневались, что командировки в глубинку духовно обогащают журналистов, однако ехать туда отказывались наотрез: кто по причине плохого здоровья, кто от непосильных нагрузок по партийной и профсоюзной линии, иные из-за нелёгкого семейного положения.

Поэтому в командировки по родной стране начальство выталкивало из уютных стен редакции людей молодых, здоровых и, как правило, беспартийных. Таковых было немного.

– Вот ты и поедешь в Курдюмск, – ткнул в меня пальцем шеф.

– А как же с курсами марксизма-ленинизма? – Возмутился я. – Вы же сами меня туда загнали. Из-за командировки могу пропустить важные лекции. Потом не нагнать.

– Нагонись, – успокоил меня шеф. – В Курдюмске этот предмет штудируют не хуже, чем на твоих курсах. При этом он почему-то звонко щёлкнул себя под подбородком.

Передовая молочная ферма, как выяснилось на месте, находилась не в самом Курдюмске, и даже не в Заливатском районе, а в двадцати километрах от него, в селе Дергуны. Это разъяснил мне Фёдор Поликарпович, мужчина среднего роста, полноватый, с мохнатыми ушами, заведующий отделом агитации и пропаганды Заливатского райкома партии, куда меня отфутболили из Курдюмска.

– Нужное дело затеяли, а главное своевременное! – обрадовался он, узнав о цели моей командировки, и протянул пухлую волосатую руку. В другой руке у него был зажат свежий номер газеты «Путь к коммунизму», – Пётр Фёдорович Шлыков, наш инструктор по атеизму, поедет с вами на ферму. Поможет вам, так сказать, на месте во всем разобраться.

Инструктор по атеизму Пётр Фёдорович Шлыков, высокий, поджарый, энергичный человек лет тридцати, горячо пожал мне руку и тут же потащил в райком комсомола. Благо тот находился на другой стороне улицы.

– Сначала заберём все необходимые бумаги, – деловито проговорил инструктор по атеизму, а завтра двинем на ферму. Я там баптистов раз-драконю для профилактики, а ты нашу Фогель окучишь.

– Какую ещё Фогель? – удивился я.

– Как это какую? – Удивился в свою очередь Пётр Фёдорович, – которая молока больше всех надоила. Её Фогелем зовут. Людка. Ты разве не к ней приехал?

Фамилия знатной доярки напрочь выпала у меня из головы, поэтому я излишне горячо и поспешно заверил его: да-да, именно к ней, к Людмиле Фогель, и ехал я за много вёрст.

«Комсомольцы пьют как взрослые, а работают как дети», – изрёк кто-то из столичных острословов. В правоте изречения, по крайней мере, первой его части, я получил возможность убедиться в тот же вечер. Петруччио, так окрестили комсомольцы Петра Фёдоровича, ввёл меня в просторную комнату. Под прибитым к стене комсомольским стягом стоял накрытый стол. Юноши и девушки позднего комсомольского возраста азартно разливали молдавский коньяк «Белый аист». Закуска была простой, но обильной: болгарская баклажанная икра, розовый зефир, шпроты прибалтийские и местные пупырчатые огурчики. Поводом для празднования, как объяснили мне, стал проведённый пленум. По установившейся доброй традиции подобные застолья комсомольцы устраивали в честь любого завершённого мероприятия. Все шумно и наперебой говорили. На наш приход комсомольцы отреагировали вяло. Несколько человек безразлично помахали рукой и вновь углубились в беседу.

– Пей, выпивки навалом, – толкнул меня в бок Пётр Фёдорович и лихо ткнул полстакана коньяка.

Сидевший справа от меня щекастый комсомолец в очках наклонил голову и через стол пожаловался Петру:

– Представляешь, захожу сегодня в книжный магазин. Хочу что-нибудь взять почитать, так сказать, для души, а у них на полках одни только сборники речей Суслова, Брежнева, Косыгина. Жуть!

Язык у него слегка заплетался.

– А разве это плохо? – Неожиданно строго глянул на него Пётр Фёдорович.

Комсомолец мгновенно протрезвел.

– Так ведь я и купил!

Комсомольские функционеры мне понравились. Они пили много, но при этом, в отличие от моих легкомысленных знакомых, голову не теряли, слова говорили правильные. Казалось, они все ещё продолжают работу пленума. Заслушавшись, я не заметил, как кто-то притащил баян. «Жила бы страна родная, и нету других забот!» – Дружно заголосили комсомольцы под музыку. Потом юные вожди хором спели песню, из которой мне запомнился лишь трогательный припев: «Самый верный твой товарищ – комсомольский секретарь». Слова эти все выговаривали прочувствованно. У некоторых на глаза даже навернулись слезы. Они застенчиво отворачивались и вытирали их рукавом или платочком. Закончив очередную песню, комсомольцы вновь наполняли бокалы «Белым аистом», кто-то произносил идеологически правильный тост, и все чокались. Пётр Фёдорович, как выяснилось, лишь недавно был переведён в райком партии. Связь с бывшими коллегами по комсомолу он не терял, потому и душой оставался молод.

Нет и ещё раз нет, думал я, глядя на комсомольцев, поглощающих в неимоверном количестве крепкий молдавский напиток, наивны те, кто полагают, будто комсомольскими или партийными функционерами становятся лишь карьеристы.

Конечно, карьеристом быть надо, однако настоящий народный вождь должен иметь не только холодную голову и горячее сердце, органы, столь высоко ценимые Феликсом Эдмундовичем, но и крепкую, выкованную из чистой стали печень. Такую печень не натренируешь гантелями или пробежками по утрам. Её наследуют от отцов и прадедов вместе с генами. У человека, даже физически очень крепкого, печёнка такой адской нагрузки просто не выдержит. Если вдруг и закинет судьба какого трезвенника на высокий и ответственный пост, не удержаться ему там ни за какие коврижки. Так что не судите функционеров строго: это люди, отмеченные пе-

чатью Бога. Такую печень Господь даровал лишь им. Да ещё разве налиму.

...В одиннадцать пришла уборщица и заявила, что пора закрывать помещение, а самой ей – идти на боковую.

– Тётя Паша, приобщись-ка ты лучше к общественной жизни, – пробормотал Пётр Фёдорович и ласково обнял старушку за плечи. – Выпей-ка с нами за полный кворум.

Уборщица, казалось, только и ждала этих добрых слов. Она прислонилась швабру к стене, цепко ухватила жилистой рукой стакан и лихо опрокинула его в беззубый рот.

– За такой кворум грех не выпить, – с чувством произнесла враз помягчавшая старушка, – свет только не забудьте выключить, соколы, когда расходиться будете. И с цветочками поосторожнее. А то в прошлый раз кто-то весь фикус заблевал.

Нет, так дело не пойдёт, подумал я, за комсомольцами не угонишься, они действительно пьют, как взрослые, и пошел на хитрость. Чокался со всеми, как положено, а выпивал лишь половину. Соседи тут же подметили моё лукавство и пристыдили.

– Нехорошо от коллектива отбиваться, – укоризненно глянула на меня крепкая телом комсомолка с тугой шестимесячной завивкой и призывно улыбнулась. При этом в уголке ею губ задорно блеснул золотой зуб. – Может, здоровьем страдаете? Так полечим, у наших девушек руки целебные. Я невольно взглянул на её мощные руки и торопливо заверил, что здоровье пока, слава Богу, в порядке. В доказательство тут же допил стакан.

Сморило меня на песне про удалого Хасбулата. Пётр Фёдорович по-дружески подхватил меня под локоть, вывел из-за стола и повёл в гостиницу. «Бедна сакля твоя», – неслись вослед нам рыдания работников идеологического фронта.

... Утром я был разбужен треском моторов. Белобрысые мальчишки гоняли по пыльной улице на раздолбанных мопедах. В дверь номера кто-то тактично постучал. Сказать «войдите» не было сил. Дверь отворилась, и Пётр Фёдорович, мягко ступая, материализовался в комнате. Лицо его слегка припухло, по измятой одежде было видно, что до дома он вчера так и не добрался.

– Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, – слегка осипшим голосом процитировал он Винни-Пуха и по-отечески потрепал меня по ноге. В левой руке главный районный безбожник сжимал знакомую до боли бутылку «Белого аиста».

– Птица счастья снова выбрала тебя, – протянул бутылку Пётр.

Я с трудом оторвал голову от подушки и глянул в окно. Мальчишки уже уехали. От одного взгляда на этикетку с пернатым к горлу подступал комок. Пётр заботливо набулькал в стакан гордость молдавских виноделов.

– Во глаз! – восхитился он сам собой, – точнее штангенциркуля. Выпей сие не алкоголя ради, а лекарства в виде. Оттянет мгновенно. Весь наш советский народ каждое утро только так и лечится. Да ещё разве что рассолом. Потому и непобедимы мы, потому и любят нас прогрессивные люди на всей планете.

Желудок мой конвульсивно сжимался в предчувствии новой пытки, голова раскалывалась. Весь организм восставал против варварского лечения. Но Петр дождал- таки меня. Убеждать профессиональные комсомольцы умели. Отчаянно, как новичок-парашютист бросается в открытую дверь самолета, опустошил я одним глотком стакан. Некоторое время все оставалось без изменений. А затем случилось чудо. Черно-белый мир неожиданно начал окрашиваться в нежные акварельные тона. Пыльный тополь за окном стал бирюзово-зелёным, пронзительный женский голос, доносившийся из коридора, превратился в благородное меццо-сопрано.

– А Верочка привет тебе велела передать, – лукаво улыбнулся Пётр, заметив моё возрождение.

– Какая ещё Верочка? – удивился я, – ты ж меня ни с кем не знакомил.

– Здрости! – Развёл руками Пётр, – а кто вчера за столом напротив тебя сидел? А? Ты её вчера в гости ещё приглашал, в столицу. Говорил, дескать, у тебя там все схвачено, обещал сводить в Большой театр. Пётр плутовато погрозил длинным пальцем.

...Центральная усадьба, или село Дергуны, ничем не отличалась от тысяч других русских сел. Дома под жестяными крышами, на частоколах сушатся стеклянные банки. Перед домом чахлый куст сирени, позади картофельные грядки. Во дворе «козел» для пилки дров и проржавевшая жестяная утварь. В центре села, как водится, правление колхоза. Перед правлением скромный памятник – вождь мирового пролетариата Ленин, окрашенный в серебряный цвет и потому похожий на космонавта, указывает народу единственно верное направление – в село. Подобные памятники украшали в ту пору все без исключения населённые пункты от Бреста до Чукотки. Бригады шабашников поставили их производство на конвейер. Над правлением колхоза полоскался вылинявший красный стяг.

– Наши в городе, – обрадовался почему-то флагу Пётр Фёдорович, – значит, опохмеляться будем с крестьянским вожаком.

– Может, лучше сперва с дояркой побеседовать, – предложил я, – а то ведь сбежит вечером на танцы, ищи её потом.

– Пошли, – без энтузиазма согласился Пётр Фёдорович, – только не засиживайся с ней. Про цифирь Людку вообще не спрашивай, председатель тебе потом всю эту лабуду молочную в бухгалтерии найдёт. Пусть девушка о судьбе своей нелёгкой поведает, как надоить столько умудрилась, расскажет. А потом пойдём моих подопечных баптистов наведем.

Баптистов в Дергунах оказалось много, почти половина села. Дома их выглядели солидно и ухоженно. На крышах отсутствовали телевизионные антенны. Смотреть богопротивные телепрограммы, верующие люди отказывались. Зато дружно настраивали радиоприёмники на волну далёкой Канады. Эфир нёс оттуда божьи проповеди. Заморских церковников власти почему-то не глушили. Работали баптисты старательно и добросовестно. Спиртного в рот не брали. Председатель колхоза не мог нарадоваться. Районное партруководство относилось к ним с недоверием.

– Понимаешь, – растолковал мне положение дел Пётр, – шесть дней в неделю баптисты пашут, как кони. А в воскресенье наотрез отказываются выходить в поле. Вера, дескать, не позволяет им трудиться в этот день. Идут в свой молитвенный дом поклонны бить. А мне начальство холку мылит за плохую культпросвет работу. Простой механизатор, какой-нибудь Вася Похмелкин, никогда не пойдёт наперекор райкому: коли прикажет ему начальник работать в воскресенье – значит, выйдет в поле. И пашет. А эти ...

От возмущения Пётр сморщил лицо и махнул рукой.

– Так ведь верующие шесть дней подряд вкалывают, – возразил я, – а твой Вася Похмелкин всю неделю квасит. Представляю, сколько он в воскресенье напашет.

– Да кого это колышет, – кипятился Пётр. – В нашей стране, как в армии: коли начальство приказало, – выполняй, и не хрена раздумывать. Ответь чётко «Есть!», а потом гуляй на все четыре стороны, пей, блуди. И все довольны. Дисциплина! Меня вот, к примеру, поставили бороться с религиозным дурманом, и я не перечу, чётко отвечаю начальству «Есть!», поворачиваюсь через левое плечо и иду ... в сельпо.

– По-другому никак нельзя, – весело засмеялся Пётр, – иначе анархия, волонтеризм и всеобщее угнетение рассудка.

С религиозным дурманом районные власти боролись упорно и последовательно. Время от времени по их приказу сносили бульдозером молитвенный дом. Через день-другой верующие возводили на том же месте но-

вый храм, и все повторялось. Кто-то из горячих голов предложил однажды райкому провести эксперимент: оставить верующих на какое-то время в покое. Дескать, без гонений баптистам самим скоро наскучит молиться, и община в полном составе переключится на одобренный сверху атеизм.

Однако никто из районных руководителей так и не решился на столь рискованный эксперимент. А вдруг они и впрямь отрекутся, с кем же тогда бороться партии? Вместо этого отцы района решили в очередной раз усилить пропаганду передового марксистско-ленинского учения – научного атеизма.

Пётр Фёдорович, занимавшийся в ту пору военно-патриотическим воспитанием молодёжи, успешно провёл милитаризованную детскую игру «Зарница». Красные, как положено, победили синих. Районные власти высоко оценили это и решили именно Петра бросить на идеологически важный участок работы: на борьбу с религиозным дурманом. С баптистами, хотя те и были поголовно непьющие, у Петра сложились добрые отношения. Верующие понимали, что человек он подневольный, делает то, что приказывают сверху. Пётр в свою очередь убедился, что переубеждать верующих дело неблагодарное и махнул рукой. Для отчётности он, конечно же, распекал баптистов. Чтобы вести дискуссии более предметно, подковался, проштудировал библию. На наиболее часто задаваемый колхозниками вопрос: так есть ли все-таки Бог, уже не спешил отвечать отрицательно. Пастор Йоганн Тиссен, или Иван Адамыч, ценил его. В одном частном разговоре обмолвился даже: «Хорошая голова у Петра, только дураку досталась. Хоть и глупости говорит, но красиво. Не пил бы столько, вполне мог бы у нас проповеди читать».

...Доярка Людмила Фогель оказалась вполне современной девицей. В меру плотной, в меру кокетливой, в меру симпатичной. Щеки её были румяны и туги, глаза задорно блестели, серый халат топорщился там, где и положено. Смотреть на неё было приятно. Заведующий фермой, коренастый, плохо выбритый мужчина в мятой кепке и кирзовых сапогах, отвел нас в красный уголок фермы и деликатно прикрыл дверь.

Интервью с передовой дояркой получилось странное.

- Давно на ферме работаете? – Спрашиваю.
- Не скажу, – кокетничает доярка. – Зачем вам это знать?
- Мне это знать, – говорю, – верно, ни к чему, а вот читателя подобная пикантная деталь непременно заинтересует.

Людмила затеребила кончик платка, опустила глаза и напроочь замкнулась. Я попытался навести её на нужную тему, подсказывал готовые ответы: может метод у неё какой хитрый, или кормит она коров как-то по-особому. Девушка не поддавалась на мои провокации и упорно молчала. Через полчаса я окончательно выдохся.

– Чего это вы все меня одну пытаете? – Возмутилась вдруг Людмила. – Верка ещё лучше меня говорить может.

– И до Верки дойдёт очередь, – успокоил я.

– А вы, правда, из самой Москвы? – Обожгла меня взглядом передовая доярка.

– Точнее не бывает, – говорю. – А может, скажешь, кто ещё работает в вашей бригаде?

– Господи, да зачем вам это? Спросите лучше у завфермы, Захара Никодимыча, он всех наших доярок наперечёт знает, – снова застенчиво затеребила платочек Людмила.

Пётр Фёдорович несколько раз просовывал голову в дверь, делал страшное лицо и нетерпеливо стучал согнутым пальцем по часам. Дескать, не мучайся ты с ней, завязывай, дел ещё невпроворот.

Я сдался. Милая девушка Фогель умудрилась не ответить ни на один мой вопрос. Тайна высоких надоев так и осталась нераскрытой.

– Все, – сдался я, наконец, – ты победила, впредь буду писать только о дровосеках. С молоком завязываю.

Выйдя с фермы, я стал невольным свидетелем разговора Петра с сельским жителем. Одет тот был неброско: торс крестьянина обтягивал просаленный ватник, на голове приплюснутая кепка, серые полосатые штаны мягко ниспадали на грязные кирзовые сапоги. Судя по вымазанным мазутом рукам, – механизатор.

– Ну а сам-то ты куда смотрел? – Возмутился Пётр.

– Так я ж тоже был выпивши, – хрипел тракторист. – Откуда мне было знать, что он под куст завалится. И ноги ещё вытянул, как ненормальный.

– И что же ты ему прямо так по ногам и проехал трактором?

– А то! Сапоги всмятку. Новёхонькие. Он их в городе на заказ шил. У него же нога ненормальная.

– Была, – поправил Пётр, – теперь без двух. Наверное, пить завязал с горя. В больнице-то не попьёшь.

– Щас, – хмыкнул тракторист, – разбежался. Он с мужиками в палате скидывается. Там ведь как: у кого ноги есть, те в магазин за рыгальной гоняют. А он лежит под одеялом, как барин, только отхлёбывает.

Трактористы, как выяснилось, были как раз из тех самых правильных, то есть готовых работать даже в воскресенье. Определили их в тот воскресный день на вывоз навоза. Для начала они, как положено, выпили красного вина. Бормотуху в большом количестве завезли неделю назад в сельпо. Произвели сей напиток Закарпатские виноделы. Назвали его патриотично – «Червонное». Оно отличалось отменной убойной силой и чрезвычайно доступной ценой. Это особо ценили сельчане. После «Червонного» друзьям крепко полегчало. Они умудрились даже сделать пару ездов. Затем трудовой запал угас. Пришлось кинуть на пальцах, кому ехать в сельпо. «Червонное» к тому времени раскупили более удачливые труженики. Остался лишь дорогой, но шибко забористый «Горный дубняк». После дубового нектара работать и вовсе расхотелось. Друзья выгребли из мятых штанов всю оставшуюся наличность, Фёдор завёл трактор и поехал за подкреплением. Однако по пути железный конь неожиданно опрокинулся в кювет. Механизатора это нисколько не огорчило, и он нетвёрдой походкой продолжил путь. На обратной дороге его ждал приятный сюрприз: чья-то заботливая механизаторская душа проявила солидарность – выдернула поверженного железного коня на тракт. Фёдор тяжело вскарабкался в кабину, дал полный газ и ... Что было дальше, он помнил урывками. До больницы обезноженного друга подбросил сосед, проезжавший мимо на мотоцикле с коляской.

– Ведь какой геройский народ у нас! – Восхищался по дороге к машине Пётр. – Ноги у друга всмятку, а он о сапогах его думает, выпивку ему носит в больницу. Такие молодцы, каких только дел по пьянке не натворят, но коли надо – и под танк сиганут, с гранатой. Домой вернётся – вся грудь в орденах.

Фантазия уводила Петра все дальше от современности. Патриотическая работа с молодёжью не прошла бесследно. Заметно было, что лихость нетрезвых механизаторов импонирует ему больше, чем трудовая, но скучная жизнь баптистов.

– Есть ещё в жизни место подвигу, – грустно резюмировал он, – а тут сиди, отписывайся.

– Так мы с тобой от вчерашнего подвига не отошли ещё, – удивился я.

– Вспомнил, – махнул рукой Пётр, – когда это было. Солнце уж в зените, а у меня ни в одном.

Молитвенный дом баптистов походил на сельский клуб. Внутри добротные скамейки для паствы, чистые полы, сияющие окна. Все сработано добротно, с любовью. На сцене возились с аппаратурой молодые люди,

настраивали электроинструменты к вечерней службе. Две скромно одетые девушки натягивали кумач с библейским изречением. Пастор Иван Адамыч, внешне не отличимый от других сельчан, в сером сиротском костюмчике, с достоинством приветствовал нас.

– Адамыч, ты же торжественно обещал мне в прошлый раз не вовлекать в свою культработу молодёжь, – укоризненно покачал головой Пётр. – Вон сколько новеньких привадил.

– Не я привёл их сюда, а господь Бог им дорогу указал, – смиренно ответил пастор.

– Лучше бы он им в драмкружок дорогу указал, – вздохнул главный районный атеист. – На носу областной смотр самодеятельности, а у нас Чичикова играть некому, Фидулин ногу сломал по пьянке. А у тебя вон, какой ансамбль хоралы поёт.

– Погляди, – повернулся ко мне Пётр, – сколько у них верующий народ на опиум жертвует. Не спрашивая разрешения Адамыча, Пётр бесцеремонно снял со стены фанерный ящичек для пожертвований и открыл крышку. Плотно слежавшиеся купюры ласкали глаз. Пожертвований меньше пяти рублей не наблюдалось. Преобладали денежные знаки десяти и двадцатипятирублёвого достоинства.

– Что за народ, – опечалился Пётр. – На религию денег не жалеют, а сдать взносы на родной ДОСАФ не допросишься. Я, когда работал там, самолично за каждым членом бегал, уговаривал, пожертвуй, мол, двадцать копеек на родную армию. А они все, как сговорились: денег нет. В конце лета, дескать, под расчёт получим, – тогда и дадим. А где-нибудь, на Чукотке, к примеру, солдатик наш без ружья мается, классовый враг в лицо ему оскалился, а тому бедолаге и стрельнуть не из чего, народ на ружье пожмотился.

– Смотри, Адамыч, будешь массы смущать, – закроем твою богадельню, – громко и как-то даже театрально прикрикнул вдруг Пётр Фёдорович.

– На все воля божья, – смиренно развёл руки Адамыч.

– Чего это ты с ними так строго? – любопытствовал я, когда мы отошли достаточно далеко от молитвенного дома. – Пусть люди лучше молятся в воскресенье, чем тракторами друг другу ноги утюжить.

– Так ведь без строгости с ними никак нельзя, – Пётр посмотрел на меня, как на недоумка, – завтра утром каждое сказанное мной слово в райкоме знать будут. Тут в секте полно сознательных граждан. Стратегия, брат! А теперь за дело. Председатель уже заждался нас.

В колхозной столовой оказалось неудобно и грязновато. Поначалу я даже разочаровался: неужто не могли выбрать для банкета место поуютнее. Но председатель прошёл столовку насквозь, открыл неприметную дверь и пригласил нас широким жестом. Тут был совсем другой коленкор: полированный деревянный стол уставлен тарелками с соленьями, жареными цыплятами, помидорами, огурцами, розовыми ломтями сала. На стене одобренный сверху набор картин: три богатыря, мишки на лесоповале, девятый вал Айвазовского и незнакомка Крамского. На окнах занавески. Пить, правда, пришлось из стаканов. Разлили снова «Белого аиста». Председатель принёс с собой мешок из плотной бумаги. Как оказалось, доверху наполненный бутылками. Темп сельчане задали такой, что через час я уже потерял всякое ощущение реальности.

– Что там за анекдоты рассказывают у вас в столице? – Поинтересовался у меня председатель, хрустя огурцом.

Я выдал навскидку пару безотказно смешных анекдотов. Они были опробованы в самых разных компаниях и осечки не давали. Однако на сей раз ожидаемого смеха я так и не услышал. Все задумчиво смотрели на меня и молчали. Зоотехник даже крикнул с сожалением.

– Послушай-ка теперь ты действительно смешной анекдот, – потеряв руки, начал он. – Значит так, приходит как-то кум до кумы

Анекдот оказался непривычно длинным и напоминал скорее русскую былинку или ирландскую сагу. Кроме выше названного кума и кумы, в нем принимал участие ещё целый ряд действующих лиц: вечно пьяный, но смекалистый русский мужик, большой любитель свиного сала хохол, прижимистый еврей, щедрый, но недалёкий грузин, наивный узбек, туго соображающий, но метко стреляющий чукча, оборотень в погонах милиционера. Через равные промежутки времени комната оглашалась громовым хохотом, но зоотехник продолжал повествование. К концу анекдота народ изрядно выдохся, и интенсивность смеха снизилась. Впрочем, и концовка оказалось не столько смешной, сколь поучительной. Я понял, в чем была моя ошибка: здешний народ жил спокойно и размеренно. На коротком городском анекдоте они не успевали сосредоточиться и уловить суть. Неторопливый крестьянин разогревался медленно, как тракторный мотор.

– Ну, ты даёшь, Кузьма! – председатель вытер ладонью слезы. – Откуда ты их только берёшь?

После неизвестно какого по счету стакана лица моих собутыльников стали расплываться. Остаток вечера смутно сохранился в памяти. В

гостиницу я попал далеко за полночь. Поспать в ту ночь удалось плохо. Гостиничная постель вытворяла чудеса: ходила ходуном, раскачивала меня, как на волнах. Потом она вообще взбесилась, встала вдруг на дыбы и сбросила меня на пол. Я отчаялся усмирить её, махнул рукой и заснул прямо на пыльном прожжённом сигаретами коврике.

Разбудил меня хриплый петушиный крик. Все тело было покрыто мурашками. Спать без одеяла оказалось ужасно холодно. На тумбочке у кровати кто-то предусмотрительно поставил бутылку пива, рядом положил открывалку. Я отпил глоток пива и перебрался на кровать. Она к тому времени наконец-то утомилась, согрелась, и снова заснул.

– Спишь, – услышал я вдруг сквозь дрему чей-то укоризненный голос, – а в это время кто-то, может быть, домну задувает. Со страшной силой.

Ещё более помятый Пётр Фёдорович сидел за столом и задумчиво рассматривал прибитый к стене отрывной календарь. На листке крупными красными буквами стояло: День металлурга. И впрямь праздник!

– Люда Фогель интересовалась вчера весь вечер, когда же ты, наконец, напишешь про неё? – Грустно вздохнул Пётр. – Я разъяснил девушке, что ты именно сегодняшней ночью собирался над очерком работать.

– Когда же это она успела спросить тебя? – Удивился я. – Мы же вчера вроде бы вместе ушли с фермы. Вместе с тобой анекдоты за столом трогали. Её в нашей кампании не припомню.

– Отвечаю: в клубе, на танцах. Ты-то отрубился вчера, а мне ещё и на танцы в клуб пришлось идти: за тебя и за того парня. Культурную работу среди девушек проводил. Если мы ими заниматься не станем, то баптисты умыкнут их души. С местными хлопцами разъяснительную работу провёл. Потом пил с ними на мировую. Господи, какую же гадость потребляют крестьяне.

Пётр гадливо поморщился. Глаза его были красны, устали и задумчивы. Одна из пуговиц на пиджаке сиротливо обвисла, ботинки потемнели от утренней росы, в волосах сиротливо приютилось куриное пёрышко с прилипшим помётом.

– Господи, какой же шмурдяк пьют работники сельского хозяйства! – вздохнул Пётр.

... В «Свободной евангелической общине», куда мы с женой случайно забрели, закончилось пение, прихожане, не спеша, расселись по своим местам, слово взял пастор. Я пригляделся и ахнул, батюшки, да, действительно, это тот самый пастор Йохан Тиссен из села Дергуны.

– Я рад сегодня приветствовать в нашей общине дорогого гостя, –

торжественно начал Иван Адамович,- пастор Фогель приехал к нам из Аугсбурга, чтобы поделиться, чем живут там сегодня наши братья и сестры.

Упитанный пастор Фогель тяжеломерно взгромоздился на трибуну и обратился к пастве с приветственным словом. Я пригляделся к посланцу из соседнего города и не поверил своим глазам: это был тот самый райкомовский безбожник Пётр Шлыков, Петруччо, распекавший когда-то пастора Тиссена. Со времени нашей первой (и последней) встречи, бывший безбожник заметно поправился. Лицо его приятно округлилось и приобрело здоровый румянец. Немецкая жизнь явно пошла на пользу главному районному атеисту. Пётр поймал мой взгляд, узнал и удивлённо округлил глаза. Не прерывая проповеди, он незаметно сделал мне рукой знак: подожди, дескать, не убегай после службы. Закончив излияния, батюшка ещё минут пятнадцать отвечал на вопросы обступивших его прихожан, приглашал посетить их его общину.

Освободившись, наконец, Пётр с широкой улыбкой устремился мне навстречу.

– Какие люди в нашей баварской глуши! – воскликнул он.

– Никак перестроился? – Полюбопытствовал я.

– Раскаявшийся грешник вдвойне дорог Богу, – рассмеялся Пётр. – У меня теперь шансов попасть в рай поболее твоего будет.

– Не сомневаюсь, – порадовался я за бывшего атеиста. – Ты, Петруччио, всегда был ближе к начальству. А почему вдруг Фогелем зовёшься, а не Шлыковым?

Вместо ответа Пётр помахал кому-то рукой и прикрикнул по-хозяйски:

– Людка, чего прячешься! Иди к нам!

Только тут я заметил стоящую в сторонке пышную даму. Её бедра туго обтягивали белые брюки, высокий бюст соблазнительно просвечивал сквозь прозрачную блузку.

– Неужто та самая знатная доярка Люда Фогель? Какими судьбами? – Удивился я и тут же догадался. – Так вот почему ты теперь Фогель!

– Это Петька уломал меня сюда приехать, – Людмила кокетливо толкнула супруга локтем в бок. – Мы ж после вашего отъезда из Дергунов через пару месяцев и поженились. Потом уж, как собрались ехать в Германию, он и фамилию мою взял. Тоже Фогель теперь.

– Такую встречу обмыть надо,- подмигнул Пётр. – Пошли, я здесь один кабак знаю, – закачаешься! Господи, какую дрянь мы пили в Союзе? Приснится порой – аж телом дёрнусь.

– А как же «Белый аист»? – Удивился я.
– Вспомнил! Когда это было? А после того аиста была ещё и перестройка, и борьба с алкоголизмом. Забыл?

– Grüß Gott! – приветствовала нас хозяйка гастштете в национальном баварском платье. – Пиво или поесть хотите?

– Три пива, хозяйка, есть не будем, на диете, – улыбнулся Пётр и незаметно втянул живот. Через пару минут перед каждым из нас стояла запотевшая кружка с пивом.

Людмила с удовольствием сделала глоток, игриво толкнула пастора Петра и по-матерински погладила по голове. Новоиспечённый пастор поведал, что в тот самый вечер, когда я отчаянно сражался в гостинице с озверевшей кроватью, он охмурил-таки знатную доярку. Именно за это местные хлопцы чуть не намяли ему бока. Переехав в Германию, Фогель пару лет маялся без работы, сильно поправился и чуть было не спился. Выбраться из кризиса помог дядя Людмилы, тот самый пастор Иван Адамыч. Сначала он уговорил Петра сходить с ним на службу в молитвенный дом, а там и пошло... Язык у Петра Фёдоровича всегда ведь был хорошо подвешен. Да и Библию главный районный безбожник проштудировал в своё время. Так что пастор из него получился.

... В уютной баварской гастштете тихо наигрывала музыка. Лучи заходящего солнца дробились в пивных кружках и янтарными пятнами оседали на скатерти. За окном хрипло переговаривалась дрозды.

– Господи, какой же шумурдяк мы пили! – Вздохнул Пётр.

– Ка-ра-шо! – Кивнул нам толстый баварец в кожаных штанишках с помочами, сидевший за соседним столиком. Жена его приветливо улыбнулась нам, подняла кружку с пивом и добавила почему-то: «Калинка-малинка!»

Генриетта Ляховицкая

ОДЕССА – ПЕТЕРБУРГ – БЕРЛИН

Меж Петербургом и Одессой
есть, несомненно, связи нить.
Их даже времени завесой
никак нельзя разъединить.
И тайное соединенье
скрепляет эти города –
истории и духа звенья –
с тех давних пор ещё, когда
на берегах Невы дворцовой
поэт – слагатель вечных песен –
заветный перстень Воронцовой
храня, ждал писем из Одессы.

И мне в Одессе доводилось
у моря тёплого бывать,
отдавшись ласке волн на милость,
про дождь и холод забывать,
и на Привоз ходить лукавый,
где шутки слаще, чем плоды,
смотреть на памятники славы,
страдать из-за плохой воды...
И позабуду я едва ли
Фонтаны, Оперу, трамвай,
«шаланды, полные кефали»,
людей, сдававших мне сарай,
и парубков чубы крутые,
и приבלатнённый говорок...

Где те денёчки золотые?
Куда умчал их жадный рок?

Играю новой жизни пьесу –
в Берлине ныне пиво пью
и про далёкую Одессу
песнь петербургскую пою.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕРСТНИ

В шкатулке, на подкладке из фланели,
вещицы праздные нашли покой.
Серебряные перстни потемнели
в разлуке с их носившею рукой.
Они её когда-то украшали...

В последний день над светлою рекой
оставлены они лежать на шали,
раскинутой в траве на берегу...
Забыть бы, как они ко мне попали,
о ком воспоминанье берегу!

ВУАЛЬ

Когда-то, век назад, бывало –
лик женщины вуаль слегка скрывала
прозрачная. За ней не то чтоб тайна,
но полутайна обитала,
и очертанья профиля и шеи
манили...
Как старинные камеи,
влекли прикрытые вуалью лица –
чуть-чуть романтики,
и чтобы ночью сниться...

Теперь не носят женщины вуаль.
А жаль...

ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО

Я знаю, что любить людей легко –
спокойно, отвлечённо и всех разом –
все миллиарды тех, кто далеко,
о ком порой тревожится наш разум.

Но как же трудно ближнего любить,
того, кто так невыносим был рядом,
к нему всегда великодушным быть,
не прикрываясь ложью иль обрядом.
«Любить, как самого себя»... Увы,
мы и себя любить-то не умеем.
Недружелюбие бытовой молвы
холодным в душу заползает змеем...

Да, я б хотела полюбить себя
и душу отогреть в любви несмелой,
с тем, чтоб себя, хоть капельку, любя,
того, кто рядом, полюбить сумела.

ПУЛЬС ИСТОРИИ

Тысячелетьями, а не веками,
Восток и Запад тянутся друг к другу –
туда, где стрелкой, обращённой к Югу,
Израиль вклинен меж материками,
когда-то бывшими единым целым.
Связует он два мира и два моря,
с самой судьбою непрерывно споря,
пульсируя всем невеликим телом.

И не один пророк уже погиб там,
и вечность там сжимается шагренью
с библейских давних пор, когда мигренью
залёг Израиль на виске Египта.
И в сердцевине Иерусалима
сошлись в раздорах языки и веры
в извечных поисках добра и меры.
Но жажда та была неутолима...

ДЕПРЕССИЯ

Опустело... В душе опустело.
Нет желаний. Безмолвная темь.
Наползает косматая тень,
и безвольно ненужное тело.
Ничего для души не осталось.
Пустота, темнота и... конец.
Лишь усталость. Такая усталость,
будто кровь превратилась в свинец.

УВИДЕТЬ РАССВЕТ

Уходит плохое и злое
из памяти прожитых лет,
обида на прошлое нет,
и грустный прощающий свет
тепло освещает былое.

Мы в путь забираем с собою
лишь краткого детства привет,
и мудрости добрый совет,
да вечный духовный завет
храним до сердечного сбоя.

С годами мягчея душою,
мы старый узнаем ответ:
есть счастье, такое простое, –
проснувшись, увидеть рассвет.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

По спокойной воде
тихо лодка плывёт, отражаясь
в обрамленье зелёном
из дремлющих ближних ветвей,

так неспешно плывёт,
незаметно, легко приближаясь

к не намеченной ранее
цели случайной своей.

Ветра нет, и ничто,
и никто не нарушит покоя,
и на глади озёрной
ни ряби, ни плеска волны.

Только мягко шуршит,
опадая, уставшая хвоя,
и с весла осыпаются
капли лесной тишины.

Вадим Фадин

ПЕЙЗАЖ В ОКНЕ НАПРОТИВ

Поехав вечером в чайный магазин, в котором давно уже не бывал, Пётр поразился виду знакомой улицы – неубранной, с тёмными витринами и с чёрным бугристым льдом на тротуарах; была оттепель, и дикие автомобили окатывали зазевавшихся прохожих солёной жижей. Можно было подумать, что вместо центра столицы Петра занесло в глубокое захолустье. Собственно, нового в этом не было, он привык жить в опустившемся городе и уже, словно бы не замечал ничего вокруг, но сейчас понял, что, уехав, наконец, навсегда, не станет тосковать об оставленном – напротив, будет гнать от себя воспоминания о здешней тоске, символом которой вполне может послужить эта бесснежная, чёрная Мясницкая; вообще, ему казалось, что в памяти останется только единственный образ – чернота. В перемены к лучшему больше не верилось, и от повседневной фантазмагии Пётр отдышал лишь вечерами, тем более, что из своих окон видел не городскую застройку, а парк, за старые деревья которого спускалось солнце; колдобины на дороге были неразличимы с его этажа. На подоконнике всегда лежал полевой бинокль, через который он часто смотрел на гуляющих детишек, а то и на девушек, не подозревающих, что за ними наблюдают издали. Пейзаж, однако, менялся, и со временем Пётр незаслуженно лишился своего невинного развлечения: внизу устроили какую-то возню, езду грузовиков и тракторов, размесили грязь, и мало-помалу, загородив и парк, и закаты, вообще – три четверти неба, перед окном поднялась стена бездарного здания.

Дом построили с досадной быстротой, и, скрываясь от нечаянных соглядатаев, Пётр жил теперь за спущенными шторами – не только когда ложился спать или когда приходили женщины, но и, особенно даже, если работал за письменным столом: при этом он не терпел ничьих взглядов. Прежде он, вставая поразмяться, непременно подходил к окну – отвлечься, помечтать, – но эту привычку пришлось оставить, оттого что новая стена, школярски расчерченная на квадраты с квадратными же дырами посередине, вызывала у него стойкое уныние, особенно в тёмное время, после того,

как там дружно сдвигались занавески, за которыми не угадывалось больше никакого движения, так что впору было усомниться, живут ли там люди.

Они там жили, и однажды вечером Пётр, распахнув, при погашенной лампе, раму, увидел перед собою девушку. Свет у неё горел слабый, а расстояние было всё-таки приличным для невооружённого глаза, так что многие мелочи Петру пришлось домыслить, а другие остались неразгаданными, например – странно подвижный зелёный фон за девичьей спиной. Чтобы остаться незамеченным, он отступил в глубину комнаты, тогда как девушка принялась неторопливо снимать с себя одежду, всего-то состоявшую из трёх вещей – майки, джинсов и трусиков; сбросив последнее, она с удовольствием потянулась. Пётр отчаянно жалел, что за ненадобностью давно спрятал куда-то свой бинокль. Он стыдился того, что подглядывает, как мальчишка, но и отворачиваться от ослепительного портрета в интерьере казалось глупостью; впрочем, об интерьере он подумал с некоторою заминкой, заподозрив в общей картине какую-то несуслаицу. Ему немедленно требовалась оптика, и Пётр лихорадочно называл в уме самые невозможные для хранения места, пока вдруг не вскрикнул, вспомнив: галошница! Он стремглав помчался в переднюю – бинокль и в самом деле лежал среди старой обуви.

Мнение Петра о престелях девушки останется при нём, заметим лишь в скобках, что и он – не камень; в то же время его пристрастное отношение к предмету вряд ли повлияло на ход событий. Началось с того, что девушка, боязливо попробовав ногой воду, нашла её достаточно тёплой, хотя мало ещё кто купался об эту пору. Осторожно, не зная, видимо, дна, она пошла вперёд и вдруг, решившись и набрав воздуха, окунулась с головой, подняв брызги – возможно, и поплыла, только теперь Пётр не видел её из-за подоконника. Ему ничего не оставалось как изучить обезлюдивший пейзаж, зачатки которого встревожили его поначалу. Перед ним был крутой заросший берег; против заходящего солнца плохо было смотреть. Но он всё же разглядел сквозь редкую майскую листву добротный рублёный дом на лужайке. Изображение застыло, как на фотографии, и нужно было дожидаться возвращения купальщицы, но солнце село прежде того, и Пётр перестал различать что-либо.

Глядя на тёмные стекла напротив, Пётр потряс головой; как-то непохоже было, чтобы он спал.

– Я-то сетовал, что мне закрыли вид! А тут закат проходит насквозь, – воскликнул он, наконец, но эти слова не отразили его смятения.

Подождав ещё немного в надежде на какие-то изменения, Пётр смирился с тем, что сегодня больше ничего не покажут, и принялся за свои привычные занятия.

Назавтра он проснулся в прекрасном настроении, но и с лёгкою грустью, как и всегда после приятного сновидения, подробности которого начинают ускользать; только увидев брошенный в кресло бинокль, Пётр понял вдруг, что всё, вспоминаемое им сейчас, случилось наяву. Бросив взгляд на противоположный дом, он нашёл нужные окна занавешенными и, усмехнувшись, сказал себе, что вовсе не ждал увидеть никаких знаков на освещённой солнцем стене, что накануне, видимо, перетрудился и чересчур распалил воображение, что такое, как с ним, и со всяким приключается хотя бы раз в жизни и что раз в жизни любая девушка может, раздвываясь, оставить окно открытым.

В конце дня у Петра были гости, и ему пришлось отложить обычную работу и расслабиться. Произошло это без подготовки, просто позвонили два старых друга и почти тотчас появились с бутылками и снедью, и он, подосадовав поначалу на помеху своему распорядку, скоро сказал себе, что и в самом деле устал и только ждал подобной оказии. Накрыв стол не по-холостяцки, а сервировав его, несмотря на возражения друзей, по всем правилам, Пётр сознательно допустил единственное нарушение, поставив под водку не рюмки, а стаканы, в каких подают виски со льдом; наполнив их изрядно, почти до половины, он провозгласил:

– Уравняем интеллекты.

Уравняв, они неторопливо закусили дешёвой колбасой, и один из гостей не удержался от замечания:

– У них там так не пьют.

– Но у них и едят не так, – возразил второй.

– Не хлебом единым...

– Но и одним только хлебом, потому что нам не достать другой пищи. Слава Богу, что хоть как-то полегчало – с духовной.

– Тоска, – сказал первый.

– А там – ностальгия.

– Но что такое ностальгия? – задумался Пётр. – В сущности, это тоска по местам своей молодости, но они недостижимы и здесь, потому что изменяются вместе с тобой.

– Если бы мы были нужны здесь! – с горечью воскликнул первый гость. – А мы тратим жизнь на стояние в очередях. Представь Моцарта, который вместо того, чтобы писать музыку, уже зазвучавшую где-то там, внутри, стоит в хвосте за перловкой! Это не то, что слушать скрипача слепого! А у нас почти всякий таланту нищенствует. Это становится почти профессией.

– Значит, из-за куска сыра? – печально спросил второй. – Спой, светик, не стыдись.

– Налей-ка ещё.

– Темп высоковат, – покачал головой Пётр, всё же наливая. – У них там так не пьют.

– А мы – будем? – спросил один из друзей, а другой одновременно с ним сказал другое: – Вот и давай пить, пока можно. Никто и нигде нас не ждёт. Дружба, знакомства, связи – возможны лишь здесь, и наши честлюбивые мечты и наши блестящие идеи останутся витать никому не заметными флюидами в воздухе, Бог даст, какого-нибудь деревенского погоста под славным осенним дождичком.

– Но и такой погост возможен – не там.

Начавшись в такой минорной тональности, случайная пирушка грозила превратиться в горькую попойку, когда бы сотрапезники исподволь не подвели друг друга к тосту, который с первых минут держали в уме – за отсутствующих дам, – немного просветлившему души. Их потянуло к приятным воспоминаниям и лёгкому хвастовству. Хозяин дома тоже поддался общему настроению, хотя, единственный из трёх, был в последнее время по-настоящему одинок, расставшись с женщиной и не имея пока желания и видимой возможности прибиться к какой-нибудь другой; он ещё находился в своём новом положении больше преимуществ, чем неудобств.

Проводив потом гостей до метро, Пётр с удовольствием вернулся в пустую квартиру, зная, что теперь никто не помешает ему провести остаток вечера по своему усмотрению – на диване, за письменным столом, перед проигрывателем или в ванне. Но, заперев за собою дверь, он вспомнил о вчерашнем, испугался, что опоздал, и, подбежав к окну, рывком откинул штору: перед ним снова был женский портрет на фоне пейзажа.

Пётр, естественно, ожидал, что сюжет если и будет развиваться, то в том же времени, в каком пребывал он сам, и пусть бы оптические эффекты наблюдались сами по себе, но ничего не могло быть проще, чем познакомиться с девушкой, живущей почти окно в окно с ним. То, что он увидел теперь, озадачило: листва в чужой комнате поредела, обозначая смену весны, через сезон, сразу на осень; деревянный дом, к тому же освещённый внутри, стал виден совсем хорошо. Строго и старомодно одетая девушка прохаживалась по берегу невидимой реки, словно барышня в кинофильме из старинной жизни. Окончание купального сезона не огорчило Петра, и без того навидавшегося обнажённой натуры; в мыслях у него было другое: ему хотелось выяснить природу странных живых картин – девушка наверняка помогла бы ему в этом, но он не знал, как сию секунду связаться с ней, ни разу не взглянувшей в его сторону. Спустя минуту её, очевидно, окликнули из дома, и она, глянув туда, а потом, всё-таки, на Петра и кивнув головой так, словно позвала его, поспешила скрыться внутри. В доме её ждала пожилая пара, занятая

укладыванием одежды в кофры и коробки. Окно было достаточно большим для того, чтобы Пётр увидел, как богато обставлена комната, где происходили сборы: он отметил и старинную люстру, и камин с фарфоровыми часами, и китайскую вазу. Девушка остановилась на пороге. Судя по жестикеции действующих лиц, старшие недоумевали, отчего она не участвует в общих хлопотах; девушка слушала молча и вдруг, увидев что-то лишнее в кофре, выхватила это оттуда и, разворачивая свёрток на ходу, унесла в глубины дома. Вернулась она с виноватым видом, но ей не попеняли на поступок и она сама стала доказывать что-то, довольно горячо, то и дело указывая на окно (получалось, что – на Петра), словно не была согласна с общим отъездом. «Не хватало только, – улыбнулся Пётр, – чтобы тут заколотили какого-нибудь Фирса».

Затем действие перенеслось в дальние, недоступные биноклю помещения, а в этом погас свет.

Судя по всему, на следующий день Пётр мог увидеть в загадочном окне снежные сугробы у покинутого дома, и, значит, если он хотел познакомиться с девушкой, это нужно было сделать немедленно. Вычислить номер её квартиры не составляло труда, но он решил не наносить визит, а написать письмо. Тут сразу возникли трудности с обращением: никакие «уважаемые господа» или «леди и джентльмены» не казались ему подходящими для дружеской записки; впрочем, другие строки дались не легче, и рождённое в муках дитя не выглядело красивцем:

«Дорогие соседи!

Прожив долго бок о бок, я не имел чести быть представленным Вам, более того – не ведал о нашем соседстве. Нечаянно мне стало известно о Вашем намерении оставить Ваш чудесный уголок. Я понимаю, что с этим связаны как естественные переживания, так и обычные бытовые трудности. Не сочтите за дерзость предложение участия с моей стороны в обоих случаях, то есть – утешения и физической помощи.

Искренне расположенный к Вам Пётр Евланов».

Столь важное и срочное послание он не смел доверить черепашьей неряшливой почте, а чуть свет сам опустил его в почтовый ящик соседей. Ответ не заставил себя ждать: уже в полдень Пётр держал в руках диковинный конверт с почтовым штемпелем, на котором ничего нельзя было разобрать, кроме даты. Загадав, что если текст будет написан женскою рукой, то из страны они уедут вместе, он достал сложенный втрое листок. Машинописный текст гласил:

«Дорогой Пётр Евланов,

весьма признателен за Вашу горячую готовность помочь в хлопотных и спешных сборах. Тронутый Вашим вниманием, я, вероятно, огорчу Вас

сообщением о том, что не только малейшие приготовления в дорогу закончились накануне, но и машина подана, и в момент чтения Вами этой записки мы будем далеко от Ваших краёв. Искренне сожалею, что нам не довелось встретиться.

Искренне Ваш М. Кронин, эсквайр».

Пётр невольно поднял глаза на окно: не верилось, что за аккуратными шторами скрывается брошенная квартира – никто не уезжает навсегда, оставив дорогие занавеси. Подумав, что они, возможно, поручили кому-то охранять дом, он быстро спустился на улицу, вошёл в уже знакомый подъезд и поднялся в лифте. Перед дверью лежал плетёный коврик – такой тоже никто бы не стал бросать. Пётр нажал кнопку – звонок прозвучал довольно резко, но на него не спешили отзываться. Позвонив ещё несколько раз, он уже собирался уйти восвояси, когда из соседней квартиры вышла немолодая расплывшаяся женщина. Пётр мгновенно обернулся к ней, спрашивая, не здесь ли живут Кронины. Почувствовав, как в ожидании ответа забилось сердце, он удивился себе: что ему до судьбы этой чужой семьи, если квартиру скоро займут новые жильцы, а пейзаж в окне останется прежним? В последнем он, впрочем, не был уверен.

– Давно их не встречала, – ответила женщина.

– Сдаётся, будто они съехали вчера вечером, – подсказал Пётр. – Это правда?

Она покачала головой:

– Я бы заметила. Сами подумайте: эти грузчики, брань, топот. Нет, только не вчера.

Пришлось послать Крониным ещё одно письмо. Теперь Пётр нетерпеливо ждал сумерек. Работа, естественно, не шла на ум; он говорил себе, что дважды виденная издали девушка не интересует его, но понять феномен пейзажа считал своим долгом. Он сейчас дорого бы дал за возможность увидеть странную комнату при дневном свете, но шторы были непроницаемы, и он понимал, что и вечером вряд ли найдётся кому их раздвинуть. «Вот и останется, над чем ломать голову до гробовой доски, – грустно заключил он и, как и ежедневно, проговорил про себя американскую поговорку: – А ведь сегодня первый день твоей оставшейся жизни». Ему неведомо было, где он проведёт её, оставшуюся: отъезд был решён и нужные документы лежали в кармане. Пётр, однако, всё откладывал последний шаг – не из-за тяжести разрыва, а из-за нынешнего труда, который намного быстрее закончил бы там, в зазеркалье, но который мог пригодиться людям только здесь. Не он один испытывал такие затруднения – вот и те друзья, что провели у него прошлый вечер, и они балансировали на пороге, понимая не только то, что дома не ценят их талант, но и то, что в чужой

земле придётся распорядиться последним по-новому – или не распорядиться вовсе.

Вчерашнюю пирушку Пётр вспомнил совсем не случайно: он внезапно так упал духом, что теперь ему казалось, будто лишь её повторение может поправить дело. Колебался он недолго.

– Однава живём, – сказал он по телефону одному из тех двух.

Тот не стал спорить против очевидного.

– Нас уже двое, – сказал вскоре Пётр второму.

За столом Петра подмывало рассказать им о своём несостоявшемся приключении, но он думал, что ему не поверят или, поверив, посмеются над взрослым мужчиной, исподтишка подглядывающим за девочками; он ничем не мог бы подтвердить свой рассказ, оттого что сюжет с отъездом был исчерпан.

– Я сегодня не пью, – предупредил первый.

– Всё ясно: ты – за рулём, – съязвил Пётр. – Управляешь страной.

– Да и я, пожалуй, ограничусь рюмочкой, – поддержал товарища второй гость.

– У нас так не пьют, – не сдавался Пётр.

– Пора переучиваться.

– В чём загвоздка, господа? – спросил Пётр, имея в виду совсем другое.

– Кто нас гонит?

– Кто нас держит?

– Мы там будем чужими.

– Мы и здесь не свои – мыслящие муравьи под стеклянным колпаком у плебея.

– Выпьем за муравейник на свежем воздухе.

– За это выпью и я.

Пётр нарочно не задёргивал свои шторы, но другие, на той стороне проезда, были темны и глухи.

– Как ты поступишь со своим трудом? – спросил первого гостя Пётр.

– Уже поступил, – недобро засмеялся тот. – Закончил ночью – и сжёг утром.

– Боже мой!.. А ты? – почти умоляюще спросил он второго.

– Это будет видно недели через две, когда поставлю точку. Но боюсь, что я окажусь слабее (или разумнее?) и оставлю его в надёжном месте до лучших времён.

– Как и я, быть может, – словно оправдываясь, сказал Пётр. – Всё-таки, на это ушло два года жизни.

Нет, не стоит им рассказывать, – решил теперь он. – Я, видимо, болен: эти ожидания, эти унижительные хлопоты, это одиночество, эти мальчиш-

ники... Надо проверить неоднократно, и я знаю, как... Если только не поздно: поди, сыщи, куда укатил этот «эсквайр».

– Быть может, я сумею вывезти рукописи с собой, – задумчиво проговорил он.

– Простой ты, Петя, – засмеялся первый из друзей. – Простой, как песня.

– Вывези хотя бы голову, – посоветовал второй.

Их мужские посиделки давно уже сводились к проведению времени, оттого что всё важное было уже решено, мелочи обговорены и мосты сожжены. С другими, с теми, кто оставался в несчастливой стране, им постепенно стало неинтересно встречаться, они жили теперь если пока и не в разных мирах, то с разными взглядами на единственный знакомый мир – вплоть до полного непонимания друг друга. У Петра почти не осталось вещей, которые для него что-нибудь значили бы здесь; к числу их, немногих, теперь прибавилось окно напротив.

Окно засветилось и в этот вечер, словно ничего не произошло накануне. Простой глаз по-прежнему различил только крупные цветовые пятна и ясно было одно то, что взгляду открылась не обстановка жилой комнаты, а нечто иное; это могли быть и фотообои на голой стене, и даже изображение с наружной стороны штор. Бинобль же показал безотрадную подробную картину: Пётр разглядел знакомую лужайку, искореженную гусеницами, и груды мусора на месте дома.

Теперь Пётр сделал то, что должен был бы сделать в первый же вечер: несколько раз сфотографировал пейзаж аппаратом с телеобъективом. Когда стемнело и наблюдение стало невозможным, он приступил к проявлению; удивительные результаты этого не были для него неожиданными: на снимках он увидел комнату с низким потолком и дешёвыми обоями, всю мебель которой составлял пустой книжный шкаф в углу; освещалась она сиротливой лампочкой на коротком шнуре. И всё же, разглядывая свои заурядные фотографии, Пётр ощущал чьё-то присутствие в изображённой комнате; казалось, что поддержи он снимки в ванночках подольше, на них непременно проступило бы чьё-нибудь лицо, и он даже знал наверно, чьё – не знакомой уже девушки, а будущего хозяина жилья, обрито-го наголо юноши с безумными глазами.

«Пить надо меньше», – сказал себе Пётр.

Наутро ему вернулось его собственное письмо с пометкой о выбытии адресата, но вовсе без штемпеля. Теперь в истории если и оставалось что-либо существенное, не понятное Петром, так это необходимость сноса крепкого дома; прочие неизвестные – имена и географические названия – больше не имели значения. Тем не менее, ему хотелось оставить себе о ней какую-то память – конечно же, не снимок бесхозной московской комнаты

(скоро и его квартире предстояло стать таким же пустым скворечником).

В этот день окно напротив открылось позже обычного, когда Пётр уже решил было, что его наблюдениям пришёл конец. Бинобль предъявил всё ту же картину разорения, но теперь здесь чувствовалось чьё-то присутствие. Подождав немного, Пётр увидел приближающегося мужчину. Вскоре стало возможным и различить черты: это сам Пётр подходил к развалинам.

Носком сапога он пошевелил обломки – под кусками дерева и штукатурки попадались пустячные уцелевшие предметы: парфюмерные флаконы, рамочка от фотографии, чайное блюдце. Пётр поднял было нателный простой крестик на гайтане и хотел оставить себе, но вспомнил, что носить чужой крест – не к добру: кто знает, какое бремя ты взваливаешь на душу. И тут он увидел то, что искал – перочинный нож. Пётр осмотрел его – нож легко открывался и был хорошо заточен.

Он долго стоял, рассматривая вещичку со всех сторон. Солнце, между тем, стремительно западало.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ КИТЕЖА

Исход из столиц в глухомань (считалось, – к истокам) увлёк в последние месяцы стольких, что мог казаться модой; между тем, сниматься с насиженных мест людей толкала всего лишь та или иная нужда: одни бежали от нищеты, другие – от разбоя, кто – за длинным рублём, а кто – за вольною волей, встречались тут и гонимые, и искавшие признания заслуг либо внимания к своим пророчествам, но большинство – просто хотели стать провинциалами. Об этом Лобунин слышал так часто и много, что когда и его, в отвлечённых рассуждениях тоже находившего вкус в звании, например, китежанина, но всё ж предпочитавшего на деле оставаться столичным жителем, вынудили к отъезду, он уже не счёл чрезмерною эту перемену; между тем, перемены тотчас обнаружились в нем самом, в виде хотя бы новой привычки без надобности, словно от повреждения в уме, называть вслух имена существительные, некими списками, вовсе без сопровождения глаголами: древность, совесть, юродство... Знакомые, видя, что он придаёт этим словам вполне мистическое значение, стали говорить об его изгнании с пренебрежением: шуку, мол, бросают в реку. В действительности, однако, всё было не так просто, и, вступая в незнакомый город, Лобунин растерялся: он ожидал увидеть глушь, но не такую же, тем более, что кое-какие местные виды знал по иллюстрациям и кино;

выйдя на соборную площадь и найдя её непривычно пустою, он нечаянно воскликнул в изумлении: «А где же массовка?»

Первый день на новом месте, как водится, проходить не торопился, и всё же Лобунин, расслабившись после дороги, опоздал с одним важным делом: не получил денег по дорожному чеку; дожив до сумерек, когда всё вокруг замерло в ожидании замечательного здесь явления природы, он от предчувствий и вовсе взвыл в полный голос: «Боже, до чего довела меня любознательность!» – хотя и любознательность была тут ни при чем, и жилище оказалось не хуже, чем он ожидал, представляя собою в меру убогий номер гостиницы «Садко» в том её крыле, что предназначалось не для богатых гостей, а для переселенцев, приглашённых городской управой будто бы для обретения свободы и достоинства, а на самом деле – для пополнения убывающего поголовья. Приезжие, соблазнённые посулами, искали здесь ощутимых вещей; за дивными местными пейзажами не приезжал никто, и если в дальнейшем Лобунин, забывшись, указывал на нечто приятное зрению или слуху, то обыкновенно встречал непонимание и даже отпор. Во флигеле, свысока именуемом прислугою приютом, естественно было бы найти изрядное общество, но Лобунин в первые часы своей новой жизни усомнился в существовании по соседству хотя бы единой живой души – такая стояла неприятная тишина, – отчего впал в настоящую панику, предположив, будто прочие отчаянные и отчаявшиеся люди, чей путь он намеревался повторить, сумели взятками или иными неправдами избежать отправки в это гиблое место, осев теперь в пристойных городах с трамваями, с протекающими в дождик цирками шапито на окраинах, со сплетнями в лавках и даже с ночными уличными происшествиями и оставив его, Лобунина, без надежды на поддержку хотя бы советом или примером. Он живо представил себе долгие будущие дни, когда работа валится из рук, а рядом нет его старого пса, любившего, если хозяин слонялся по дому без дела, усаживать того за письменный стол и самому ложиться рядом, и сырые ночи в полном одиночестве, и вечера – в общении с туземцами (те, известно, были молчаливы, как рыбы, и Лобунин думал, что нескоро научится понимать их подводное молчание, а тем паче молчать сам), а представив это – взвыл.

Тем не менее, объявиться сейчас незнакомцу, пусть и товарищу по несчастью, было бы некстати: брошенному нет проку от брошенных; если Лобунину и нужно было что-то от других, так только объяснения, куда и как можно здесь податься, чтобы развеять тоску. Упустив время до появления воды, когда еще был открыт подъезд, он уже не мог пе-

рейти в главный корпус, где давеча, получая у портье ключи, заметил стопку проспектов «Ночная жизнь Китежа», но глупо постеснялся взять себе один. Без советов путеводителя нелегко было бы придумать развлечение, кроме, пожалуй, простейшего: выглянув в окно, Лобунин увидел стайку прехорошеньких русалок, направлявшихся ко входу в гостиницу; он еще успел бы постучать в стекло. Впрочем, ему пока был недоступен и этот способ: оставшись без денег, он мог бы расплатиться с русалкой разве что чулками, неведомо как оказавшимися в его чемодане. Теперь уже посмеиваясь, он подумал, что вот – случай завывать снова, только что толку – без отклика; на людях же он постеснялся бы и, значит, опять выходило всё то же: лишь собственная собака поняла бы его, начав не подпевать вторым голосом, но – утешать.

Уже безо всякой иронии, а серьёзно, Лобунин попытался представить себе, как пёс отнёсся бы к русалкам: мог и не принять за людей. Он и сам считал их созданиями пусть и не богомерзкими, но явленными на свет помимо Божией воли; сущая ныне живность вышла некогда из ковчега, где находилось от всякой плоти по паре, но этим, здешним, как раз пар и не хватало. Возможно, их предки вовсе не поднимались на борт, а просто плыли за судном, либо их прародительницу сбросили с палубы за понятную провинность и она спаслась, попав в рыбью семью, – так с печалью подумал Лобунин; с печалью – оттого что снова вспомнил о собаке, словно бы сброшенной им со спасательной шлюпки, проходящей из-за тесноты на подводную лодку, но в конце концов уткнувшейся в берег, где хватило бы места для тысяч пар.

Со псом всё было непросто: не будь его, не пришлось бы убегать и Лобунину. Началось с жестокого отстрела в городе собак – не только бродячих; мало кого удивляло то, что иной раз следом пропадали их хозяева. Некоторое время Лобунин еще поиграл с властями в казаки-разбойники, но скоро неравная игра стала слишком опасной: всё чаще неприятности стали приключаться даже с теми собачниками, которые избавились от своих питомцев: их находили то ли по загодя составленным спискам, то ли по доносам. Ему пришлось скрыться, оставив собаку добрым людям в деревне, куда еще не докатилась новая волна.

Пса он так и звал – Пёс, вопреки записанной в паспорте вычурной кличке; для него это и впрямь была собака с большой буквы, собрание всех собачьих и лучших человеческих черт – существо, с которым можно говорить по душам. Лобунин заранее рассказал ему об отъезде, ничего не

утаив, – и тот, поняв и простив всё, стал увлекать хозяина на прогулки в места, связанные со своей молодостью, а позже по разным причинам оставленные вниманием: приходил туда и, огромный зверь, сидел в задумчивости, наблюдая и вспоминая – прощаясь навсегда.

Выйдя на площадку и свесившись над пролётом, Лобунин крикнул: «Есть кто-нибудь живой?» – и эхо, бесполезно обойдя этажи, возвестило о безлюдье; это был редкий случай, когда он пожалел об отсутствии соглядатаев. Публику, вероятно, можно было бы найти лишь в вестибюле отеля, и Лобунин решил попасть туда во что бы то ни стало; всё, что пришло ему в голову, это испробовать пути через чердак и подвал. Без особой надежды спустившись по лестнице, он, к своему удивлению, нашёл вход в подземелье открытым и, опытный человек, усмотрел в этом неладное. Прежде чем войти, следовало подумать, как выйти: не ровен час, дверь захлопнулась бы или кто-нибудь запер бы её нарочно, а там и вода могла хлынуть с улицы в нечаянно разбитое им самим стекло под потолком – и, пошарив по карманам, Лобунин соорудил, что сумел, из скрепки и спичек.

Подвал, как и подобает, представлял собою анфиладу скучных помещений, служивших складами, раздевалками и мастерскими; пройдя их несколько, Лобунин попал в комнату, обставленную, словно дачная закусочная, дрянными пластиковыми столами с грязной посудой на них. Здесь его задержала, как задержала бы и почти всякого русского человека, находка едва початой бутылки – предмета, в его положении и состоянии необходимого. Его подмывало поспешить с добычей к себе, но он не смел унести чужое; с другой стороны, искать владельца не имело смысла – бутылка могла стоять здесь не первый день – и, собравшись двигаться дальше и уже нацелившись на боковую дверь, ведущую, по его вычислениям, в центральный подъезд, он сделал добрый глоток. Выпитое отдавало самоном и мёдом, и он зауважал местных винокуров.

За дверью оказалась короткая лестница, выведшая его в ярко освещённый коридор, застеленный мягкой ковровой дорожкой и заканчивающийся справа зашторенным окном, а противоположным концом впадающий в вестибюль, куда и направился Лобунин, довольный тем, что шаги стали не слышны. Тотчас ему попала стеклянная стена бара, но за нею было темно и пусто; пусто оказалось и в вестибюле, куда Лобунин предвзительно изучив его в удачно повешенном зеркале, вышел с величайшей осторожностью, чтобы не попасться на глаза портье; но и того не было на месте, а на шкафчике с ключами и стеклянной витрине с вожделенными

проспектами висели замки. Необычная тишина стояла в доме, и только откуда-то из дальнего угла доносились вялые голоса; там, в углу, нашлась винтовая лестница вниз, на круглую площадку, вместившую крохотное кафе: стойку и два треугольных столика, за которыми расположилась давешняя девичья стайка. Девушки были невеселы, и беседа их то ли угасала, то ли никак не могла начаться. Спустившись было на несколько ступенек, Лобунин вспомнил о деньгах, вернее – об их отсутствии. «Так оно и лучше, – утешил себя он. – Утро вечера мудренее.»

Крадучись, он вернулся в подвал, где первым делом снова приложился к знакомой бутылке. За этим его и застала появившаяся на пороге девушка в лиловом платье до полу, тонкая ткань которого в полутьме выглядела мелкой кольчужой. Лобунин решил, что она подглядывала.

– Ваше здоровье, – нашёлся он.

– Э, да тут осталось, – удивилась она. – А я несу еще.

– Не пропадёт, – нахально заверил смущённый Лобунин, косясь на новую этикетку и думая, что удачно выбрал время для своей вылазки. – Я без спросу отпил, простите. Без этого не обойтись было: настроение, прямо скажем... Хоть вешайся... Впрочем, у вас, видимо – топятся. Завтра получу по чеку и отдам.

– А, пустяки. Нам продают со скидкой.

– И вы в одиночестве попиваете. Занятно.

– Денег же вы, может случиться, не получите и завтра. Знаете ведь, как это бывает в банках: то ревизия, то бандиты. Да что вы так смотрите? Я шучу, шучу. В крайнем случае вам дадут талоны на еду, а их и в баре принимают, и девушке можно заплатить.

– Спасибо, что просветили.

– Ваше счастье, что напали на меня: из других тут слова и клещами не вытянешь.

Взяв с незамеченной им полки стопку бумажных стаканов, она налила Лобунину:

– Выпейте, не то у вас такой вид, будто вы замёрзли или обижены и вот-вот зарычите. Да постойте, у вас ведь собака была, правда? Мне такие вещи видны. Была ведь?

– Какое там... – почуяв подвох, махнул он рукой.

– Что ж, вы правы, жизнь здесь подлая, и лучше поменьше рассказывать о себе: всё будет обращено во вред.

Ему вдруг совершенно ясно представились библейские глаза Пса, смотревшие с укоризной; Лобунин подумал, что перед человеком чувствовал

бы свою вину не так остро. Привыкнув говорить (обычные в таких случаях слова), что потратил на воспитание Пса часть собственной души, Лобунин всерьёз полагал, что тот в самом деле был как раз этой самой родимой частью, только живущей опричь. Разделённые, они должны были погибнуть – понятно, кто раньше, оттого что собачий век недолог, – и только сейчас, возбуждённый выпитой медовухой, Лобунин, прежде, как и любой нормальный человек, отгонявший мысли о смерти, вдруг сообразил, что должен бы, напротив, просить её приближения, потому что первым, встретившим его на небесах, будет Пёс.

– Мне бояться нечего, – ответил он девушке, – тем более – сплетен в чужом городе. Всё, что можно было, я уже напортил себе сам – и не здесь.

– Вам нужны лишние неприятности? Да и вылазка в подвал... Не вы первый находите эту дорогу. Лучше не рискуйте напрасно, а забирайте обе бутылки и возвращайтесь домой.

– Домой! Впрочем, окрестность меняет цвет в зависимости от количества выпитого. А местное зелье и само окрашено прелюбопытно – наверняка врачует раны, утешает в скорби, молодит и предохраняет от сглаза, не так ли? Но я-то искал другого: хотел приобщиться к здешней ночной жизни. Жаль, не взял буклет – целая стопка лежала на стойке: надо же хотя бы по картинкам представить себе ваши злачные места: казино в аквариумах, фантастические подводные бордели...

– Вы нас переоцениваете: воображения местных жителей достало лишь на устройство ночной бани. В десять часов город уже спит, чтобы не видеть воды.

– А у нас в эту пору только жизнь начинается, – с тоскою вспомнил Лобунин, не веря, что и сам когда-нибудь примет здешний распорядок дня. – Кто идёт к женщине, кто – на большую дорогу, а кто – просто посидеть с друзьями. С друзьями – это чтобы не пить, как вы, в одиночку.

– Здесь выбора нет, так что ступайте, ступайте. Это всё же казённое помещение. Ничего хорошего вы тут не высидите.

Уязвлённый, Лобунин подумал, что мысль о месте встречи со своей собакой пришла ему в голову неспроста, и следует приготовиться ко всякому; но он слабо верил в такую скорость развития событий, чтобы ему в один приём перенестись на небеса – да ещё и неизвестно, на небеса ли.

– Хорошо, – наконец согласился он, с неохотой поднимаясь и прикидывая, нельзя ли попросить девушку обслужить его в кредит. – Чтобы подвести черту, не стоило из одного опустившегося города бежать в другой. Здесь, вижу, всё идёт, как у нас, а мы-то в простоте своей представляли, будто местные жители едва ли не ходят вниз головой, как в Австралии.

– Главное, пережить первую ночь.

Но именно она и страшила Лобунина, вообразившего, будто забежал слишком далеко на север и ночь протянется полгода; с другой стороны, все эти долгие шесть месяцев он был бы в безопасности.

– Первая ночь – это звучит...

– Сейчас светает рано, – сказала девушка, откидываясь на спинку стула и так вильнув при этом всем телом, что Лобунин на секунду усомнился в назначении её лиловой чешуйки. – Вы понимаете, что я имею в виду? И всё равно, ни одна собака вас не найдёт.

«В том-то и беда, – едва не сказал вслух Лобунин. – Он же маленький и не может без меня. Однако нужно взять себя в руки: еще немного, и я стал бы исповедоваться перед проституткой».

Он снова, назло ей, уселся – на край стола. В этот момент погас свет.

– Посидите спокойно, – вздохнув, велела она, угадав его намерения, – не то поколотите чашки.

Слышно было, как она шарит на полке. Потом чиркнула спичка.

– Это часто бывает, – объяснила она, ставя на стол свечу. – Отсыревают провода.

– Как бы тут не заплесневеть. Да, послушайте, а как же колокола? Их что, совсем не слышать в окрестности? Из-под воды?

– Говорю же, светает рано, – уже не скрывая раздражения, ответила она. – Вы прямо как младенец. И деньги вам дадут завтра, а не через полгода.

– Да причём тут... – раздражился и он. – Мне другое интересно: вечером-то, вечером случается, наверно, что народ не успевает разойтись из церкви? Так и молятся до утра? И людям ни поспать, ни присесть, и Господь обманывается их рвением?

– Вовсе даже и не Он может услышать молитву: никогда не знаешь, кто стоит рядом.

– И верно, мне боязно было бы молиться здесь... на людях.

«На русалках», – едва не сказал он.

– Вот и мне с ними совсем непросто, – согласилась девушка, испытующе глядя в глаза Лобунину. – Возьмите-ка вторую свечку.

Зыбкий огонёк в его руке не мог осветить углы, где теперь мерещилось самое неожиданное, и обратная дорога показалась Лобунину такой долгой, что он подумал, не заблудился ли. «Это тебе не крестный ход на Пасху», – сказал он себе, понимая, что никогда больше не пройдёт в пол-

ночь вокруг храма – если только безрассудно не вернётся к своему другу, возможно, еще не поверившему в предательство хозяина; он уже не видел разницы в итоге – медленно пропадать поодиночке или неизбежно и самым странным образом скоро сгинуть вместе.

Комната приюта показалась Лобунину вполне уютной при свете свечи; тут в углах тоже скрывалось неожиданное, но такое, что живёт близ любого домашнего очага, не давая обитателям почувствовать себя одиноками. Глядя на живой огонёк, Лобунин не понимал человека, придумавшего электричество.

Ульяна Шереметьева

* * *

Берлин в дожде, встречает хмуро,
вчера так диктор предрекла,
и выглядит вполне понуро
дуэт бетона и стекла.

Он врезан крепким силуэтом
в круг европейского двора,
а дождь всегда сродни поэтам,
чья суть на кончике пера.

Взорвались улицы зонтами,
и в отражениях витрин
размывка серого над нами
сгущается в ультрамарин.

Что ж, очертаний чёткость пряча,
Берлин загадочней вот так...

а я врастаю в шелест плача,
шагами вымеряя такт.

Всё исчезает – даты, сроки...

благословеньем этих дней
мне небеса даруют строки
на тонких ниточках дождей.

Вокзал. Здесь ритмов речь острее,
платформы высвечен трамплин,
но я беру с собой трофеем
весь этот сумеречный сплин...

* * *

Голубые стрекозы! Ну, как же без них?
Лето было б неполным, в себя не вобрав
мельтешения их на просторах сквозных,
здравый смысл муравьиный поправ...

Шелест крыльев тончайших в прожилках судьбы,
да очкастые мордочки-маски...
О, какая изысканность у худобы,
привнесённая, верно, из сказки.

Посмотреть бы на мир сквозь слюду этих крыл,
или дивных стрекоз тех глазами...
Каждый много б, наверно, внезапно открыл,
и следящего в выси за нами...
И кружатся стрекозы – штрихи бирюзы,
и мечтой освящают пространство,
то хандру прочеркнув, то угрозы грозы,
заодно – кандалы постоянства...

* * *

Сколько раз вымеряла я город шагами,
что стежками, сшивая кварталов куски,
и сканировал ветер фасадов мазки,
пробегая вдоль них, как в заученной гамме.
И лоскутные парки меня узнавали,
шевелия шевелюрами старых деревьев,
и сатиры ловили в них мраморных дев,
и уставшие боги привычно дремали.

И неважно, дежурил апрель или август,
в неизбывном желании чуда глотка,
я иллюзий билет покупала с лотка
и садилась в трамвай, полагая, – на Арго...

* * *

День вымок, словно лист афиши,
и, скомкан ветром, сорван прочь.
Вот вечера сомкнулась ниша,
в которую вползает ночь,
и дождь, чернилами по окнам
стекая, жалуется мне...
и сердце полотенцем мокнет,
вбирая скорбь его извне,

и болью набухают вены,
и чей-то голос у виска,
как здравомыслию измена,
свисает каплей с волоска...

СИНИЙ РИСУНОК

Карандаш, как птица над листом,
то взмывает, то опять садится,
то в пространство врежется винтом,
брызги оставляя на странице.
Синих линий натиск, а не вязь,
с паузами воздуха для вздоха...
карандаш штрихует не боясь,
без оглядки – здорово ли, плохо...

Неодушевлённости барьер
им преодолен в пылу борений,
миновав пределы полумер,
обретя инакость измерений.
И сейчас, колдуя над листом,
где простора синего сюита,
не жалеет, думаю, о том,
что короче стал, что кожа сбита...

* * *

Снова август,... и спелые звёзды,
тяжелея, срываются вниз –
в пожелтевшие травы и в гнёзда,
зацепившись порой за карниз.
Подбежишь, чтоб в ладони взять чудо –
да его не найти просто так...

только слышишь листвы пересуды,
вдруг наткнувшись на медный пятак...

И недаром проснуться попозже
хочет утро, чтоб сон всё списал...

но мурашки, чтоб бегать по коже,
ждут от августа новый сигнал.
День, стараясь казаться беспечным,
надевает цветастый наряд,
тишиной, замирая пред вечным,
дарит вечер стихов звукояд,
и лишь ночь, Бог для тайн её создал,
исполняет его же каприз –
и срываются спелые звёзды,
и, как яблоки, падают вниз.

* * *

Хрестоматийная хандра,
привычная, как чашка чая...
с постели, будто бы с одра,
встаёшь и, дней не различая,
идёшь по кругу, по кривой,
по кем-то заданной спирали,
по некой стрелке часовой,
а, если против, чтоб вначале
вдруг оказаться – так нельзя,
жизнь против правил, что удавка,
с ней в поддавки б, слегка скользя
по склонам, да тщедушный Кафка
так и не смог, и сонм иных,
не породнившихся с их ролью,
оставив в пепле запятых
свой спор со временем, с юдолью.

* * *

Признак осени – кашель и шарф,
им повязана, как вдохновением,
вот и площадь – адажио арф
обнимает дождя откровением,
сыплет жёлуди сиплый октябрь,
чёрных галок саднит многоточие,
ком поднялся до уровня жабр,
оцарапав гортань, кровоточит ли?

Город впишет меня в толчею
пешеходов, по типу движения,
отчуждённо немую, ничью,
с правотой своего заблуждения,
с ассорти чистоты и греха
в амплитуде чужого суждения...
Погружаясь в простуду стиха,
продолжаю своё восхождение.

* * *

«Держу пари, что я ещё не умер»
О. Э. Мандельштам

А я держу пари сама с собою,
что навещу Париж, хоть мне судьбою
в нём не дано прожить, не вышла карта...
ищу приметы нить стопам Монмартра...
Возможно, встречусь там, в кафешке старой,
где полумрак и гам вдыхаем с паром,
у столика (его б на слом), за чашкой с грогом –
с рыжеволосым чудаком в пальто – с Ван Гогом.
Он, взгляда не переводя, заметит хмуро:
– Давно как не работал я, как будто умер.

ДОРОЖНОЕ

Суть дороги – движение, изменения акт,
поездам не скольжение важно – скорость и такт
И колёса стараются, отбивая свой ритм,
в их пробеге срастаются расстояния, рифм
наваждение летучее заполняет вагон –
вон исчезли за тучами и вокзал, и перрон,
всё задвигалось, ожило, обрело голоса,
растворились расхожие истины, а чудеса
воплотились в реальности измерений иных,
обращая банальности вдруг в сложившийся стих.

Чемоданов упитанных лёгкий слышится скрип,
и газет непрочитанных шелест явно охрип,
предлагая сенсации за единственный – ах!
сумасшедшей акации мне б охапку в руках!
В смуте сумерек маятся взгляд, фиксируя факт –
плащ взлететь мой пытается, пружкой звякая в такт,
и сапожки всё топчутся возле двери – заслон,
спать пока что не хочется, сон свернулся в рулон,
мелкой дробью отточенной подстаканник стучит,
и в плену многоточия лишь подушка молчит...

* * *

Чудаковатая зима, почти без снега,
её дворцы не изо льда, скорей, из Lego.
А я метели так ждала и хлопьев белых!
Но только стайка их простых да оробелых
чуть покружила, и опять всё стало серым...
Вот спичка вспыхнула в руке, запахло серой,
и загорелся фитилёк, надев корону,
фонарь чуть высветил в окне и вяза крону,
и детства берег вдалеке, в степи горячей,
и путь, который я прошла, как бы незрячей...

Александра Лебедева

«Сделано в ГДР»

(Рассказы очевидца)

ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ

Мы сидели в кафе. Петер рассказывал о городе, который в течение почти тридцати лет дважды менял свою геополитическую принадлежность, – о том времени, когда Берлин был разделён стеной на два государства. Петер родился в берлинском районе Моабит, где и живёт до сих пор. А бабушка его жила в Лихтенберге, другом районе Берлина, и оказалась неожиданно и в другой стране – в ГДР. С 1961 года как раз по её пятиэтажному дому прошла граница. И если бабушка оказалась в ГДР, то её подруга из соседнего подъезда – в ФРГ, не говоря о внуке в Моабите. И вот через 28 лет, никуда не выезжая (бабушка до сегодняшнего дня продолжала жить в Берлине всё в том же пятиэтажном доме), она вдруг вновь оказалась в другой стране – в единой Германии.

– Слушай, Петер, – перебила я его, – давай как-нибудь съездим в Марцан-Лихтенберг. Там есть замечательный «Китайский парк». Ты был там?

– Да нет! – Сказал Петер, – Не любитель я ездить в те места. Много связано неприятных и, порой до смешного, нелепых историй.

– В начале 70-ых у нас, жителей западного Берлина, появилась возможность посещать ГДР, после политического потепления отношений между янки и Союзом. В 1972 г. правительства обеих Германий подписали знаменитое тогда «Транзитное соглашение», разрешающее поездки гражданам ФРГ в ГДР. Нам с 1961 года практически нельзя было попасть на территорию соседней Германии. Только по срочным семейным делам – например, на похороны родственников, и то только при наличии приглашения, подтверждения родственных связей, и оформления кучи других бумаг. А для восточников, жителей ГДР, было ещё сложнее пересечь границу. Каждое разрешение на выезд рассматривалось на партийных собраниях по месту работы, а потом Штази ещё проверяли и кандидата на выезд, и всех родственников. Да люди боялись и говорили, что кто-то у них на западе живёт.

И с работы могли выгнать! После всех этих мучительных оформлений приглашающие родственники должны были встретить тебя на границе и нести в дальнейшем ответственность за твоё пребывание.

На контрольно-пропускных пунктах пограничники в серых мундирах с котелками-касками на голове, мы их крысами называли, куда-то надолго уносили паспорта и визы, что приводило к многокилометровым пробкам на дорогах. Люди в ожидании своей очереди часами ждали в машинах или сидели на газонах. Поэтому иногда пользовались самолётом, так спокойней, но выходило намного дороже. Делалось всё, чтобы отбить у людей желание приближаться к границе!

Многие, после возведения стены, искали свои способы преодолеть нейтральную полосу, и бежать на запад - перелезали через стену, переплывали каналы с аквалангом, ходили по канату от дома к дому, делали подкопы, перелетали на воздушном шаре. Многие погибли. По документам около ста человек и все моложе 30 лет... Но сколько неучтённых, слышал, что более 200!

Как-то раз, решил я с семьёй – с женой и дочкой – прогуляться по восточному Берлину. Транзитные визы у нас были, да и задерживаться мы не собирались, просто прокатиться по городу и показать дочке, где живёт её бабушка. Переехали мы пропускной пункт Check Point Charlie, нам отметили в паспортах въезд в страну и там же обменяли наши марки на восточные. Жена моя с дочкой побежали на Фридрихштрассе по магазинам, а я пошел гулять.

На газоне важно прогуливались голуби. Даже они были какие-то другие – маленькие, стального цвета, с жёлтыми глазками и посматривали на прохожих так, что мне захотелось их побыстрее обойти. На соседней улице увидел вывеску «Оформление виз для заграницы», зашёл полюбопытствовать, приобрёл карту восточного Берлина и ещё, как сувенир, визы на целый сегодняшний день, за каждую заплатил 20 марок.

На углу Кохштрассе встретил жену с дочкой, взял сумки и рассказал о своей прогулке, о новых визах – разрешение на целый день пребывания в Восточной зоне. Лучше бы я ей этого не говорил!

Кэтрин решила заехать ещё в пару магазинов и по дороге навестить свою тётку. В «Интершопе», где не было очередей, купили колу, шнапс и жвачки племянникам. Тётя с семьёй приняли нас хорошо. К вечеру собрались обратно, т.к. наше время пребывания в ГДР заканчивалось, да и дочка стала капризничать, похоже, заболела. По дороге к границе, жена оживлённо рассказывала, что она приобрела в магазинах, и с восторгом показала мне детские колготки в розовый цветочек.

– Милый, ты посмотри, какое качество и так дёшево! У нас такие обойдутся много дороже! – восклицала она.

Увидев их, я занервничал:

– Ты что, декларацию не читала? Детские новые вещи запрещено вывозить! Выброси их!

Но жена упёрлась и ни в какую:

– Петер, ты что? И не подумаю! Я такие давно мечтала дочке купить!

– Ну, тогда, хотя бы, запихни их поглубже в сумку, – раздражённо ответил я.

– Мы уже подъезжали к контрольному пункту. Дочь чувствовала себя всё хуже, поднялась температура. Мы с нетерпением ждали, когда подойдут к нашей машине и поскорее пропустят в Моабит, где сидели родители в ожидании рассказа о посещении восточного Берлина. Приготовил документы. Время тянулось долго. Пограничники тщательно проверяли каждую машину. Подошли и к нам:

– Что везёте? В каком количестве? И как долго были на территории ГДР?

Я ответил, что с декларацией мы ознакомлены и везём только дозволенные вещи. Протянул наши паспорта, транзитные визы и, на всякий случай, новые визы на целый день. Пограничник поднял брови, вызвал офицера и приказал нам выйти из машины:

– Почему у вас по две визы? И зачем вы их купили, если уже было разрешение на въезд?

Приказал освободить багажник и открыть все сумки. Меня прошиб холодный пот.

– Господин офицер, я купил эти дневные визы на всякий случай, мало ли задержимся. Да и просто, как сувенир – на память о вашей стране, – доброджелательно вымолвил я.

– Понятно. Вам воспоминания нужны? Так получите незабываемые! – С каменным лицом ответил тот, вытаскивая со дна сумки детские колготки в розовый цветочек.

– А это что такое? Тоже дозволено? Да ещё и с этикеткой! Тоже на память?

Наш старенький «Opel» стоял уже на обочине дороги. Мы вели долгую нудную беседу и выслушивали одни и те же вопросы, почему мы нарушаем правила демократической страны и пытаемся провезти запрещённый товар. И что он нас не пропустит, пока мы не отвезём эти колготки обратно в магазин и не предъявим ему потом чек-квитанцию о сдаче товара.

Темнело, срок действия дневной визы подходил к концу. Я пытался убедить пограничника, что рад вернуть колготки, деньги мне возвращать не надо, что в машине больной ребёнок с высокой температурой и нужен срочно врач. Закончилось это препирательство тем, что я со злостью, швырнул колготки на газон:

– Эти колготки останутся в вашей стране! Мне они не нужны!

Офицер невозмутимо поднял их, отряхнул и вручил мне обратно, приказав отвезти в тот детский магазин, где мы их приобрели и стал тыкать пальцем в параграфы закона, говоря, что не имеет права забирать товар без оформления декларации и, тем более, выкидывать товар, произведённый в демократической стране. А если мы отказываемся подчиниться, то придётся пройти и составить акт о нарушении провоза товара, а также недостойного поведения – хулиганства на границе. После чего дорога в ГДР будет нам закрыта!

Дочери становилось всё хуже, время поджимало, сдать колготки мы уже не успевали, все магазины были давно закрыты. Жена со слезами упрасивала пограничника вызвать врача или как можно скорее нас пропустить. В километре от границы была приёмная нашего семейного доктора, и там же рядом находилась городская больница. Медицинской страховки в ГДР у нас не было, а без неё гражданам ФРГ срочную помощь вряд ли бы оказали. А за задержку – могли оформить нарушение визового режима по всем параграфам!

Время тянулось бесконечно долго, а мы оставались на месте, в чужой стране и буквально в метрах от своей. Офицер с нашими документами был на пропускном пункте и долго разговаривал по телефону. Я, глядя на его серую спину, вспоминал недавний случай, происшедший с моим тёзкой и личностью, известной тогда многим – Петером Фехтером. Ему – жителю ГДР – было тогда всего 24 года, когда при попытке бегства из ГДР на этом самом контрольном пункте, пограничники открыли по нему огонь. Тяжелораненого Петера оставили лежать на тротуаре и вовремя не оказали медицинскую помощь. Не успели или не захотели. Он умер от потери крови... Что уж тут говорить о нас – западниках.

Резкий стук в лобовое стекло машины вернул меня к действительности. Офицер вручил нам паспорта и детские колготки в розовый цветочек. Напомнил ещё раз, что Демократическая Республика Германии – гуманное государство и, из-за беспокойства о здоровье ребёнка, вам разрешено пересечь границу и вернуться в свою страну. Он приложил руку к фуражке и пожелал счастливого пути.

Я нажал на газ, и машина вылетела с Check Point Charli. Жена тихо сидела рядом и жалобно смотрела на меня. Дочь лежала на заднем сиденье и плакала. На повороте дороги, я открыл окно и с яростью выкинул эту злополучную покупку в кусты. Детские колготки в розовый цветочек повисли на ветке и красная этикетка с крупной надписью «Сделано в ГДР», как флажок, развевалась на ветру.

МОРОЖЕНОЕ

В начале 80-х мне приходилось часто по работе, имея транзитную визу, пересекать восточную Германию. По сравнению с семидесятыми годами отношения между двумя странами немного улучшились, но контроль оставался строгий с обеих сторон. В западном Берлине документы проверяли американцы и их союзники французы и англичане. Следили они и за своими солдатами, чтобы те не нарушали четырёхсторонних соглашений – не переходили границу, не вступали в контакт с жителями восточной Германии.

Молодые нарядные восточные девушки кучками собирались невдалеке от контрольно-пропускных пунктов и издали поглядывали на темнокожих французских солдат. Махали косынками, громко смеялись, привлекая к себе внимание, а когда появлялся патруль, – убегали.

При пересечении Check Point Charlie обычно начинались приключения, и чаще всего неприятные. Весь путь до следующего контрольно-пропускного пункта я находился в напряжении. За движением по транзитным трассам велось круглосуточное наблюдение многочисленными спецслужбами и подразделениями Штази. В их задачу входила регистрация и преследование «происшествий» на дорогах с участием западников – «классовых врагов». Следили и за нашими контактами по пути следования на территории ГДР. Транспортно-контрольная группа «Транзит» действовала совместно со Штази и Народной полицией ГДР. Службы располагали «мобильными наблюдательными опорными пунктами» по всей протяжённости автобанов. Им помогала и армия стукачей, «неофициальных сотрудников», которые за двойную зарплату трудились на парковках и на автозаправках для западников, а также в ресторанах и в спецмагазинах «Интершоп». Да и местные жители, из прилегавших к автобану деревень и городков, обязаны были следить за возможными отклонениями машин с западными номерами от маршрута и тотчас сообщать, куда следует. Были и отели, и кемпинги, но туда лучше было и не соваться. Все бы перерыли от документов до нижнего белья. Я старался как можно быстрее проехать – пролететь эту территорию и нигде не задерживаться. Только следил за скоростью – не больше 100 км/час. Штрафы тоже брали в западной валюте. А если задерживали, то, считай, день пропал!

Но однажды мне все-таки пришлось остановиться. Лето тогда выдалось очень жарким. Трава вдоль автобана пожухла и пожелтела. Летел тополиный пух и прилипал на лобовое стекло моего нового мерседеса. В салоне машины от духоты, находиться было невозможно, и я решил перекурить на ближайшей парковке. Единственное, что меня радовало в этой стране, что,

как и у нас, на спецстоянках не было очередей. Гэдээровским водителям строго запрещалось здесь останавливаться. И по дороге всё можно было купить на наши марки без очередей очень быстро. Мне надо было уладить дела и к вечеру успеть пересечь границу на Check Point Charlie.

Очень хотелось пить. Я зашёл в небольшой павильон «Интершоп». Очереди не было. Только молодая женщина с девочкой. Я достал из холодильника бутылку кока-колы и встал за ними. Девочка выбирала мороженое, а её мама, порывшись в кошельке, достала две западные марки.

– Что ещё? – Спросила продавщица.

– Спасибо, больше ничего, – ответила молодая женщина, пропустила меня вперёд и с улыбкой проговорила, – какая сегодня жара! Мы приехали на велосипедах сюда специально, хочу угостить дочку вкусным мороженым. Она хорошо закончила первый класс, и я обещала купить ей мороженое в «Интершопе». Тут такие красивые яркие упаковки с фигурками Микки Мауса, Даффи Дака – как в американских мультфильмах! Нам по телевизору раз в неделю по пятнадцать минут показывают...

– Аусвайс, – громко потребовала продавщица.

– Ой, я свой аусвайс дома оставила, мы с озера едем, просто по дороге заехали!

– Вот дальше и езжайте, куда ехали! Без аусвайса не отпущу! На двери объявление висит для таких, как вы! «Отпуск товара на западные марки только по предъявлению аусвайса или гражданам ФРГ». Не задерживайте!

– Я стоял с бутылкой колы и терпеливо ждал, хотя времени у меня уже не оставалось. В магазине было так же душно, как и на улице. Полная продавщица платком вытирала потное покрасневшее лицо. Черные крашенные волосы растрепались из-под блестящей красной косынки:

– Ну, сколько можно объяснять!

Девочка не выпускала мороженое с рисунком Даффи Дака из рук и еле сдерживала слёзы.

– Ну, поймите, пожалуйста, – не унималась её мама, – пожалейте ребёнка! У дочки сегодня праздник. Эту мелочь—две западные марки - мне знакомые подарили. Да мне они вообще не нужны и сдачи не надо! Если бы я знала, конечно бы, с паспортом пришла!

– Мне что, полицию вызвать? – Уже кричала продавщица в блестящей косынке, выскакивая из-за прилавка, – вам и на эту спецтерриторию заходить без аусвайса нельзя, не то что покупать! Положите мороженое и отойдите в сторону!

Девочка, плача, потащила маму за руку на улицу.

Продавщица повернулась ко мне покрасневшим лицом и почти ласковым тоном спросила:

– Что вам угодно? Только колу или ещё что ни будь?

– Да, – доставая свой толстый кожаный бумажник, ответил я, – и вот это мороженое!

Продавщица пробила кока-колу, а мороженое отложила в сторону, сказав, что его она не продаст, потому что уверена, что это мороженое не для меня, а для этой нарушительницы закона!

Я стоял, ошавевший, не зная, что на это ответить, но старался быть вежливым и держать себя в руках. Хотя во мне давно уже всё кипело от жары, от жажды и гнева!

– Послушайте, конечно, это для меня. И я плачу вам, извините, моими марками. Может, вам и аусвайс, как на границе, показать? Или вы не видите номер моей машины?

– Нет, этот товар я вам не продам! – И с грохотом захлопнула кассу.

Я вышел на улицу. В тени под деревом молодая женщина успокаивала дочку. На жухлой траве лежали велосипеды. Я молча протянул девочке бутылку колы, погладил её по голове и пошёл к стоявшей на солнцепёке машине.

В ближайшем городке в продовольственном магазине, отстояв длинную очередь, на восточные марки купил бутылку лимонада с большой этикеткой «Сделано в ГДР».

Борис Рохлин

МОЯ ШАЛИ

Сижу. Провожу время. Есть занятие. Не скучно. Вокруг бродят. Разные и с замашками. Кто ручкой разводит. На, на, на ... С чем ни обратишься. Кто тихо. Без движения. Одни хи-хи-хи. Хихикают. Пришло смешное. Другие со слезой и грустны. Есть пасмурные и насупленные. Обхожу стороной. Боком. Другим коридором и дверью...

Моя англичанка лежит тихо. Не ходит. Нет желания. И повода. Что-то видит, грезит. Или думает обо всём понемногу. Есть о чём. Жизнь прожита, и без остановки. Теперь конечная. Хочешь – не хочешь, выходи. Дальше не повезут. Есть куда, но расписание.

Сижу, отдыхаю. Не курю. Запрещено правилом распорядка. И так каждый день. С утра и до. Потом домой. Пешком и не торопясь. Проблем никаких. Живи, есть на что. Моя обеспечила. Привезла. Наследство с Британских. И никаких претендентов. Оформила, если что. Остров сокровищ. Когда продолжать незначем. Да и не хочется. Так всегда. Нет, чтоб вначале. В юности и в тридцатилетнем.

Возвращаюсь. Открываю. Полно. Аппетита нет. Включаю и зажигаю везде. Даже без надобности. Пусть свет и тепло. Смотрю в окно на мелкий. Идёт, но незаметно и не привлекая. Тихо. Как она там? Надеюсь, спит. Или бодрствует. Всё равно. Не замечает. И не видит отличия. Завтра в восемь буду. Мог бы раньше, но не пускают.

Ложусь на диванчик, подушку под голову, пепельница рядом. С горкой. Вытряхнуть лень. Думаю. В который уже. Зачем ездить? Сиди дома и будь здоров. И крепок. Не надорвёшься и не растеряешь. Лишнее надо отбрасывать. И запрещать видеть.

Поздно спохватился. Любил, и весь в ней. Один не мог и скучал. Но без заботы и ухода. Не понимал и не чувствовал, что требуется. Глубоко и не видел. Лелеял про себя. Незаметно. Стеснялся проявить. Был занят пустяками и летел в будущее. Оказалось, что нет. Всё там и раньше.

Помню. Шали прибыла. Вся англичанка и слегка тронутая. Отстранённая от. Побежал, бросился. Преодолею метры, что оставались. Цветы нёс и

наступил. Приник, закрылись глаза. Рядом не нуждался в зрении. Она, И, однако. Как прежде, но всё-таки не. Осталась, но другая. Полная и одета по островному. Ничего континентального. Сразу не узнаешь. Внутренний говорит, она. Всё есть, но что-то обронила.

Конечно, пока пересечёшь пролив. Не широк, но опасен. Для плаванья. В ту, и другую. Тихо. Вдруг задует – и нет. Небо и простор сырости. Непостижимо, как быстро меняется погода на море. Вот и Тургенев боялся моря, правильно делал, средняя полоса родины ближе и осознаёт, вёл себя плохо, и женский пол отталкивал от спасательной. Шлюпка или бот. От растерянности забыл о тургеневских девушках. Впрочем, пожар, и понятно, что. Не до того, и своя ближе. Я не отпихивал. Наоборот. А получилось вроде и. Нехорошо.

В голове бессонница и переезд на новую. Кавардак, вперемешку, не разобрать, где. Но всюду ищу положительное. Не нахожу, но продолжаю. Верен себе и избранной тактике поведения. Темно, а просвет должен быть. Щель, точка, треугольник, гипотенуза, катет. Не подходит. Заговариваюсь, вспоминая школьное. Танго и девочки одноклассницы на волейбольной. Умерли все. Одна осталась. Слышал, не желая. Интересы не проявил. Но пить бросил. Вода водопроводная, кофе бразилианский, чай из Ост-Индии.

Люблю историю и обращаюсь, когда трудно. Всегда утешает. Хуже, чем было, не будет. Сейчас как раз время. Завтра с утра опять. Пойду и до закрытия приёма. Так все дни согласно календарю. О выходных не говорю. Не предусмотрены. Пока. Должен, но это не главное. Иначе не могу. В праздничных и выходных не нуждаюсь.

Исхудала сильно. Полноты нет, но обаяние. Иногда говорит. Много и разное. Внимаю бессловесно и со слезой. Потом молчание. Длительное, и не прерываю. Видит она меня или нет, не знаю, но веду, как если б. Привык, готов к тому и другому.

Хочется вернуть. Невозможно, нет оснований. Организм не желает. Противопоказано, и сопротивляется возобновлению прежней. Да и не нужно. Всё и так при мне. Каждый час, день, утро, – туманное, как всегда, осень налетела, осыпала, принесла ветер и непрочный прогноз на ближайшие дни, – не говоря о вечерне-ночных.

Год отсутствовала. Блажь и продолжать образование. Английский непосредственно и курсы вахтёров в часовнях и заброшенных замках. Стеречь руины, лелеять старину. Был это время один и не у дел. Иногда выходил наружу. Совершал обход улиц. Неприкаянным и без ухода. В разные часы суток. Набралось наблюдений. Мог издать записки ночного сторожа. Но оставил за ненадобностью и без последствий.

Доходил до Эйфелевой, но не поднялся. Высоковато, да и что смотреть. Не запомнишь и перепутаешь. К тому же головокружение. Боюсь и воздерживаюсь. Только снизу вверх, задрав голову и уронив шляпу. Шляпу ношу в память о. Умерли, оставили предмет, круглые поля и тулья. Больше ничего. Забыли. Остальное более достойным и внушающим. Со всеми расстался. Обид никаких. Но для равновесия чувств. Родственников уважаю. Хочу сохранить в неизменности. Поэтому держу дистанцию и удалён. Нет интереса, и самостоятелен при переходе в иной.

Много мусора вокруг. Туристы бросают и не берегут достояние. Без уважения к римскому поселению и Меровингам. Историю забыли и не хотят знать. Помню и бросаю в мусорный. Думают, что превзошли. Отметил про себя и не одобрил.

Маялся вначале и писал письма. Отправлял, но без ответа.

Образование отнимает время. Понимал, и без обиды. Но был огорчён. И иногда плохо спал. Выпивал. Есть где. Город хороший и без причуд. Всё к услугам, но не требуется.

Устал одиночеством и поехал автобусом. Вспомнил по дороге памяти Каталонии, опять же англичанин и самоубийство. Хотел в Мадрид, Прадо и пр. Ошибся направлением и купил не то. Привезли – пляж, море и голые. Трясут грудью и виляют оставшимся. Пришлось пять дней. Нашёл вино и утешился. Три литра в день, сыр и хлеб. Мог бы больше, средства были, но засыпал в неурочное и не мог продолжать. Думал постоянно и вспоминал вид. Не страдал. Грустил и превзошёл себя в этом чувстве. Исписал двадцать восемь почтовых. Не отправил. Одна чувствительность. Не поймёт и не одобрит. Сочтёт избыточным и придётся согласиться. Всегда права. Не хотел огорчать и бросил в мусорное. Порвал, чтоб сделать недоступным для чтения и перлюстрации. По временам страдаю манией преследования или интереса со стороны.

Вернулся в родной, увидел Дом Инвалидов, прослезился. Дошёл до Эйфелевой, завернул в Лувр по пути на рынок, прошёлся проходными. Почувствовал, что дома, и успокоился.

Обратился к чтению в ожидании. Решил вспомнить школьный и начал с Диккенса. Увлёкся. Шали не забыл, но отошла в сторону и присела на краешек. Чтоб не мешать. Весь в лавке древностей и пиквикском.

Готовлюсь к возвращению. Накупил и заполнил. Рано начал. Поторопился. Пришлось выбросить. Снова и доверху. Всё забил. Чувствую, придётся повторить. Спешка, горячка и не терпится. Сокращаю ожидание и ужимаю сроки. Вижу её, спрашиваю. Не отвечает. Каждый день лишний и выбрасываю задолго до.

Помогают прогулки. Улиц много, и прямые. Идти не мешают. Река в движении, можно смотреть, не обращая внимания на минутную и часовую, впадаешь в задумчивость, ускоряешь ход.

По берегам книги и мелочь. Календари, почтовые прошлого и виды зданий, общественных и частных, городской ландшафт рукою мастера. И прочие жанры в черно-белом и цвете. Продают по сходной. Не покупаю. Раньше было. Давно и привык.

Говорят на своём. Красиво, но непонятно. Собственного не имею. Излишняя роскошь. Излагать нечего. Да и о чём? Пытался приблизиться и познать местный. Пошёл в здание, – пять этажей, кирпич розовый, в придачу два флигеля, – и записался. Внёс наличными. Был. Выдержал урок. И покинул. Выпил красного. Осознал, не моё.

Завидую полиглотам. Голосят и не остановить. Могут на каждом, и как они. Местные понимают и удивлены. Вроде, не наши, а говорят. Я тоже удивляюсь, вместе с ними. Удивляться – моё ремесло. Пребываю в удивлении всегда. Повод не требуется.

Шали жду. Есть нетерпение. Соскучился телесно и более сложным чувством. Неопределимо. Поэтому не буду. Вводить в заблуждение не привык. Сам постоянно в нём. Зачем других.

Живу один. Но при родителях. Родители Шали. Милые старички. Много ездили по свету. Африка и Юго-Восточная. Полжизни там: Таиланд, Малайзия, Сингапур. Полюбили. Были в Китае и посетили Непал. Хотели остаться, но контракт и нехватка воздуха. Снежные вершины, и разрежен. Заработали на отдых, покой и тихо-счастливую старость. Но из-за меня. Как выразить? Непрерывно взволнованы. Каждый второй. Принимаю. Кухня большая и стол.

Свой дом в пригороде. Два этажа и сад. В саду деревья, цветы, фонтан. Бьёт день и ночь. Чем не жизнь? Надоели друг другу, разошлись по этажам. Так нет! Без меня не могут. Есть причина. Не доверяют. Могу сломать или сжечь. Без умысла, а так, в задумчивости. Свойственны халатность и пренебрежение к предметам. Не умею, не понимаю и не собираюсь. Знают и встревожены. Успокаиваются, когда видят. Не притрагиваюсь. Говорил неоднократно. Верят, но боязнь остаётся.

Сердечно встречаю, поют чаем с сушкой. При мне говорят на моём. Чтоб понял. Пытаюсь и делаю вид. Я давно ни на каком. Шали понимаю. С меня достаточно. Воспринимают с доверием. Удивительные люди. Теперь таких нет. Уезжают утешенные. Через день опять у меня. Пьём чай с сушкой. Зовут к себе. Им так спокойнее. Утверждают, за меня. Благодарю сердечно, но остаюсь. Привык к дому и не хочу покидать.

Здесь повсюду Шали. Каждый угол и напоминает. Пыль и паутину уберу

перед приездом. Сейчас без толку. Всё равно зарастёт и покроется. Мне не мешает и трудно внаклонку.

Вчера читал Диккенса. Заметил, склонен к слёзовыделению. Слёзные железы близко к поверхности. Пришёл к выводу. Дополнительно – называется отсутствие. При ней вмением и образец. Выбрит и выглажен. Причёсан на прямой. Без неё – детдом и скитальческий образ жизни. Вино помогает, и принимаю. Стараюсь соблюдать, но не всегда получается. С мерой трудно. Бокалов много, и все большие.

Сегодня весь день на диване и без выхода. Читаю – и в Англии. Как там мой любимый Пиквик, и Нелли ещё жива. Мог бы поехать. Увидеть, познаться. Въезд запрещён. Способен нарушить университетскую тишину и причинить ущерб. Лучше здесь и сдерживать помыслы. Воображению не запретишь. Рисует и дополняет. Часто избыточно, и огорчает. Но не встаю, и никому не мешаю. Пытался выразить. Не смог. Взору предстаёт, но смутно. Она во мне. А что снаружи? Зрак, смущение и ошибка чувств.

Как вижу – затмение, лепет, и. обречён счастьем. Удивляет собственное постоянство и сила привязанности. Думал, когда-то освободиться. Пытался найти замену. Давно. Но нет, исключено. Понял, не могу, не дано. И перестал.

Знакомство случайное, и не предвиделась длительность. Плющ, здание шестнадцатого, башенки, флюгера. Много воды, и журчит. Не здание – замок. Замок Генриха. Их много. Забыл порядковый. На островке. Для безопасности и от покушений. Впрочем, не уберётся. Любил дам, и погорел на этом.

Мы тоже и там же оказались. Когда стемнело, узнал счастье. Предполагал, к утру забудется. Туманное воспоминание. Рассеется в будни. Была суббота и осенний пейзаж. Выяснилось, наоборот, и пожизненно. Удивлён, не опечален. Так есть. Констатирую без задних. Обречён и не хочу менять. Да и не в силах.

Окон много. Посмотрел. Большие и видно. Давно не делал. Был удивлён. Произошли изменения. Открылись «Ремонт обуви» и «Кукольный». Другое закрылось или переехало. Что именно, забыл. Есть деревья. Бульвар, не бульвар, но растут. Облетели, но ещё падают. Заметил волнение после события. Не придаю значения. Отношусь неодобрительно. Предполагаю, обман и заблуждение. Исчезли мусорные. Говорят, безопаснее, и некуда бросить взрывное. Сажу на динамите и равнодушен, по-прежнему красота, и трудно расставаться. Осенью, когда облетают и солнце, хочется продлить. Зачем, не знаешь, но тянет. В гурий не верю, а публичных и тут хватает. Попадают удивительной красоты. И вряд ли там превзошли. Отстранён и без интереса. Мало ли что. У меня и так избыток. Не знаешь, как справиться с навалившимся. Пребываю на перепутье чувств. Счастлив и несчастлив. Главное, жива и могу видеть.

Живём в цивилизованном – и вот. Без готики довольно разного. Так всегда. Сильное увлечение. Потом сдвиг. Вернуться обратно трудно. Нет проводника. Заменял бы, но не подхожу. Чувствителен, и заинтересованное лицо. Врач объясняет. Слушаю. Глупости. Плачу хорошо и без задержки. Отчего не? Отрабатывает своё. Как умеет. Не возражаю. Но отвлекаться не хочу. Вижу её и понимаю. Суждено, вернётся. Нет, что ж, догоним. Воздержусь от суждений и прогнозов.

Хотел бы, как Дюма-отец. О Гюставе не говорю. Недостижимая вершина. Что-нибудь попроще. Трагическое, но с просветом в отдалении. Плохо всё и с самого. Кончается свадьбой. Не бывает, а почему не представить. Диккенса ставлю выше, потому что превзошёл. Пытаюсь отвлечься для сохранения сил. Неудачно, и пребываю в существующем.

После возвращения Шали разлюбил всё английское: радклифов, льюисов и мельмотов-скитальцев. Дополнительно шотландские пледы, виски и. Раньше принимал. Отказался, и не идёт. Диккенса к слову и по привычке. Острый смысл и никаких туманов. По приезде была оживлена. Нет слов. И не в меру. Вся в движении. Посещения, визиты, приёмы. Мысли и высказывания на разные. Политика, экономика, религия. Бедность, голодают, несправедливо. Согласен. Но что? Надо исправлять. В противном – будущего не предвидится. Реально невозможно. С помощью таинственного и при божественной поддержке.

Слушал со вниманием и тщательно. Был не согласен про себя. Не возражал за неимением положительной. Кроме того, предполагал. Временно и пройдёт. Но начала удаляться и не воспринимала обыденной. К врачам не хотела. Обратился сам. И стал врагом. Сделал ошибку. Не уверен. Но подсказывает. Виню и не прощу снисхождения. Думал, хотел. Ошибся. Терзаюсь. Запозднился с ними. Пожинаю последствия. Существовать не отказываюсь. Обязан и продлеваю.

Жестокие методы лечения. Лили холодную на голову. Душ Шарко и прочее. Заворачивали в ледяные, чтоб успокоить. Была и смирительная. Возражал и устроил порчу мебели и личности врачевателя. Разбил роговые и оставил следы возмущения. Чуть сам не загремел. Но обошлось.

Была потрясена и измучена лечением. Моё мнение – всех на галеры, и пожизненно. Прав драматург. Описал суть. Живут за счёт и делают вид, что могут. Убежала через проходную. Использовала хитрость и подкуп служителя. Был наказан и получил взыскание. Видел. Жаден, глуп, ненавидит. К контингенту плохо и без сочувствия. Мол, от безделья, и сами виноваты.

Была найдена на бульваре Распай. В одной сорочке и без всего. Босиком. Был дождь. Установили, – было не трудно, – шла, потеряла сознание. Нашли лежащей и без признаков. Вернули обратно. Признаки появились.

Но тихо и бессловесно. Хочу слышать. Пусть говорит, что хочет. Лишь бы. Каждый день жду, надеюсь на. Улучшение и пр. Верю, будет. Когда?

Вспомнил. Долгий срок, и вместе. Ни во что не верила, и нередко иронически. Вдруг дурь или причуда, и срочно осуществить. Обручение и свадьбу. По католическому. Не католик и вообще вне. Посторонний, и равнодушен. Но пришлось. Согласился. Иначе не мог. Принял, пошёл против. Но ради. Чего не сделаешь, когда.

Обручились, сыграли. По обряду и в соответствии. Красиво, и участвовал. Привлекает. Скучновато и затянули, но понравилось. Не жалею о присутствии. Сохранил счастье. Остальное мелочи. Нет возражений. У каждого своё. Должно быть, и не претендую. По-прежнему считаю, что сам. В мир иной без посторонней. Не торопясь и пристойно.

Рано темнеет. Октябрь лишён белых ночей. Не обзавёлся. Вынужденно согласен, но без сочувствия. Посещаю и провожу время. Оно идёт. Не огорчаюсь. В ожидании. Другого нет. Старички не посещают. Считают, что я во всём. С их точки правильно. Не пытаюсь и не виню. Наверняка, есть, не скрываю. Но чтоб только? Не согласен, и не могу принять. Иногда звоню. Не подходят. Или отказываются и вешают. Считаю своим долгом и не обижаюсь.

Не каждый, но регулярно. В часы отсутствия. Не сталкиваемся. Пребывают недолго. Уходят опечаленные, и проклиная. Знаю и принимаю укор. Жаль до слез. Сил мало, и поделился бы. Но откажутся и не примут.

Боюсь сказать, но. Наметилось улучшение. Нет, другое, не знаю, что изменилось. Организм хочет вернуться. Прошное не тяготит. Наоборот. Тянет вспомнить и повторить. Не боится продолжения, и требует жить дальше. Со мной тоже что-то. Вынес несколько вёдер. Одни окурки. Набралось незаметно. Много пепельниц. К тому же посуда – блюда, чашки, глубокие и мелкие, о мисках не говорю. Казалось, что нет, и курю мало. Количество опровергло иллюзию.

Взял в руки, но почувствовал и подмёл часть. Середину, и минуя углы. Мебель обошёл, не обратив внимания. Много лишней. Слабость Шали. Решил, продолжу, отдышавшись. Время есть. Не думаю ни о чём, отучился. Долго тренировался для.

Шалина этом, и возвращается. Теперь всё. Никаких островов. Континент, и постоянно. Ангелов в ломбард и без выкупа. Фантазии в комиссионку. Пусть приобретают, кому взбредёт. Ницца и берега Средиземного. Колыбель, и баюкает.

Домик есть. Не наш, но старички позволяют. Тихая проза для семейного. Читаем вслух при настольной под абажуром. Дафнис и Хлоя, Амур

и Психея, Поль и Виржиния, Дюма-отец. Последний по преимуществу. Добавим Рабле для широты, и разбавить идиллию.

Счастлив. Второе дыхание, и заново родился. Спокоен, но трепещу нервными. Накупил и заполнил. Не рано ли? Выброшу и повторю. Звонили старички. Значит, не обманулся. Шали вернулась.

Туман со вчерашнего. Не разошёлся. Пронизан. Не загадываю. Не тороплю. Деревья смутно. Угадываешь, на прежнем. Так и мы. Без расставаний и встреч. Устали от радостей возобновления. Вместе и до. Не скоро, не скоро. Задержимся тут. На неопределённое.

Завтра буду. В последний. Обратно с ней. Открыл окна во всех. Давно не делал. Не дом, курительная. Ничего, к утру выветрится.

Сквозняк, головокружение, лёгкий озноб. До завтра.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

Маленький герой. Где ты, мой маленький герой? Давно мы не виделись. Куда ты запропастился? Может быть, тебя уже нет. И живо лишь воспоминание. Когда я познакомился с тобой, тебе было три года. Голубые глаза и вьющиеся волосы до плеч. И звали тебя Леночкой. Ты был похож на девочку. Так что имя вполне подходило. Мы познакомились в Башкирии, там было много эвакуированных из Ленинграда. Но война началась и закончилась. Ты уехал, чтобы больше никогда не возвращаться.

В Ленинграде мы не раз встречались с тобой. Тебя уже не звали Леночкой. Тебя звали Серёжей, именем, данным тебе при рождении. В честь погибшего друга твоего отца. Впрочем, с именами путаница продолжалась. Тебя ещё звали и Борей, как и отца. Он тоже погиб. В день твоего рождения. Это обстоятельство и определило твою жизнь. Такие совпадения не проходят даром.

Всё, что было, было так давно, что моё признание не огорчило бы тебя сегодня. Даже не удивило. Мне всегда было неловко перед тобой. В твоём присутствии я чувствовал себя виноватым. В чём? Да, я любил твою мать, люблю и сейчас. Вряд ли это можно назвать преступлением. Тем более, что её первой и, как оказалось, последней любовью был твой отец. Думаю, ты тоже сыграл здесь свою роль, Анна могла бы быть счастлива. Или, во всяком случае, не одинока. А осталась она наедине с тобой. Я не имею права тебя винить, но могу теперь сказать: ты принёс ей много зла и очень мало радости.

Что касается меня, то вспоминая прошлое, я ни о чём не жалею. Твоя мать была необыкновенной женщиной, а встреча ней – единственным

оправданием моей жизни. Ты понимаешь, мне не за что тебя любить. И, признаюсь, я не люблю тебя.

Да, я всё ещё жив, мой старый и постаревший друг. Я тоже не забыл тебя. Ты много сделал для нас, помог пережить тёмные времена. Отдаю дань твоему мужеству.

Кампании не откажешь в эмоциональности, едином порыве. Борьба с космополитами объединила, сделала жизнь осмысленной, почти счастливой. Народ на сей раз не безмолвствовал. А оскал власти был простодушно-искренен. Не заметить этого было трудно. А ты вёл себя так, как если б на дворе стояла обычная погода с белыми ночами в июне и ранними зимними сумерками.

Но делал ты всё небескорыстно, из эгоизма любви. Ты ничего не ждал и уж тем более не требовал, – я знаю, – но ты любил, а значит, не был свободен в своих поступках.

Мама была аспиранткой Эйхенбаума Бориса Михайловича и писала диссертацию о Лермонтове Михаиле Юрьевиче. Но объявили борьбу. И не стало ни Лермонтова, ни Эйхенбаума, ни аспирантуры с диссертацией о любимом поэте.

Если б не ты, я не знаю, как нам пришлось бы. Может быть, не пришлось вовсе...

Холодной буквой трудно объяснить...

Я чувствую, но слов не нахожу...

Когда мы ещё были в эвакуации, ты подарил Ане том Лермонтова, – выходили тогда фолианты, в каждый из которых умещался любой автор, весь, от младенчества до слабоумия, за исключением разве Льва и Немировича-Данченко. У одного девяносто, у другого и того... триста. С надписью. Книга сохранилась. Могу привести.

– Самой умной и интересной женщине, существовавшей в Караиделе в течение трёх с половиной лет.

Корректно, придраться не к чему. Но это хитрость, уловка, расчёт. Главное ты оставил между строк. Догадаться не трудно. Во всяком случае, мне.

Ты повлиял на мою жизнь. Благодаря тебе я впервые узнал, что такое ревность. К тому же ты был моим воспитателем. Тебя всегда призывали, когда я выходил из колеи. Такое случалось часто. Мне особенно запомнилась одна воспитательная прогулка с тобой. Ты был последователен. Даже жесток. Но в результате справедливость торжествовала, а маленький преступник, – то есть, я, – наказан. И сегодня мне больно и стыдно вспоминать. Преподанный урок не пропал, не забылся. Но не только.

Как и тогда, я чувствую жуткую неприязнь к тебе. Что-то очень похожее на ненависть. Я отдаю тебе должное, но не более.

Да, я украл. Украл последние деньги, две недели нам не на что было жить. Мама одолжила у соседки. Зато я устроил праздник. Большой праздник себе и такому же, как я, нищему приятелю. Нам было по одиннадцать лет. За один день мы пережили больше, чем за всю предыдущую жизнь. Здесь было всё: аттракционы, катание на горках, зоопарк, кино и неимоверное количество мороженого. В первый и последний раз в жизни я чувствовал себя свободным, богатым, счастливым. Это было глубокое заблуждение. Я догадывался, мне было страшно.

Мама узнала о пропаже. Не помню как. Возможно, я не выдержал и признался. Бедная мама. Тогда и был вызван ты. Ты не поленился и прошёл со мной весь путь того проклятого чудного дня.

– Это тот мальчик, – каждый раз спрашивал ты, – который... И тебе всегда отвечали: – Да, он.

В этот день я узнал не только, что красть плохо, – об этом я знал и раньше, – но что люди могут быть ужасно жестоки. И именно тогда, когда они тебя любят и хотят тебе добра.

Я помню многое. Спирт, выпитый мной в три года, и день моего рождения на берегу Чёрной реки, в родильном отделении маленькой больницы. Я помню больше. Моё первое путешествие, – ещё не родился, – в поезде. В последнем поезде, вырвавшимся из осаженного Ленинграда. Тогда я ещё не знал, что когда поезд набирает скорость, окна вагонов сливаются в одну линию. Помню долгую ночь, долгую дорогу женщины моей – и как скоро – матери, в обледеневшем январе. Застывший воздух. Застывшую тишину. Звёзды над её головой. Яркие, не греющие. Давно погасли, но светят. И освещают ей путь. Почувствовала приближение родов и пошла. Двенадцать километров – не близко. Светили не только звёзды. Светились глаза волков, то приближавшихся, то отстававших.

Ты утверждаешь, что помнишь, маленький самовлюблённый герой. Вряд ли. Разве что из рассказов взрослых. Через три дня после твоего рождения Анна смогла написать открытку. Несколько слов твоему отцу на фронт. Ты перестал кричать. Ты кричал трое суток, не переставая. Похоже, не слишком обрадовался своему появлению на свет. Испуг понятен. Ты явился не в самое подходящее время.

Анна писала:

– Поздравляю тебя, родной мой. 22 января в 8.25 у нас родился сын Сергей. Роды были ненормальные и прошли очень мучительно. Но всё осталось позади. Лежу в родилке. Он рядом со мной. Его не успели ещё убрать от меня. На тебя походит поразительно. Ресницы длинные, брови густые, светлые, глаза ясные – прямо вылитый ты.

Открытка дошла, но получить её уже было некому. Тихая синяя ночь

с яркими звёздами. Светят. Свет после Рождества. Длинные, долгие тени деревьев. Тишина. Нарушается лишь воем волков. Анна идёт медленно. Экономит силы, боится резких движений. Идти не трудно. Светло, как днём. Луна освещает зимнюю, белую дорогу лучше фонарей. Мороз под сорок. Безветрие. Первые километры даются легко. Она и не заметила, как прошла их. Или так только кажется. Но чем ближе к цели, тем труднее даётся каждый шаг. Появилась нервозность, временами накатывает страх, дышать становится тяжело. Это отнимает оставшиеся силы.

Она дошла. Дошла до ступенек больницы. И упала. Подняться, постучать в дверь... На это её не хватило. Сколько пролежала, неизвестно. Никто не мог ей сказать. Очнулась в палате. Через полчаса начались роды.

Может быть, старый друг маленького героя не прав. Тот, действительно, всё помнит. Наши воспоминания начинаются ещё до рождения. И последний поезд, вырвавшийся из окружения, и низко летящие юнкерсы, и падающие бомбы. Они падают прицельно и точно. Люди выскакивают из горящих вагонов и бегут. Среди них Анна. Она несёт ещё новорождённого младенца. Почему бы ему и не помнить. Маленький герой был там, участвовал. Поверим ему. Впоследствии ему придётся и лгать и изворачиваться, и делать вид, что он – не он, другой, более подходящий для Данного времени. Но здесь он не врёт. Он помнит.

Называть меня героем, пусть маленьким, можно только в насмешку. Но я не обижаюсь. Я воспринимаю этого мальчика, как кого-то другого, давно знакомого, но не как себя. Я часто вижу его. Он ещё не родился, уже куда-то едет, куда-то идёт, кого-то встречает. Или провожает. В последний путь. Не догадываясь об этом.

Когда он родился, Анне принесли стакан козьего молока и бублик. Всё, что удалось достать. Молоко она выпила, а бублик отдала женщине, лежавшей рядом. Та заплакала.

Башкирия, сорок второй, январь. Тишина, нарушаемая лишь звуками топоров и пил, да медленно оседающими в глубокий снег деревьями. Боёв здесь нет. Есть лесозаготовки, лесоповал.

Анна живёт вместе со свекровью. Свекровь избалована мужем и ведёт себя, как маленькая упрямая и немножко вздорная девочка. Кажется, она не догадывается, что идёт война. Она живёт в другом мире, который когда-то, когда ей было шестнадцать, устроил ей мой дед. Мир уютный, комфортный, где не надо работать, не надо думать, только позволять себя любить. Разница в возрасте. Когда они поженились, деду было тридцать два, а бабушке шестнадцать. Она так и осталась избалованной девочкой, гимназисткой 1914 года. До самой смерти.

Помнит ли маленький герой, что из-за него бабушку чуть не отправили

на лесозаготовки. Оттуда редко кто возвращался. Оставались, где валили лес. Но лес вывозили. А их зарывали там, где они падали. От усталости, истощения, холода. Это называлось – всё для фронта, всё для победы.

Он любил, он обожал свою мать. И не мог без неё. Он любил и бабушку. Но бабушка была, как маленькая девочка, с которой скучно. Маленький герой убегал из дома, – убежать от бабушки, занятой только собой, было не трудно, – и шёл к Анне на работу. В проходной, – дальше проходной не пускали, – он забирался на стул и начинал звонить. Однажды Анну вызвали и сказали:

– Если Ваш сын ещё раз здесь появится, Ваша свекровь отправится на лесозаготовки.

Время было нешуточное, но маленький герой не знал об этом. Узнает он об этом довольно скоро. Но сейчас его все любили и все баловали. Насколько это возможно во время войны. Ведь он был сирота. Сирот было много, но он был особенный сирота. Его мамой была Анна. Казалось, весь мир принадлежит ему. И что это прекрасный мир. Где есть мама, бабушка, – пусть и маленькая девочка, с которой скучно, – красивые картинки или книжки с картинками. Иногда и на короткое время быть сиротой хорошо. Даже удобно.

Смутно. Грезится. Паутина рук, голосов. Волнение, сумятица, смущение чувств. Тени от поздних фонарей. Тепло, отдаваемое домами, нагретыми за день солнцем. Столик. Покрыт белой, крахмальной. Сухое красное. Не то «Напареули», не то «Мукузани».

Засученный рукав, рука, трогает гитару – раз, другой – и голос поёт. Знаком, узнаваем. Давно нет. Ушёл, не допев.

Всплывает прошлое, словно утопленник. Больно колет, не даёт забыть. Оно живёт, прядёт нить и замедляет шаги. Идёшь не по сегодняшнему переулку. По бульвару прошлого с осыпавшейся и сырой листвой. Своими слухами, своими слухами, как говорил мой учитель Гэстав Густббович Густавсун. Вода, мосты и белая ночь.

Но это всё потом. А сейчас маленький герой всего лишь мальчик. Любит маму и страдает её отсутствием.

Михаил Вайман

* * *

Я невесом и нереален.
Где подсмотреть сумел Шагал,
как я по воздуху шагал,
смещаясь по диагонали?

Как увидал он, что из лома
я сотворен, из мишуры,
из снов — на линиях излома,
на трещине земной коры.
Как он узнал, что на развилке
дороги тяжкой я увяз?
Не потому ль он на затылке
изобразил мой скорбный глаз?

* * *

Их не найдёшь — ищи хоть днём с огнём.
Пора признать, пусть это и обидно:
пророков нет в отечестве моём,
да и поэтов что-то в нём не видно.

А между тем известно: пустоты
природа не приемлет, и на поле,
где вымерзли и высохли цветы,
для сорняков великое раздолье.

В моём краю бряцают унтера
на струнах лир, пророчат демагоги,
шаманы, лжепророки, шулера,
надев поэтов и пророков тоги.

И потому неведомо, куда
мы сквозь туман бредём по бездорожью,
и пища наша та же, что всегда:
щепотка правды, смешанная с ложью.

БОЛЬШАЯ СТИРКА

Воскресный светлый полдень в сентябре,
плеск музыки, веселье, новоселье.
На бельевой верёвке во дворе
дразняще чьи-то трусики висели.

Полупрозрачный синий шёлк,
ажурных кружев голубая пена.
Чьих юных бёдер форму и объем
они привыкли принимать мгновенно?

Они висели, будто на смотру,
приковывали пристальные взгляды.
Мятежно-грубо бились на ветру
подштанники, что находились рядом.

Соседство это – озорство судьбы?
Их ветром друг от друга уносило
и приближало вновь в пылу борьбы,
в пылу любви взаимной иль насилья.

А по краям верёвки паруса
надутых ветром белоснежных простынь
метались так, как будто в небеса
уплыть хотели, в тающую просинь.

Упругая, тугая синева
качала белый парусник. А с боку
рубаха напрягала рукава,
неистово протянутые к Богу –

в порыве ли неодолимых мук
или в мольбе о небывалом счастье.

А мне казалось: кисти чьих-то рук
отрублены по самые запястья.

И брюки, что до этих пор мели
все пыльные тропинки и дороги,
качались этак в метре от земли,
напоминая висельников ноги.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

*По проекту немецкого художника
Гюнтера Дэмнига во многих странах Европы
перед домами, где жили и подверглись
уничтожению евреи, монтируются камни
с латунным покрытием. На них указаны имена
жертв и даты рождения и смерти.*

Прохожий, во дворах, на тротуарах,
вблизи порогов, у подъездов старых
остановись, хоть на одно мгновенье,
когда увидишь камни преткновенья.

Вгляни на них - латунные квадраты
тебе напомнят имена и даты.
И мысленно преодолей дорогу
невинных жертв к их смертному порогу.

Своей душой споткнись об эти камни,
уложенные чуткими руками.
Про муки и про слёзы иступленья
тебе расскажут камни преткновенья.

ИСХОД

Ноги жёг песок до боли.
Боль в душе - от прочих бед,
из египетской неволи
мы бежали сорок лет.

Влѣк нас властный зов свободы
к берегам Святой Земли.
Смыть ни годы, и ни воды
нашу память не смогли.

Помню муки я скитанья,
пот катился по лицу,
и на солнце хлеб изгнанья
мать пекла для нас — мацу.

Жажда нас в пути томила,
Но и добрым день бывал.
Нам судьба благоволила:
и вода лилась из скал.

Сорок лет терзали ветры
наши души, нашу плоть.
Сорок лет на прочность веры
нас испытывал Господь.

Слал народ проклятья плену
и пощады не просил.
Кто ещё такую цену
за свободу заплатил?

* * *

Теперь уже не сыщешь вех-
в какие дали я уехал!
Но отзывается, как эхо,
во мне печаль твоя и смех.

Я в шуме дня со всех сторон
ловлю с завидным постоянством
сквозь бесконечные пространства
твой каждый вздох и каждый стон,

Когда глааа твои в слезах,
я ощущаю прнвкус соли,
как будто исцеляя боли,
я слёзы с глаз твоих слизал.

ЛОБНОЕ МЕСТО

Я поднимаю взгляд печальный.
Я умиряю сердца бой
и жадно в этот миг прощальный
ищу тебя в толпе людской.

С последней мыслью о тебе лишь
я принимаю смерть и тлен.
Любители кровавых зрелищ,
ценители жестоких сцен

в неизъяснимом исступленье,
шумят, безумствуя, крича.
С каким жестоким нетерпением
они торопят палача.

Со всех сторон, с соседних кровель
сейчас сорвётся град камней.
О, боже, как им надо крови,
причём, не чьей-нибудь – моей!

А ты, едва земли касаясь,
превозмогая страх и боль,
бежишь ко мне, и тень косая
чуть поспевает за тобой.

ПРОЩАНИЕ

*Взять саквояж и двинуть из Руси.
Александр Лайко*

Итак, уже к отъезду всё готово.
Мне предстоят нелёгкие пути.
Чтоб матери сказать хоть два-три слова,
осталось лишь на кладбище пойти.

Я с грустью ей скажу: «Ты помнишь, мама,
тебе я обещал– мой путь земной

лишь завершится, как в театре драма,
меня положат рядышком с тобой.

Но всё смешалось. За порогом дальним,—
едва ли там найду я благодать,—
изгнанником, угрюмым и печальным,
я на чужбине буду доживать.

Сегодня попрощался я с тобою.
И оставляю отчий край и дом.
Куда б ни был заброшен я судьбою,
тебя я в сердце увезу своим».

РОМАНС

Гляжу в твои глаза — тревожно сердце бьётся
как в первый раз, когда мы встретились с тобой.
Твои глаза — глубоких два колодца,
и я тону в их бездне голубой.

Мне кажется, что мир весь в радужном сиянье,
что наши навсегда переплелись пути.
Но близок час последнего свиданья
и горек миг последнего «прости».

В твоих глазах печаль, и скорбны губ изгибы,
и звонче сердца стук, и вздохи тяжелей.
Ты не пророчь мне в дальних странах гибель
и обо мне слёз голубых не лей.

* * *

Мы оставим на время
нам прежде заказанный мир:
парки Сиднея, трассы
Берлина иль камни Голгофы,
и приедем в Москву,
соберёмся в одной из квартир,
где когда-то читали
друг другу крамольные строфы.

Не таясь, мы расскажем
про жизнь свою всю без прикрас, —
где и как обжились,
и какие томят нас заботы.
А потом мы припомним
стихи, вдохновлявшие нас,
и в прошедшие годы
смешившие нас анекдоты.

Только эти стихи
прозвучат и не в лад, и не в такт,
прошлых лет анекдоты
окажутся мало смешными.
Очень многое будет
воспринято нами не так,
как когда-то. И время,
и сами мы стали иными.

Мы приедем в Москву —
неразлучные прежде друзья.
В нашей шумной беседе
проклюнется грустная нотка.
Нам за встречу такую,
конечно, не выпить нельзя.
Но покажется вдруг
очень горькой «Московская водка».

Борис Черепашенец

ЧЕРТОВА ПОЛЯНА

Я служил в дивизионном батальоне связи. Летом сорок четвёртого года наша дивизия держала оборону на плацдарме левого берега реки Волхов.

Командир дивизии, полковник Берулава, с пухлым лоснящимся жиром лицом сластолюбца, был занят, по общему мнению, только удовлетворением своих прихотей. Его любимой поговоркой была такая: «Всех баб поиметь нельзя, но к этому стремиться надо». И потому в отношении всех молодых и смазливых женщин, прибывающих на службу в дивизию, было возрождено «феодалное» право первой ночи.

Когда в батальоне появилась новая радистка Тамара Братищева, худенькая, кареглазая девочка со слегка выющимися волосами, её сразу же отправили на «смотрины» к Берулаве.

Но она с таким презрением отвергла притязания полковника, гневно заявив, что не затем добровольно пошла служить в действующую армию, чтобы быть забавой пузатому старику. Комдив и вся его обслуга поначалу опешили. Берулава покраснел от гнева, но сдержался и нарочито ласково, тихо и медленно проговорил:

Значит, я тебе кажусь старым и пузатым, так? Ну что ж... Будут тебе молодые и стройные, будут...

И рявкнул:

На «Чёртову поляну»! И оттуда без моей команды не отпускать!

Участок обороны дивизии, прозванный «Чёртовой поляной», был покрыт мхом, сырая низина непрерывно простреливалась противником с ближней высоты. Огонь вёлся днём и ночью, к тому же ещё и шестиствольными миномётами. Их огонь был чудовищно плотным, а осколки мин разлетались под таким острым углом, что зачастую оставляли на земле бороздки. Горячую пищу роте, оборонявшей поляну, в ранцевых термосах доставляли ползком повара в предрассветную пору, когда огонь врага немного стихал. Но зачастую их убивали или ранили, и солдаты сутками питались размоченными ржаными сухарями и брикетами пшённого

концентра. Целесообразнее было бы отвести роту на пару сотен метров назад, на более удобное для обороны возвышенное место, – но уже действовал знаменитый сталинский 227-й приказ: «ни шагу назад», и никто из командования отвести роту на более удобную позицию не решился.

Вместе с солдатами у рации под огнём находилась и Тамара. Девочка страдала и от сырости, и от стыда при отправлении естественных надобностей, и от грязи. В таких условиях люди быстро вшивеют. Но самым главным был постоянный страх, который, как ей казалось, доведёт её до безумия.

Каждый день наглый щеголеватый адъютант Берулавы повторял по радио предложение, но Братищева его с презрением отвергала. Каждые пять-семь дней, опять-таки в предрассветную пору, роту меняли, отправляя её в дивизионный тыл. Там солдат обильно кормили, давали отоспаться, меняли нательное бельё, верхнюю одежду отправляли в вошебойку. Тамара же оставалась на «Чёртовой поляне». Однако силы девочки были не беспредельны, и настал день, когда она сдалась. На рассвете адъютант притащил Тамару к полковнику, и тот, оглушив её стаканом спирта, тут же изнасиловал, грязную, вшивую.

Насытившись, Берулава отдал её адъютанту: «Ну её к дьяволу, неумеху. Бестолковая какая-то, да и ляжки у неё худые, не люблю таких».

Последующие дни превратились для девочки в сплошной кошмар. После адъютанта она попала к ординарцу, затем настала очередь obsługi: поваров, парикмахера, солдат комендантского взвода – охраны полковника. Тамара потеряла, счёт дням и ночам. Её брали по двое, по трое. И все время водка, спирт, коньяк, вино. В итоге за короткое время чистая и наивная девочка превратилась в штабную шлюху и алкоголичку. Вскоре она надоела, а может, появилась новая жертва, и вышвырнули её, как использованную тряпку.

В её землянку в штабе дивизии мог прийти кто угодно, когда угодно, и утешиться всего за стакан водки. Единственное, чего Братищева добилась, – её не посылали больше на передовую. Ужас от пережитого на «Чёртовой поляне» забыть она не могла. Изменилась она и внешне. Лицо отекло и отливало синевой, глаза потускнели, волосы всегда были всклокочены, да и вся она раздалась, обабилась. Все звали её уже не Братищевой, а Блядищевой.

Был в дивизии мой земляк, командир миномётной батареи, капитан Павел Ощепков. Хотя я считал его стариком, ведь ему было уже за тридцать, мы дружили. Встретились как-то с ним в штабе, обменялись новостями, вспомнили Москву. Проходя мимо Тамариной землянки, Павел сказал:

– Подожди меня здесь. Надо конец смочить. Выйдя минут через двадцать, хмыкнул:

– А ты чего не идёшь? Тамарка работает как машина, я ей целую бутылку оставил, и за тебя тоже.

Меня передёрнуло от гадливости, словно наступил босой ногой на жидкую коровью лепёшку.

– Нет уж, как-нибудь потерплю.

– Ну и хрен с тобой, как хочешь. И протянув руку, сказал:

– Прощай. Завтра с утра батарея работать будет.

Вы уж, связисты, не подведите. Вечно у вас что-то отказывает.

– Не подведём, будь уверен. Не нравится мне твоё заупокойное настроение.

На следующий день, управляя с переднего края огнём своей батареи, Паша Ощепков был убит наповал.

Как-то придя в штаб, я увидел людей у Тамариной землянки. Часовые никого не подпускали. Заметив пробежавшего знакомого, спросил у него, в чем дело.

– Да пустяки, Тамарка повесилась! – на ходу прокричал он.

Мой ординарец, хитрец и насмешник Исая Гумеров сказал:

– А домой, наверно, отпишут, что погибла, защищая честь, достоинство и независимость нашей социалистической Родины!

РОМНЫ

Война окончилась. Сапёр, капитан Семён Гендлин, блондинистый еврей, счастливо отделался – всего три не очень тяжёлых ранения. Как и перед миллионами его сверстников, встал вопрос: что делать дальше?

На фронт он попал сразу после десятилетки и теперь страстно хотел учиться. Поэтому решил поступить в военно-инженерную академию. В штабе Киевского военного округа прошёл собеседование и ждал решения. Оно вскоре пришло – отказ. И это несмотря на его пять орденов, в том числе престижный орден Александра Невского.

Поняв, что в армии ему карьеры не сделать, Семён падал рапорт об увольнении в запас. В конце концов, он молод и здоров, и путь в институт ему не заказан. А пока его отправили в украинский городок Ромны, где был расквартирован отдельный корпусной сапёрный батальон, на должность начальника штаба.

Поначалу Семёну город понравился. Прошло два года после освобождения от оккупации, особых разрушений в городе не было, и отличался он какой-то патриархальностью и чистотой.

Прибыв в часть, Семён решил, по примеру других офицеров, поселить-

ся на частной квартире. Казарменное житьё ему порядком опротивело.

Однако найти кров оказалось делом нелёгким. Хозяева ни деньгами, ни продуктами не интересовались. Главной валютой было для них топливо: уголь или дрова, а достать это молодому офицеру было нелегко.

И поэтому жил Семён в общей солдатской казарме, и в углу, отгородившись от остальных только простыней.

Однажды осенним вечером он увидел на здании кинотеатра афишу фильма «Антон Иванович сердится». Семён вспомнил этот добрый и наивный довоенный фильм, образы, созданные Целиковской, Кадочниковым, Мартинсоном, Коноваловым, прекрасную музыку в картине, предвоенное время, когда жизнь казалась безоблачной и вечной.

Зал был заполнен молодыми, сытыми парнями и девушками. Все пиджаки молодых людей, кофты и платки, обтягивающие высокие груди девушек, были обсыпаны лузгой. Парни, весело смеясь, щупали своих соседей, те притворно взвизгивали и лениво отбивались от ухаёров.

Фильм начался, но стоило появиться на экране героям, которых играли Короткевич и Бонди, актёры с семитской внешностью, как зал начинал вопить:

– Жида, жида, жида!

Особенно пронзительно визжали девушки:

– Жи... жи... жи-ды...!

В экран летели огрызки яблок, пустые бутылки и все, что было в карманах у зрителей.

Потрясённый Семён встал и, наступая на ноги соседей, выбежал из зала: да что же это такое? Всю войну комиссары талдычили ему о морально-политическом единстве советского народа, о нерушимой дружбе... Впервые он столкнулся с такой ненавистью к его несчастному народу. Внешне привлекательный город уже не казался ему милым и симпатичным.

Вскоре капитан Гендлин нашёл квартиру. Домик находился почти на окраине города. В нем обитали женщина лет 40-45-ти и её двадцатилетняя дочь с маленьким ребёнком.

Квартира поразила Семёна своим необыкновенным, в отличие от остальных убранством: хорошая мебель, красивый абажур в одной комнате, расписной фарфоровый фонарь в другой, льняная скатерть на обеденном столе, книжный шкаф с книгами в хороших переплётках. На выкрашенных масляными красками стенах темнели прямоугольники от снятых фотографий.

Выяснилось, что хозяин ушёл с немцами, а отец маленького ребёнка – немец, который служил в городской комендатуре. Хозяйская дочь показала его фотографию. Это был уже немолодой, тщедушный лысеющий че-

ловек в очках. Младенец оказался слабеньким и болезненным. Несмотря на то, что ему было уже более гола, он только-только начал поднимать головку. Он почти беспрерывно хныкал тоненьким голоском. Семён получил отдельную комнату, и блаженству его не было предела.

Вскоре капитан обнаружил ещё одну комнатёнку в доме, метров десяти – двенадцати. Она была завалена всяким хламом. Валялось там почему-то старое зубо врачебное кресло.

– Что это за комната? – поинтересовался у хозяйки Семён.

– Да тут евреи до войны жили.

– Где же они теперь? – с надеждой спросил Семён

– Где, где... Да убили их немцы, как и всех жидов.

Гендин обнаружил на дверях квартиры мезузу, а потом с изумлением заметил, что хозяйская дочь кутает, выходя на улицу, своего ребёнка в талес, ритуальную одежду, применяемую только во время молитвы.

Он немедленно покинул это недоброе пристанище и вернулся в казарму.

Вскоре Генддину удалось найти комнату в домике, где жила украинская бездетная пожилая чета. Хозяева оказались баптистами, и Семён попал в атмосферу такой доброты и благородства простых людей, что, пожалуй, впервые в жизни понял значение слова «благодать». В обществе этих людей капитан отогрел душу и смог впервые за многие годы сполна насладиться покоем.

Как-то Семён рассказал старикам историю своих поисков квартиры в городе.

– Да вы, Семён Михайлович, имели несчастье поселиться у Кобылянских! – воскликнул хозяин Василий Никитович. И он поведал историю этого семейства. Оказалось, что до войны в доме жил еврей, зубной врач, со своей женой и двенадцатилетней дочерью. В маленькой комнате жили Кобылянские. На свою беду, врач иногда пользовал больных с сильной зубной болью у себя дома, а не только в поликлинике. Кто-то из доброхотов донёс на него, и перед самой войной врача арестовали, отправили в областной центр, город Сумы. Перед приходом немцев всех обитателей сумской тюрьмы, и правых, и виноватых, наши доблестные органы расстреляли.

Когда Красная Армия оставила Ромны, а немцы ещё не вступили в город, Кобылянский топором зарубил несчастную женщину и её дочь, тут же во дворе их и закопал. Он рьяно служил оккупантам и при уходе фашистов из города бежал на запад, опасаясь возмездия.

Семён переспросил:

– Постойте, постойте, Василий Никитович, живых людей зарубил топором!? Зарубил? Да вы что-то путаете!..

– Нет, дорогой, всё так и было. Многие в городе слышали крики несчастной женщины.

– И никто не заступился... А я с ними одной крови, – печально сказал Семён.

– Вы тоже еврей, Семён Михайлович? – удивился хозяин и горестно покачал головой. – Бедный вы, бедный мой, как же жить вам после всего, что произошло с вашим народом?

А поздно вечером хозяин рассказал Семёну о трагедии роменских евреев. Жарким утром согнали их в чахлый скверик в центре города, напротив горсовета. Там их трое суток на солнцепёке держали без еды и питья. То ли ров не успели вырыть, то ли расстрельная команда была занята в другом месте.

Город небольшой, все друг друга знали, мимо проходили сослуживцы, знакомые, соседи.

– Воды, ради Бога воды! – кричали им евреи – воды!

Но горожане прохаживались мимо несчастных и с любопытством смотрели на них, как на зверей в зоопарке.

Потрясённый услышанным, капитан, накинув шинель, выбежал на улицу. Над городом стояла лунная, ветреная ночь. Тишину нарушал только собачий лай. Как по эстафете одна собака начинала лаять па луну, затем подхватывала лай другая, третья, и вот уже над Ромнами звучал многоголосый пёсий хор.

Гендлин машинально вышел к пустынному скверу, где когда-то евреи ожидали своей участи. Тени от подросших кустов и деревьев метались на осеннем ветру. Они казались Семёну тенями тех замученных здесь людей, которые так же метались от голода, жажды и страха. Он отчётливо представил себе, какую смертельную тоску и какой ужас испытывали они в последние часы своей жизни.

Ноги произвольно привели его к домику Кобылянских. Семён подошёл к невысокой изгороди. Лунный свет освещал маленький дворик, поросший увядшей лебедой и бурьяном. Как наяву, он представил себе мать, которая металась по дворику, звала на помощь, кричала, пытаясь спасти свою дочь от убийцы. Но никто не отозвался.

Из дома доносился надрывный плач больного ребёнка. «Может быть, есть высшая справедливость в том, что грех деда сказался на судьбе его внука», – думал Семён.

Пошёл дождь, а капитан стоял с непокрытой головой, не в силах покинуть проклятое место. И только когда ручейки воды начали литься за ворот гимнастёрки, Семён очнулся. Ночь подходила к концу, надо было возвращаться домой, скоро утро, скоро на службу. И хотя Гендлин открыл

дверь дома своим ключом, чутко спящая хозяйка услышала постояльца и в длинной белой ночной рубахе, с пуховым платком на плечах, вышла навстречу.

Увидев совершенно мокрое лицо капитана, она решила, что он плачет и, схватив полотенце, висящее в сенях, подошла к нему и по-матерински нежно вытерла его руки и лицо. При этом женщина поцеловала Семёна в лоб и сказала:

– Ну, голубчик, ничего. Бог сохранил вас, значит, корень есть. Бог даст, возродится ваш народ. Он не может исчезнуть. Всё-таки сына божьего евреи родили. Бог забыть этого не должен.

Через неделю пришёл приказ из штаба округа об увольнении в запас Семёна Гендлина.

Семён тотчас же собрался, положил в вещевой мешок свои нехитрые пожитки, тепло попрощался с Василием Никитовичем и его женой.

В части командир батальона сказал Семёну:

– Подожди до утра, капитан. Куда ты, на ночь глядя? Завтра и проводим тебя, как полагается. Надо же, в конце концов, выпить на посошок!

Но Семён ждать не стал. – Нет, нет, немедленно прочь от этого места, – думал он. Закинув за плечи мешок, под проливным дождём зашагал к станции. Капли дождя стучали по козырьку фуражки, как бы восклицая:

Жи-ды! Жи-ды! Жи-ды!

Виктория Жукова

НА БОЛОТЕ

Каждый вечер, в 17 часов зимой, а летом в 20, старика можно видеть сидящим на приступочке своего дома. Проезжающие мимо, кричат ему приветливо: «Здравствуй, Коля! Не помер ещё?» Старик в ответ трясёт головой и желто пегая борода несколько раз подпрыгивает, прежде чем опять улечься на грудь и обрести покой.

Летом и зимой он одет одинаково, тулуп и валенки. Летом тулуп распахнут и валенки одеты на босу ногу, это видно, когда он вытаскивает грязную, жёлтую ступню и почесывает ее о лежащий чурбачок. Палка, на которую опирается его голова – выдающаяся. Грубо вырезанная рукоятка переходит в изящно поднявшую голову змею, хвост которой, обвивая палку, спускается до земли, придавая дополнительную устойчивость. Еще в ней имеется секрет – желобок, в котором Коля хранит оставшиеся от деда золотые.

Детство у Коли было непростое. После того как мать умерла, и отец взял молодку с двумя маленькими детьми, хозяйство быстро начало подниматься. Мужчины, отец с дедом, да и благодарная молодка, работали от зари до зари, не жалея даже маленького Колю. Несчастья начались, когда деда от непосильной работы парализовало, а в район пришел приказ о раскулачивании. Отца в селе не любили за крутой нрав и дружбу его первой жены с местной колдуньей. Но жену давно прибрал Бог, колдунья в селе не появлялась, хотя ходили слухи, что она по-прежнему живёт на болоте. Отдал дед Коле золотые, когда пришли их раскулачивать. Дед уже к этому времени не вставал, и когда в избу вошли члены сельсовета, усиленные красноармейцем, дед завозился на печи и закричал. Коля, хорошо его понимающий, выхватил из-под подушки свёрточек, и шмыгнул вон из хаты. Сидя в укрытии, он видел, как кинули на подводу связанного отца, видно тот вздумал сопротивляться, сверху забросили деда и двух маленьких ребятишек, детей его мачехи, саму мачеху привязали к задку подводы, туда же примотали веревкой корову, а лошадей

степенный сельсоветчик повел под уздцы, изредка покрикивая на них: «Не балуй». С трудом, всем миром вытолкнули застрявшую в колес подводу, и кавалькада тронулась. Кольку пробовали искать, но решили, что тот сам прибежит следом за отцом.

Колька, просидев в укрытии пару дней и насмотревшись на разбой, учиненный односельчанами, когда со двора тащили все: посуду, кур, инвентарь, сундуки, из которых торчали праздничные платья матери, не выдержал, и, плача, побежал на болото к материной подруге Кленихе, которую сельчане недолюбливали и побаивались.

Понятия дружбы в деревне не существует. Люди заходят друг к другу по делам, иногда посплетничать, но нежности между ними, как правило, не бывает.

У матери вышло по иному. Сонька рождалась, когда Колька был уже взрослый, лет пяти. Клениха принимала роды. Колька забился за печь, боясь высунуть нос, но зато все слышал. Кричащая истошно мать, вдруг замолчала, нутужно крикнула, мужским хриплым голосом, и тут вся изба наполнилась кошачьим писком и довольным урчаньем Кленихи. Потом остался только кошачий писк, потом тишина. И тут Колька услышал тихое бормотанье. Клениха читала какие-то заговоры. Бормотанье прерывалось постуком и топотом. Колька высунул голову и стал наблюдать, что происходит в избе. За окном наступили сумерки, но в хате темно не было.

Кольке померещилось, что посреди хаты подпрыгивала не знакомая с детства старуха, а кто-то страшный, костлявый, многорукий и многоголовый. Он мелькал то слева, то справа одновременно, и маленькая девочка, что была у него в руках, зажмурившись, летала по хате, как будто молния. Видел он такие круглые и сверкающие сполохи, залетающие иногда в хаты. Мать вдруг захохотала, тихо и страшно и, приподнявшись с кровати, ловко поймала летящий маленький комочек.

Ну что, окрестили мы ее с тобой, – услышал Колька человеческий нормальный голос. – Теперь у нас и Сонька есть. В хороший день она у тебя родилась, благодатный. Вот, у тебя вся команда и собралась, Вера, Наденька, а с тобой полнота Божественная. Собирайся, скоро надо ехать.

Тащи Кольку, – деловито распорядилась мать.

Колька здесь, чего тащить, вон он за печкой, наблюдает.

И что, он все видел?

Не бойся. Это – к лучшему. Надо только объяснить. Сестер будет любить крепче, а то вырастет, фыр-р-р, и улетит в город. А так при них будет.

Какие сестры, – слабо удивился Колька. – Что ли Сонька эта? Остальные ведь померли! Ходим же по воскресеньям к ним на кладбище, еще с батей кресты резали весной. И Верка, и Наденька обе мертвенькие родились.

Он сгреб несколько щепочек, заменяющих ему солдатиков и угрюмо опустив голову, вылез из-за печки.

Мам, ты как? Лучше тебе?

Мать посмотрела на него вскользь и вдруг заревела в голос.

Ой, детушка, опять у тебя сестрички не будет. Прибрал ее Господь.

Ой, беда, беда. – Вторила лживая Клениха.

На кого ты нас покинула, дитятко моё, – стараясь перекричать, голосила мать.

Тут в избу ворвался отец и заорал:

Пошла вон, ведьма чертова, предупреждали меня мужики, нечисть поганая. Как ты, проклятая, припрёшься, так жди смерти. И ты убирайся с глаз долой, – повернулся он к матери. – А все ты, пусть она да пусть, – чуть не плакал огромный мужик, – всех девок мне загубила. Встанешь – уходи. А я сей же час иду за отцом Трофимом. А тебя – повернулся он к Кленихе, – сожгу, не побоюсь властей, а потом и кол осиновый вгоню, чтоб больше честных людей не смущала. Кольку не отдам – орал мужик, размахивая своими огромными волосатыми кулаками.

Колька пискнул и бросился к матери.

Маманька, – зашептал он, – скажи, что Сонька живая, я же видел, что она живая, скажи тятеньке, а то прогонит, а я не могу без тебя, маманька, скажи ему.

Мать торжественно молчала, перебирая пальцами края ряднины, на которой лежала, изредка искоса поглядывая на замершую в углу Клениху. Мужик уловил движение в углу, с ревом развернулся и, схватив табуретку, шагнул в направлении Кленихи. Но как ни махал он табуретом, как ни шарил страшными кулаками воздух, Клениху ему было уже не схватить, потому что исчезла она из избы, только полыхнул в том углу сноп с огненными искрами, да мать опять страшно засмеялась.

Тут весь гнев отца обратился на Колю. Он сгреб его, приподнял над материнской лежанкой и грубо, с силой кинул к порогу. Коля от страха намочил штаны, и резво пополз через порог, взвизгивая и пришептывая: «тятенька, тятенька, не трогай маманьку».

Очнулся он в избенке Кленихи, придавленный периной, лежащий в обнимку с тощим клениховским котом, который, урча от удовольствия, лизал ему губы. Отодвинув перину и оттолкнув кота, он, приподнявшись на локте, осмотрел комнату и встретился глазами с сидящей неподвижно у окна Кленихой.

Впервые он так близко и так внимательно ее рассматривал, тем более она сидела простоволосая и без своей обязательной кацавейки. «Да она моложе маманьки, – с удивлением понял Коля, – и красивая какая».

Золотые волосы спелой волной падали вдоль лица на спину, темные, теплые глаза были мечтательно прикрыты и белая, алебастровая шея тихо покачивалась в такт мелодии, которую она самозабвенно мурлыкала. «Ну, дела, – подумал Колька, – да она как маманька».

Ты не старуха? – удивился мальчик.

Очухался, – обрадовалась Клениха, – нет, мы с твоей маманькой ровесницы, только она замуж за этого вахлака пошла, погналась за богатством, вот и мается. Хорошо если не прибьет, а то так и норовит руки распустить. Спи, золотко моё.

– А как там маманька, не помрёт?

– Не помрёт твоя маманька. Надо было Соньку с собой забрать, оплошала я, теперь хлопот не оберёшься, оживляя.

– А она что, померла? – испуганно поинтересовался мальчик.

– Ну, это как посмотреть, – значительно произнесла Клениха. – Если слева направо, то мертвенькая, а наоборот – живее живого.

Коля уже знал, что существует право и лево, и даже знал, какая рука у него правая.

А как это? – все же переспросил он. Очень ему вдруг захотелось, чтобы было наоборот.- Давай посмотрим, вдруг живая.

– Ладно, поднимайся, ты все-таки их брат, тебе легче будет справиться.

Коля мигом поднялся и побежал, на ходу удивляясь, как это Клениха идёт по росной траве, не замачивая ног.

Оказались они на болоте. Подойдя к тому месту, где мертвые деревца сиротливо торчали из редких кочек, они опустили на колени у небольшого бочажка, и вдруг Коля почувствовал, что между ним и ближайшим деревцем возникло незримое препятствие, как будто воздух сгустился и затвердел. В свете луны увидел он другого мальчика, сидящего напротив, а рядом трех маленьких девочек, обнявших его за шею. Самая крохотная была голенькой, и серьезно ковыряла в носу.

Кто это там? – испугался Коля.

Да ты, не бойся, это конец света и начало нового. Это место встреч. Когда про него узнают, тут будет столпотворение. Это я его открыла. – Горделиво призналась Клениха, – теперь и ты знаешь, а раньше только твоя маманька.

Кто это там?

Да ты, с сестрами.

А что я там делаю?

Навещаешь их. Им там скучно.

И маманька навещает?

Ну да, она там, в общем-то, и живёт. Там родить нельзя, вот она сюда и

ходит. Родит и туда их, там и роют. А здесь похоронит. Ее девки не для нашего мира, а ты – для нашего. Вот и придётся тебе бегать туда-сюда. Когда помрешь, пойдешь к ним. А пока устраивайся. Все мы здесь временно. Хоть род людской и рассчитан на 600 лет, мы как птенцы перед бурей. Сминает нас ураган жизни, а кого минует, тот в потоке погибнет, или сгорит в жарком столбе, а если предохранится от этих бед, сам себя человек сомнет, или от обжорства или от пьянства, а то от зависти или злобы, словом от внутренних болезней. Ладно, не плач, что я на мальчика накинулась, хотя вот, объяснила тебе, и самой легче стало. Я ведь тоже оттуда, да и мать твоя тоже. Там мы в родстве близком, а по эту сторону у каждой из нас своя задача. Твоя мать рожать должна, а я – лечить. Хотя с каждым разом все труднее мне справляться. Раньше хотели порешить, так как считали, что я коров силы лишаю, теперь, что деток твоей матери уморила, чудно. Здесь совсем не понимают, что такое жизнь. Каждый её знает на свой манер.

Так за разговорами проходило у них время. Виделся он с сестренками, и даже успел с ними сдружиться. Играя и тетешкая маленькую, он с удивлением следил за метаморфозами, с ней происходящими. Приводили ее на берег сестры, а если он хотел пойти с ними, в их мир, старшая каким-то образом лишала его возможности двигаться, и они убегали, смеясь. Маленькая тоже бежала следом, хотя по всем земным законам она должна была еще лежать в колыбельке и пускать пузыри.

Вдруг, в один прекрасный день они привели с собой мать. Коля кинулся ей на шею, и мать была с ним нежна. «Значит, перешла мать, надо к отцу возвращаться» – рассудил Коля, да и мать настоятельно просила его об этом.

Отец отходил его вожжами за столь долгое отсутствие, но потом прижал к себе и замер, вбирая запах детских волос.

С дедом в это время Коля очень подружился. Дед его и азбуке учил и молитвам, а иногда, приподнимая рубашку, разглядывал диковинные знаки на детском тельце и печально качал головой. «Не для нашего мира, как мать твоя. Говорил я отцу, нельзя было брать ее за собой, не послушал. Надо было простую, как Тонька у Никитича, а то без роду, без племени, нашёл ее на болоте и сразу в дом, женюсь, прости Господи. А она может нежить? Как Клениха, ее подруга, тфу, доброго слова не стоит, а туда же, лечить берется». Коля молчал и чувствовал себя виноватым.

Через некоторое время отец взял овдовевшую работающую Тоньку с двумя мальцами. Дед, когда садились за стол, накладывал им с добавкой, и ласково говорил, обращаясь к Коле. «Помощники тебе вырастут, ты их береги». Потом деда парализовало. Врача не было, а от услуг

Кленихи дед категорически отказался, как ни плакал отец и ни просил Коля...

Коля переселился к Кленихе окончательно, после того, как сгинули увезённые в неизвестном направлении его родные, а поскольку арест происходил у Кольки на глазах, он хоть и делал у Кленихи всю мужскую работу, заготавливал дрова, косил, чинил избу, но был угрюм и стал заговариваться. Два раза посещала его падучая, и Кленихе пришлось долго его лечить, пока Коля встал на ноги. В эти тяжелые дни от него не отходила мать, она зажимала руками его вихрастую голову и уговаривала потерпеть.

Время шло. И однажды сестры привели к нему чужую девочку. Коле она не понравилась, но Клениха обрадовалась ее появлению. Она с гордостью шепнула Коле: «Это для тебя». «Для меня значит для меня» – обречённо подумал Коля, начинающий постепенно привыкать к сложным законам этого непростого места.

Он был младше девочки и отношения их складывались непросто. Но в один прекрасный момент его сердечная боль начала таять и он почувствовал к ней такую нежность, которая как лампада высветила прелесть этого уединённого места: чахлах перелесков и клюквенных кочек на болоте.

А когда Коле исполнилось тринадцать лет, его подруга уже ждала ребенка. Особенно радовалась мать. Она с гордостью толкала локтем Клениху и смущенного Колю, и через положенное время около дома Кленихи появилась свежая могилка. Коля поставил на ней крест, убрал цветами, а летом, когда дочка немного подросла, она полюбила играть на своей могилке, украшая ее лилиями и кувшинками.

Жизнь текла ровно и предсказуемо.

Иногда мать приносила Коле со своей стороны разные интересные вещи, вроде вечного огня или нити для отпугивания лисиц, но долго держать их на этой стороне было нельзя, и Коля с сожалением должен был с ними расставаться. Единственно, что позволено было оставить – хитон, который можно было носить в самые зверские холода.

Но в один прекрасный день на поляну ввалился отряд бойцов. Оказывается, в Колином мире уже больше года шла война. Когда командир увидел пастораль Колиной жизни, он потерял дар речи. Первый порыв у него был – расстрелять. Потом нестареющая Клениха обласкала командира, накормила бойцов, подлечила гангрену у старшего сержанта, вынула пулю из живота у лейтенанта, подула на раны и мозоли, заживляя их, а Коля наловил им рыбы и тетеревов, поэтому расстались они лучшими друзьями.

После их ухода пропала Клениха, и когда Коля вошел в избушку, он обнаружил там полный разгром. Травы были рассыпаны по полу, и было

видно, что Клениху волоком вытаскивали из хаты. Перевернутый стол валялся около двери, где ему никак не полагалось быть, скамья была сломана и выброшена за порог, а половик, который Клениха вязала всю зиму, вообще исчез.

«Похитили, украли – в панике подумал Коля. – Что делать? В погоню» – решил он. Прихватив дубину, он вначале кинулся к барьеру, чтобы предупредить мать и спросить у нее совета. Но, отодвинув поваленные деревья, он увидел семью в полном составе. Там был отец и дед, молодой и на своих ногах, мать с сёстрами. Вдруг он увидел, как сзади легкой тенью скользит знакомая фигура с распущенными золотыми волосами. «Значит, перешла» – совсем не удивился Коля. Теперь они все там.

Он подошел, обнял отца, поклонился деду. Дед выглядел живее живого. От парализованного старца осталась только шаркающая походка, но и она была незаметна, так как дед скользил по траве, не склонив травинку, и над водой, не оставляя следов. Дед рассказал Коле, как их убили. Подвода привезла их в райцентр, на главную площадь перед почтой. Тех, кто не мог идти, – свалили на одну подводу и, завезя в овраг, расстреляли. Тех, кто мог ходить, погнали до станции, а потом загрузили в закрытые вагоны и повезли. Отец умер в дороге. Сейчас он надеялся на встречу с Тоней. Коля, стесняясь, спросил у матери, как она относится ко второй отцовской жене. Мать засмеялась и дала Коле подзатыльник. «Здесь совсем все другое, – произнесла она задумчиво, – отношения скорее братские, вся любовь осталась там. – Она махнула рукой в сторону деревни. – Почему мы беременеем у вас? Нет там возможности такой, впрочем, сам скоро увидишь. Что человеческий век? Комариный нос».

Так вопрос оказался исчерпанным.

Но примерно через месяц, поздним вечером, из-за барьера раздались крики и на поляну стали вываливаться толпы народа.

Коля, расставив руки, бегал по кочкам, пытаясь остановить наплыв, но на пятнадцатом человеке отошел в сторону и удрученно сел на поваленное дерево. Пробившаяся к нему мать рассказала, что весть о коридоре просочилась, и сюда двигаются толпы. Люди, слепо шурясь, подходили к Коле, ощупывали его лицо и разочарованно отходили. Когда поняли, что он представляет живых в единственном числе, начали выкрикивать просьбы оповестить родных. Вначале Коля записывал имена и адреса. Тех, кто говорил на другом языке, он отталкивал, злясь и нервничая. Потом, исписав несколько листов бумаги, плюнул и отошел в сторону. Около болотца от стены, разделяющие два мира, мертвые могли рассчитывать на три метра пространства, дальше для них хода не было. Только Колина жена да мать могли удаляться от этого места на километр. Поэтому на маленьком

пространстве кружились и размахивали руками до 50 человек, а толпа все росла и росла.

Тут, в основном, были военные: рядовые и постарше в звании, и много обнаженных детских и женских фигур с освещенными полной луной синими лицами – это из лагерей, объяснил ему отец.

Все они просили, требовали, взывали к милосердию и совести Коли, а он, растерянный, сидел на поваленном дереве и чуть не плакал от бессилия, не понимая, что те от него хотят. Подошедший дед долго молчал, наблюдая, потом покачал головой и объяснил Коле, что происходит. «Нашли-таки они проход, как уж это получилось, и кто не доглядел, это не наше дело, а теперь они все думают, что ты, – дед погладил Колю по плечу, – хранитель прохода, вот и просятся назад».

Подошла мать и села рядом, успокаивая и утешая. Она объяснила ему, что он ничем не может им помочь, разве только сообщить родным, где они похоронены, чтобы те смогли когда-нибудь приехать к ним на могилку. Коля повздыхал и смирился. Ночью, сделав набег на почту и запасаясь карандашами и бумагой, он утром обречено пришел к барьеру и скомандовал «Все в очередь». И начал писать письма. Каждое письмо занимало у него, непривычного, по несколько часов, очередь не иссякала. Он плакал от бессилия и усталости, он в гневе ломал карандаши и рвал бумагу, он кричал и зашвыривал письма под деревья, он перестал есть и спать, а очередь не иссякала. Мать и жена собирали ему ягоды, поили молоком, растирали руки, а потом ему взялся помогать генерал. Он диктовал ему слова по буквам, которые Коля записывал вкривь и вкось на пожелтевших страницах, и дело пошло.

В письмах были приветы, последние рвущие душу слова прощания, давались ориентиры могил. Генерал – военная жилка, бывший смершовец, до последнего наводил цензуру, но когда Коля, почувствовав, что люди от этого очень страдают, попробовал отказаться от его услуг, генерал заплакал и продиктовал Коле свое письмо, уже не обращая внимания на пресловутую секретность.

Поток стал иссякать на пятом месяце. То ли еще обнаружили барьеры, то ли мертвые блюли договоренность не распространяться по поводу Коли.

Когда последние мертвые исчезли, и он смог, наконец, обнять своих деток, поцеловать жену и мать, вышла Клениха и они устроили военный совет.

Для того чтобы разослать все письма, нужно было переселиться в город и несколько лет заниматься только ими. Что же делать, посетовали родные, придется переход временно закрыть, чтобы у мертвых не было больше соблазна, а Коля пусть исполняет свой долг.

Коля показал деду и не покидавшему их генералу сверточек с золотыми монетами, генерал одобрил план и Коля, приодевшись, отправился в Москву. Деньги он разделил на несколько частей, одну из которых спрятал в прихотливую палку, сделанную в незапамятные времена деду приятелем Кузьмой. Коля выглядел колоритно – типичным деревенским ходок, которых тогда много было в Москве. Ранняя седина и длинная борода делали его похожим на попа-расстригу. Придумали ему легенду, по которой шел божий человек из монастыря и попал в окружение, что было обычным делом. От себя генерал написал письмо, что Коля доблестно сражался, когда дивизия прорывалась из окружения, что генерал видел Колины документы и подтверждает их подлинность, а то, что их в данный момент нет в наличии, так то война, все бывает.

Несет он письма бойцов, попавших в окружение, все цензурой проверено, нужно их отправить. А Колю за геройские дела представить к награде, не меньше ордена Ленина. Просьба выправить паспорт и помочь устроиться в Москве.

Колю, как ни странно, пропустили патрули, ни у кого он не вызвал недоверия, и вот уже он в Москве. Побродив по городу, зашел в баню, в парикмахерскую. Банщик попался ушлый, помог обменять золотой и устроил его на постой к своему родственнику. Деревню Коли немцы не занимали, а то, что он был из семьи раскулаченного, так много воды утекло, тем более по характеристикам выходило, что он комсомолец и активист.

Карты Москвы было тогда не достать, Коля составил свою, благо границы были почти в пределах Садового кольца. Не на много шире.

И пошел Коля разносить свой печальный привет. Принимали его хорошо, угощали, если было чем, и все верили его рассказам, как нашел он чемодан с письмами на месте свернутого госпиталя, и не позволила ему совесть бросить этот чемодан.

Прошел год. Московские письма были разнесены, иногородние отправлены по почте. Коля поправился, оброс вещами, регулярно ходил в баню и парикмахерскую. За Колей стала ухаживать вдова старшего лейтенанта, от которого Коля привез ей последнюю весточку. Коля не особенно сопротивлялся. Вдова была женщина богатая, работала зав. столовой, имела свою жилплощадь. А домой не хотелось. Свыкся Коля с сытой и лёгкой городской жизнью, решил, что от добра добра не ищут, так и скоротал с ней зиму.

А летом выяснилось, что баба брюхата и к зиме родила. Как водится, Коля похоронил дочку. Следующим летом Коля вдруг затосковал, тем более что стали приходить ему письма с пометкой адресат выбыл. Таких оказалось больше сотни и Коля, поцеловав жену, отправился развозить их сам.

Три года ушло на бесконечные поездки. Денежки в посохе таяли, Коля начал стареть и болеть, и однажды, зимой, стало ему так худо, что в одной из сибирских деревень пришлось ему слечь.

Пользовала его местная знахарка. Придя в избу, где он был на постое, чтобы поставить кринку на живот, она вдруг закрестилась и с криком «меченый-меченый» выскочила из избы. Когда Коля снова открыл глаза, рядом сидела мать и ничуть не изменившаяся Клениха. Его завертели, защекотали, Коля хрипло засмеялся и понял, что вот оно счастье, – рядом. Мать, склонившись, шептала: «Нашла, слава Богу, а тут дочка твоя к нам прибилась, теперь с тобой познакомится, вот счастье, опять мы вместе, дед стосковался, ждет». «Мама, у меня дедовы монетки еще остались, я их осторожно тратил. А как вы меня разыскали?» «Ты меченый, и таких, как ты, – мало. Очень у тебя судьба сложная, связывать два мира. Тут недалеко тоже проход образовался. Народ ждет. За те письма тебе очень благодарны. Тебя любят и ценят. Помучайся здесь ещё немного. Зато там у тебя будет другая жизнь, апостольская. Ведь не всякий апостол столько перестрадал за народ, сколько ты». «Мам, но ведь война то кончилась, не могу я больше так жить, я ведь старый, тяжело мне». «Крепись, деточка. Встанешь, пойдем к здешнему барьеру. Теперь много катастроф, люди умирают внезапно, как живым то это пережить? Потрудись еще, деточка, а потом мы заберем тебя с собой. Больше то никто не может это сделать. Но у тебя есть край, пока хоть один дедов золотой в палке бренчит – значит нужно идти».

Коля заплакал и открыл палку. Там он насчитал еще с десяток. Поднявшись через силу, он пошел к барьеру, сопровождаемый матерью и Кленихой. Но по дороге у него возникло сильное искушение. Он вытащил из палки золотые и, размахнувшись, кинул их в реку. Кинул и испытал облегчение. Все. Теперь он свободен. Какое счастье, вернется в Москву и заживет с вдовушкой. Пойдет работать и может, наконец, родит мальчишку. Представляя себе все это, он, не останавливаясь и не замечая ничего вокруг, шел к барьеру. Когда до него оставалось несколько шагов, он услышал знакомый гомон и первого увидел деда. Дед стоял, задумчиво глядя на него, и молчал. Выцветшие глаза, изуродованные работой руки, вдруг пробудили в Коле такое чувство вины, что он охнул, присел и кинулся к месту, где так дерзко бросил дедово наследство. Подбегая к реке, он вдруг увидел своих сестер, повзрослевших и похорошевших, которые, ныряя, доставали со дна монеты и передавали их двум его дочкам. Дочки тоже выглядели взрослыми. Он подошел, обнял их, забрал монетки, которые еще хранили их тепло, пересчитал, сложил в трость, и, глубоко вздохнув, пошел к барьеру.

Так вот, когда проезжающие по деревне бросают дружелюбные взгляды на старика, они не предполагают, какую роль сыграет тот в их случайной смерти, они не знают, что в трости еще звенят два золотых и пока они целы, жизнь Николая будет подчинена определенному ритму. Но у него уже есть помощник. Родил-таки Коля мальчика, которому тоже уготовано это непростое дело. И вот уже маленький Коля бежит вместо отца на болото, а Коля большой днем пишет письма, которые ему диктует малыш, а летом в 20 часов и зимой в 17, мимо дома проходит незаметная старушка, которая эти письма забирает. И уже целая организация, которая все множится и множится, разносит их по адресам.

Так что надейтесь и ждите. Однажды дойдет очередь и до вас.

Илья Китуп

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ШЕСТИ КНИЖЕК

* * *

Кто-то песню спел,
Кто-то почитал,
А я посмотрел,
Да и записал.

ЛОЖЬ И ОБМАН

Все вокруг обман.
И повсюду ложь,
Что же ты, болван,
Это не поймешь?

* * *

Сцилла и Харибда
Предпочитают либидо.
А какую тематику
Вы предложите, Катенька?

* * *

Осины плакали навзрыд,
Трясучи ветками своими.
Прошли те времена, увы!
Когда мы были молодыми.

Давно отщелкнули года
На счетах тусклые костяшки,

И пятна будут промокать
Уже иные промокашки...

20 СОЛДАТ

20 солдат
Мне говорят:
– Не иди вперед,
Иди назад.

Не иду вперед,
Иду назад.
Это не шутка –
20 солдат.

ОНА

Я смотрю в окно.
Вижу из окна.
Ну а что она?
Ей-то все равно.

* * *

Лишних слов не кидай,
Ты их береги.
А не то – Кустанай
И ни зги...

БРАТ

У меня есть брат.
Ходит в детский сад.
А потом помрет.
Вот и жизнь пройдет

* * *

На приступке стоит пулемет,
А на полке стоит Дюрренмат.
Вспоминается Петроград.
918-й год.

* * *

О чувстве любви я хотел рассказать тебе, Да.
О чувстве любви, Да.
Хотел рассказать тебе, Да.
А после подумал: Зачем говорить тебе? Да.
Ты ласковым словом хотя бы меня назови.

Но не назовешь меня ласковым словом ты, Нет.
Меня не обнимешь и не поцелуешь ты, Нет.
Но все же рискну, это мне не составит труда.
О чувстве любви я хочу рассказать тебе, Да.

МАРТИН БОРМАН

Кукуруза – овощ к морозу нестойкий.
Вот и культ личности разоблачили.
А я лежу себе в фазенде на койке
В далекой, манящей, хранящей Бразилии.

* * *

Бутерброд с колбасой –
Не последнее дело.
Села.
Поела.
И пошла опять,
Новый покупать.

* * *

– Ты откуда, сынок?
– Из города Торжок.

– И у вас там как?
– Да как-то так...

ГОЛЕМ

Я сплю и вижу
Страшный сон,
как по Парижу
Идет он.

Чернеет ночь,
Сапог гремит.
О! Ужасающий
На вид!..

...Проснулся с дрожью,
Весь в поту.
Взглянул в окно –
А он и тут.

* * *

Мне надоело думать о судьбах России.
Это – как дали конфету – и соси ее.
Россия – это не леденец,
А то иссохнут вконец.

* * *

– Что есть любовь?
– Это округлый предмет.
Других объяснений нет.

* * *

– Кто ты?
– Друг.
– А я?
– Враг.
– Почему так вдруг?
– А зачем ты так?

* * *

– Что есть жизнь?
– Сплошная мука.
Это как ждешь
Страшного стука.
И вот – стук
В дверь.
Смотри
Теперь.

ТРИ МАЛЮТКИ

Жили-были
Три малютки,
То ли кошки,
То ли утки.

Жили тихо,
Спали мало
И питались
Как попало.

Вышли в поле
И пропали.
Вы их где-нибудь
Видали?

* * *

Гаснет ночь.
Приходит утро.
Под кроватью
Камасутра.

Где-то звякнуло
Корыто.
Это не
Бхагавадгита?

А корыто –
Дзынь да дзынь,
Видно, – дедушка
И-Цзин.

Изменить бы
Что-то надо.
Где моя
Упанишада?

* * *

Мама мыла раму
Маргарином «Рама».
Вот: потрогайте окно.
Стало склизкое оно.

* * *

Консервы, сосиски, пельмени,
Мороженный птах –
Все это у нас в холодильнике
Густо напихано.

Чего у нас нету?
Смиренья, терпимости, мудрости.
Вот этого нет.
И, похоже, уже не предвидится.

СТИХИ ИЗ КНИЖКИ «ТАЛАНТЫ»

Я коренной москвич.
Мой дедушка – старый хрыч,
На Пасху жую кулич,
На стенке висит Ильич.

По утрам меня будят куранты,
По праздникам хожу с красным бантом,
В отличие от музыкантов
Нет у меня никаких пуантов.

У меня смена ночная,
Фабрика номерная,
Нагрузка у нас большая,
Зарплата – непонятно какая.

– Ну, я, короче,
Отпахал полночи,
Почти что смыкаю очи,
Но сейчас выпить не прочь бы.

Профессия моя – токаря,
Квалификация высокая,
Я акаю, а не окаю,
И грудь у меня широкая.

Леонид Усач

СЦЕНЫ ИЗ АКТЕРСКОЙ ЖИЗНИ

От советского информбюро

Его популярность была особой: поклонники не останавливали на улице, в магазинах не узнавали ни продавцы, ни покупатели. И не мудрено, потому что в ряду модных оперных певцов и знаменитых актеров кино того времени он не состоял, и должность, занимаемая им, означалась довольно скромно: диктор Всесоюзного радио. Вот потому-то в лицо его мало кто знал. Но имя и фамилия были известны всем тогдашним жителям огромного Советского Союза от мала до велика.

Да что говорить, его голос и умение по государственному официально изложить любое событие любил сам вождь, учитель и друг всех народов товарищ Сталин. Знающие люди рассказывали, что однажды на политбюро Сталин, как бы невзначай, произнес: «Я думаю, что все важные события должен гаварить товарищ Юрий Лэвитан». Этого было достаточно, чтобы Левитан стал правительственным, государственным, партийным диктором.

Подписывая Левитану очередной отпуск, руководство всенепременно согласовывало сроки с кем-нибудь из членов политбюро, так как голос его звучал в прямом эфире без всяких магнитофонных записей. О них тогда мало кто знал.

Короче говоря, диктор Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан являлся всесоюзной знаменитостью.

Однако, в жизни, в кругу друзей и знакомых он был прост, доступен, доброжелателен и, главное, очень общителен. Среди его знакомых были академики, урки, артисты, маршалы, дворники, писатели, врачи. Внешне он выглядел таким еврейским провизором или дантистом прошлого века. Среднего роста, сутулый, узкоплечий, в больших роговых очках, за которыми прятались карие глаза с грустной хитрецей. Чуть-чуть вытянутое лицо, губы дудочкой, как будто он собирался засвистеть или задуть свечу. Он любил компанию и, конечно, застолье. Сам, как говорится, был совсем не дурак выпить.

Я никогда не был его близким другом, но всегда мы были рады встрече. Главной причиной нашей взаимной симпатии была любовь к устному рассказу. Он любил рассказывать при полной тишине, медленно, бережно преподнося каждое слово, и, как большой художник, точно и ярко подавал детали. От него я услышал фразу, якобы сказанную каким-то мудрым евреем, которую потом люди повторяли за столом: «Давайте выпьем за то, чтобы не было лучше!». Это звучало очень понятно в те времена, когда по просьбе сормовских рабочих, для улучшения нашего благосостояния предлагалось «добровольно» подписываться на государственный заём в размере двух-трех окладов. Таких улучшений тогда придумывалось много.

Однажды, на берегу Черного моря в актерском Доме творчества, сидя за чисто оструганным столом, когда солнце уже готовилось провалиться за горизонт, Левитан «занял площадку». Прямо на пляже за столом со скромной закуской он рассказывал одну из своих невероятных историй. Мы, человек десять-двенадцать, зная рассказы Юрия Борисовича, старались не пропустить ни одного слова, ни одной интонации, ни одного жеста, ни одного вздоха или едва заметной улыбки.

– Дело, братцы, было в пятьдесят первом или, точнее, в пятьдесят втором. Где-то этак, думаю, осенью. Осенью. Всякие постановления ЦК, Совмина, сообщения ТАСС и других весьма самоуважаемых инстанций бывали чаще всего осенью. Летом разные члены наотдыхают и выплескивают постановления, а товарищ Левитан их обнародует по радио. Сталин любил, чтобы эти приговоры всему народу объявлял товарищ Левитан. Вот я и объявлял... Стоооп! Стоп! Стоп! Ведь она быстро греется братцы. Так нельзя. Давайте опрокинем рюмочки. Поехали. /Все выпивают. Закусывают./

– Продолжаю. Так вот, по давно заведенному порядку, у меня в шикарной пятикомнатной... /Пауза. Черноморская тюлька летит в рот./

– У меня в шикарной пятикомнатной...хм...хм... коммунальной квартире раздается телефонный звонок: «Будьте добры Юрия Борисовича». Очаровательный сосед-алкаш по имени Во-бля, очень похожее на французское Вубле, кричит: «Борисыч, это тебя с радива. Пойдешь ротом деньги зарабатывать». Во-бля вешал трубку на большой гвоздь рядом с телефоном. Если я был дома, то я, конечно, выбегал и брал трубку, а, если меня не было дома, то трубка висела еще часа два-три, пока кому-нибудь из соседей не надо было звонить.

Обычно я подходил, и милый голос нашего помрежа Кати говорил: «Юра, машина будет в половине пятого. Привет». И больше ни слова, чтобы враг, подслушав наш более подробный разговор, не мог догадаться, что если вызывают Левитана, то в шесть утра в «Последних известиях» будет что-нибудь угрожающее всему человечеству.

– Ой, опять нагрелась, миленькая, уже даже на ней розовый оттенок появился. /Рассматривает на просвет рюмку водки. Выпивает. В рот летит ломтик ветчины./

– Так, братцы, с чего я начал и чем закончил? Это у меня всегда так: после первой или второй рюмки память заклинивает, а после пятой наоборот, очень хорошо восстанавливается. Поэтому, други мои, не экономьте водочку. Поехали. /Выпиваем и молча закусываем./

– Вот видите, на четвертой всё вспомнил. Так вот, позвонила Катя, и я готовлюсь завтра в половине пятого утра ехать на радио, чтобы ровно в шесть, прошу учесть, в прямом эфире, оповестить мир о чем-нибудь новеньком. Ложусь спать пораньше, предварительно договорившись с товарищем Воблей о соблюдении полной тишины, чтобы я выспался и мог «ртом зарабатывать деньги». Я ему всегда говорил: «Чтобы тихо было, как утром в вытрезвителе». /В этот момент мимо нашего стола проходит, вернее проплывает пляжной походкой, прехорошенькая девушка лет двадцати. Левитан прерывает рассказ и долгим грустным взглядом сожаления провожает красотку./

– Хорошо идет, канашка. И походка импортная. Пляжная походка, друзья мои, - это если спереди смотреть, то получается, что, изогнув спину, она сильно выдвигает вперед нижнюю часть живота, рассекая тем самым встречный поток жаждущих мужиков. Я понятно объясняю технологию? А сзади все гораздо проще: одна ягодица со второй играют в «кошки-мышки». Понятно, да? Говорят, это на Гаити придумали. Не был на Гаити, поскольку не выездной. Извините, я отвлекся. Но объект-то стоит того... Кхе, кхе.

– Так вот, лег я спать часов в десять вечера, а в ноль часов пятнадцать минут со мной случился сердечный приступ. Бывали и раньше, но этот посильнее всех. Выступил пот, боль за грудиной, теряю сознание. Короче говоря, стучу в стенку соседке. Она вызывает скорую. Определяют обширный инфаркт и, пошептавшись, объявляют приговор: немедленно в больницу. Мы, говорят, вас, товарищ Левитан, в шикарную клинику забросим. Там эти инфаркты вылечивают на раз, особенно если больной по дороге не закончит «путь в высшее общество».

И вот тут, соотечественники вы мои, во мне проснулся гражданин с большой буквы, истинный, знаете ли, патриот. Я говорю: «Что вы, что вы! Мне в шесть утра «Последние известия» читать нашему народу!». Они говорят: «Какой там в шесть утра! Дай Бог вам за шесть месяцев оклематься!». Тут я снова сознание потерял. Очнулся уже в больничной палате, как выяснилось потом, на семнадцать койко-мест. Глянул на часы и обмер! У меня внутри даже что-то опустилось. На часах один час ночи. Начинаю кричать, – бесполезно. Никто не идет. Только больные проснулись и объясняют мне, каким образом я появился на свет Божий и кто моя мама...

А я кричу! Прибегают, наконец, врач и медсестры. Строгим голосом заявляю: «Быстро отдайте мне одежду и везите на радио на площадь Пушкина, в Путинки». Между прочим, этот дом до сих пор стоит на задах здания бывшего АПН. В квартире, где сам Сергей Рахманинов играл на своем пианино «Блютнере», как раз устроили радиостудию. Такая, понимаете, у них получилась миниатюрная душегубочка для дикторов: окна замурованы, стены обиты войлоком и дерматином и никакой вентиляции. Наша очаровательная, знаменитая дикторша Оля Высоцкая два раза там падала в обморок. Читала, читала, а потом губками чмокнула, и в эфире тишина и, как говорится, полный покой. Прибежал дежурный диктор и объявил: «Товарищи радиослушатели, вторую часть нашей передачи слушайте через несколько минут». Извините, я отвлекся...

/Левитан замолкает, вынимает из кожаной сумки сверточек, разворачивает его и, подняв над головой, произносит своим государственным бархатным баритоном одно слово: Рокфор! Снова наливаем, выпиваем и закусываем лежащим в центре стола рокфором./

– Хочу сказать, друзья мои, что вы сейчас едите настоящий правительственный рокфор. Даже сам Никита Сергеевич ест этот рокфор. Не переносит запах, но ест. Я думаю для престижа... О чем это я? Ах, да, помню. В больнице я уже успел продумать, что будет, если не я прочту утренние «Последние известия». Это же смерть, и без всякого инфаркта. Наш дорогой и любимый вождь раз и навсегда приказал, чтобы все важные сообщения читал только Левитан. Вот и прикиньте ситуацию. Отец родной включает радио, - он всегда включал в шесть утра, - а Постановление ЦК читает не еврей Левитан, а русский, скажем, Лагунов. Сталин нажимает кнопку и через секунду кошачьей походкой появляется Поскребышев:

– Слушаю, товарищ Сталин.

– А пачему нэ Лэвитан гаварит па радио?

– Он болеет, товарищ Сталин.

– Нам нэ нужны бальные диктори. И руководитэли, у которых в ответственный момэнт болеют диктори. В нашей странэ нэзамэнимих людэй нэт.

– Понял, товарищ Сталин. Будет сделано.

Дальше все по известному сталинскому этикету: обыск, арест, камера, допросы со средневековыми тонкостями и я, как интеллигентный человек, чистосердечно, от всей души признаюсь, что занимался шпионской деятельностью в пользу разведки... острова Борнео. /Пауза. Левитан внимательно рассматривает окружающий пейзаж. Вдыхает. Улыбка хитрая. Взгляд лукавый./

– Нет, братцы, не могу больше. Устал. Завтра доскажу. История замечательная. Завтра, завтра, братцы. Устал!

Об этом левитановском приеме было известно в актерском кругу, и поэтому сразу же началась атака нашей братии.

– Доскажи, Юра, не порть песню.

– Ты что? Мы теперь ночь спать не будем...

– Мы тебе сегодня такое «завтра» устроим...

Зная этот прием Левитана, друзья делали ответный ход, действовавший безотказно.

– Люди, не шумите, - говорит народный артист Всеволод Якут, - не кричите. Юра устал и пусть себе отдохнет. Иди, иди, Юра. Я доскажу им эту историю. Рассказ хороший. Доскажу, не хуже тебя. Я длинный монолог Пушкина в третьем акте двадцать минут толкаю, а уж эту историю доскажу запросто.

Тут происходит что-то невероятное. Левитан закрывает лицо руками и, очень хорошо играя, начинает рыдать, вытирать слезы. Он обращается к пляжным прохожим, жалуясь на то, что его обокрали, ограбили, забрали самое дорогое. Делалось это актерски великолепно, демонстрировался недюжинный талант Юрия Борисовича. Незнакомые люди останавливались, сочувственно вздыхали, давали советы, а на другой день по всему черноморскому побережью пересказывалась новость: «Вчера ночью Левитана ограбили. Одних бриллиантов на сто тысяч взяли». После «рыданий», промокнув слезы платком, Левитан продолжил свой рассказ.

– Через сорок минут приехали в больницу главный редактор «Последних известий» и, сам лично, первый зампреда Всесоюзного радио. Стали умолять врачей, чтобы отпустили меня хоть на один час, что через час, секунда в секунду, я буду доставлен в больницу. Они понимали, что мое отсутствие в прямом эфире – это ЧП, и им не сносить головы. – Всем тюрьма! Ведь это же Сталин! – Но врачи нашли железную отговорку: «Пожалуйста, берите, но мы квалифицированно заявляем, что вы его до площади Пушкина не довезете. Он не транспортабелен. Он периодически теряет сознание. Мы его держим на капельнице и уколах».

Руководство уехало в два часа тридцать минут. Я снова заснул. Проснулся точно в пять часов пятьдесят пять минут. Условный рефлекс, по Павлову. Именно в это время много лет я входил в студию, плотно закрывал дверь и был готов к прямому эфиру. Полусонный, шепотом попросил одного больного включить большую, висевшую в простенке между окон черную радиоточку общего пользования. Он назвал меня, кажется, судакком, но встал и воткнул штепсель в розетку.

Ровно за тридцать секунд до шести часов я услышал, как включили эфир. Потом пошел гимн «Союз нерушимый республик свободных...» Мое инфарктное сердце застучало так же, как оно стучало в это время суток, много лет. /Пауза. Левитан эффектно играет раздумье./

– Друзья мои, из гуманных соображений прошу сильно нервных покинуть нашу компанию. Ну, что вы сидите? Мы же все психи... Ага... Тогда пойдем дальше. Как всегда после гимна, я выходил в эфир. Но сегодня! Боже мой! Кто-то другой выйдет. Из всех органов сейчас у меня работает только слух. Он, бедняга, готов был первым принять страшный удар. Я весь съезжился и жду. Сердце остановилось...

И вдруг... Кстати, я просил нервных удалиться... И вдруг я слышу, как я, да, да, я собственной персоной, читаю Постановление ЦК по сельскому хозяйству! Не кто-нибудь, а я! С ума можно сойти. Или я уже сошел? Сомнений нет, – это я читаю. Все моё: и тембр, и интонации, и паузы, и даже вдох мой. Снова вслушиваюсь и слышу ясно, что это я. Я! Я! Я! Текст же новый, раньше мною не читанный. Эфир-то прямой... А раз так, соображаю, что, кроме инфаркта, у меня, простите великодушно, и тихое помешательство. Нет сомнения – это я читаю Постановление ЦК. Да так лихо, черт возьми... Значит, я сдвинулся, и у меня слуховые галлюцинации.

Слушаю себя и постепенно успокаиваюсь. Даже что-то напеваю. А почему не петь? Я же в полном порядке: товарищу Сталину доложат, что Левитан сильно свихнулся и находится, где и полагается ему находиться, то есть в психушке имени самого профессора Сербского. Вот такой, очень легко мыслящий, я заснул. /Левитан умолкает, застегивает пряжку сумки, кладет очки в футляр./

– Так, коллеги мои, закончилась эта история. Всё! Давайте выпьем за мое здоровье и спать в номера. Всё!

В этот раз слушатели зашумели очень грозно:

– Ты, что с ума сошел? Говори, чем кончилось.

– Юра, мы тебя будем бить ватным матрацем! – Это голос народного артиста, уникального актера Николая Олимпиевича Гриценко.

Сообразив, что эти знаменитые артисты очень просто могут побить, Левитан продолжает:

– Значит, угрожаете физической расправой? Это мне-то, вашему любимому диктору, сталинскому протезу? Тогда еще рюмочку для храбрости перед разбушевавшейся толпой. /Левитан пьет и медленно закусывает. Мы тихо ждем./

– Пошел, как говорят музыканты, на код. Делаю важное заявление!

/Левитан преображается. Из обыкновенного отдыхающего в тренировочных трикотажных штанах, бывших когда-то синими, с неприкрытым хилым торсом и узкими плечами – в подтянутого дипломата со строгим взглядом и гордо поднятой головой. Весь как струна. Чертовски хорош./

– Внимание! Внимание! Говорит Москва. Прослушайте дополнение к Постановлению ЦК, Совмина, ЦК профсоюзов о борьбе с пьянством и алко-

голизмом. Параграф II, пункт Г. В порядке исключения, исходя из потребности творческих работников в постоянном общении, и для стимулирования создания новых выдающихся произведений социалистического реализма, а также для естественных преград на пути проникновения бездарностей и отщепенцев в наше искусство, разрешить деятелям культуры потребление спиртных напитков в неограниченном количестве! Текст читал Юрий Левитан. /Снова пауза. Левитан выходит из образа всесоюзного диктора./

– Вот так, милостивые государи, заботится о нас с вами наше родное правительство. Обо мне-то уж точно. Если б не одна такая актерская вечеринка, не был бы сегодня здесь милейший Юра Левитан. Тут такое дело. На одном сильно творческом сборище, вроде, как у нас сегодня, когда все уже высказались и сильно захмелели, часов этак в пять утра дали слово вымолвить, так сказать, младшему товарищу, совсем еще молоденькому, только что окончившему театральный институт. Такой стройненький, смазливенький, может быть даже не еврей. Не зря, конечно, корифеи ему дали слово. Было известно в актерских кругах, что вот этот, самый начинающий, делает пародии, гениально показывает популярных артистов. Лучше всего у него получались мои друзья Боря Ливанов, Вася Меркурьев, Борис Андреев, Петенька Алейников и, конечно, я.

Так вот, когда в ту ночь я подоспел с моим инфарктом, на радио объявили аврал. Всех, у кого был домашний телефон, срочно вызвали в редакцию. А как же, – нарушаем приказ родного вождя. Перекрывая общий шум, кто-то сказал: «Есть один паренек, который здорово пародирует Юру. Не отличишь. Один в один». На него сперва зашикали, а потом стали думать, как найти этого молодого актера. Другого-то выхода нет. Ночью обратились, как говорится, «куда следует». Описали только внешность пародиста. Фамилию и имя никто не знал. Но, слава нашим доблестным чекистам, – через тридцать пять минут, в четыре часа утра привезли на радио перепуганного насмерть молодого человека, дали текст постановления, заперли на ключ в дикторской, и через сорок минут он, бледный, со включенными волосами и испуганными глазами, попросил послушать, как он читает. Сразу повели его в студию, и оттуда в микрофон он прочел постановление, черт возьми, моим голосом. Собравшиеся в микшерской минуту молчали, а потом зааплодировали. У некоторых женщин появились искренние слезы... /Левитан умолк и мне показалось, что он смахнул слезу./

– Теперь все, братцы. Могу добавить, что в больнице мы познакомились с моим дублером и я, – если поверите, в чем я очень сомневаюсь, – подарил ему золотую печатку с гравировкой «За спасение диктора. Юрий Левитан». Вижу, что не поверили. Поэтому милостиво попрошу встать моего спасителя. Гена, встань, дружище!

Все обернулись и увидели картинно отвешивающего поклоны, смеющегося нашего общего приятеля, теперь уже всем известного, популярного пародиста Геннадия Дудника, родоначальника жанра актерской пародии на советской эстраде. Ему долго аплодировали.

Ленинцы

Выступление на правительственной даче члена Политбюро или Генерального секретаря в «милые» времена застоя было для артиста напряжением всех сил и стоило немало здоровья. А сколько страха, сколько унижения... Судите сами. Месяца за 2–3 в разных инстанциях Министерства культуры начиналось составление и утверждение списка артистов, которые будут выступать в правительственном концерте. Список кандидатур неспешно обсуждался в тихих кабинетах и, наконец, подписывался каким-нибудь высоким руководителем данного ведомства. Потом список попадал в городской или областной комитет партии. Там список утверждался. А дальше шла проверка репертуара. Так сказать, с точки зрения партийной идеологии.

Когда же бывал пройден и этот этап, все материалы с улицы Куйбышева (ныне Ильинка) переезжали на Лубянку. Здесь шла проверка текстов, музыки, а также самих авторов этих произведений и исполнителей. Я знаю случай, когда зоркие очи проглядели, что автор стихов популярной песенки эмигрировал. За этот «вопиющий» случай получил взыскание и понижение в должности немолодой генерал.

Но самая основная проверка в этой предпоследней инстанции была проверка анкетная. Здесь проверяли всю подноготную артиста, как говорится, до девятого колена. Проверяли одного и того же артиста по несколько раз. У меня были сложности в начале моей карьеры, когда вдруг выяснилось, что мой отец «враг народа», якобы работавший на разведку княжества Монако. Отец давно был реабилитирован посмертно, но еще долго вызывал сомнения у бдительных служб.

Так вот, когда все и вся проверено, бывал инструктаж, как вести себя на даче: что говорить, что не говорить, куда можно идти, куда нельзя, куда смотреть, куда ни в коем случае... Запретов было так много, что мы, бывалые, в этой обстановке просто подходили к нашим сопровождающим в штатском, которых мы уже знали в лицо и по именам, и говорили, скажем, так: «Толя, проводи меня помочиться» или «Как бы водички попить?» Хочу особо отметить, что была еще одна упреждающая акция. За сутки до концерта у артистов забирали и увозили концертные костюмы (пиджак, брюки, рубашку,

галстук, обувь). В недоумении я однажды спросил: «Зачем это делается?» Ответ был прям и логичен: «Чтобы вы на Дачу правительства не привозили тараканов, клопов и других насекомых...» Костюмы, видимо, дезинфицировали. Короче говоря, унижительная подготовка к концерту шла несколько месяцев, и когда, наконец, наступало время выступления, уже не хотелось ничего делать, – все перегорало во время угрожающих проверок.

Но вот вопрос, что давали эти концерты самим артистам? Зачем нужна была вся эта канитель? Почему стремились выступить в правительственном концерте? Великолепный эстрадный фельетонист, собиратель уникальной коллекции старинных книг Николай Павлович Смирнов-Сокольский однажды отказался выступать в таком концерте. Его спросили, почему? Смирнов-Сокольский ответил: «Прибавиться от этого концерта, – мне ничего не прибавится, а убавиться потом может».

В чем же тут дело? А все очень просто. Все эти инстанции, угрожающие, проверяющие, предостерегающие и управляющие, были тесно связаны между собой. И стоило только один раз выступить, по их мнению, неудачно, как по всем направлениям шли санкции. Тихо выкидывали из очереди на квартиру, не давали вне очереди купить машину, отправляли на гастроли в отдаленные места нашей необъятной страны, запрещали выступления в Москве. Все это делалось келейно, по телефону, не оставляя никаких документов расправы.

Был, конечно, и другой вариант – артист понравился. Тут уж только успевай собирать лавры. Снова тебя приглашают в другой правительственный концерт, отправляют в загранкомандировку, в хорошую капстрану, продвигают вопрос жилья, путевку в лучший санаторий и так далее... В те приснопамятные времена унижались за эти блага все – от разнорабочего до министра. И только небольшая кучка партийных главарей – паханов – была спокойна за свои привилегии.

Но все это преамбула. Уникальный, потрясающий случай впереди. Итак, август 1971 года, концерт на даче Председателя президиума Верховного Совета Николая Викторовича Подгорного. Состав артистов очень хорош – профессионалы, любимцы публики. Два популярных певца, чтец, юморист, балетная пара, иллюзионист, балалаечник. В маленьком, человек на 40-50, шикарном, обитом кожей зрительном зале зрителей человек семь-восемь, – Сам и родственники Самого: бабушки в сарафанах и дедушки в сандалиях на босу ногу.

Кроме всего прочего, в концерте есть сцена из спектакля МХАТ «Кремлевские куранты» по пьесе Н. Погодина, где Ленин беседует с евреем-часовщиком. Роль Ленина исполняет уникальный актер, народный артист СССР, лауреат сталинских премий Алексей Николаевич Грибов.

Роль часовщика – не менее великолепный актер, народный артист СССР Борис Яковлевич Петкер. Многие помнят эту сцену. Ленин: «Надо дать жизнь кремлевским курантам... Пусть они отсчитывают новое время новой России... Это архиважно!» Часовщик: «Я постараюсь сделать, господин Ленин...». Сцена кончается полной договоренностью и взаимопониманием. В зале аплодируют, значит все в порядке.

После окончания концерта, как всегда, артистов приглашают к столу. Но не за стол хозяина, а за отдельный, где-нибудь в другом зальчике. На столе все, что можно себе представить в то не совсем сытое время: от лососины и разноцветной икры до запеченных яблок и нарезанных ананасов. Водки, коньяки, вина. Все в неограниченном количестве.

Большая, подавляющая часть артистов в этом застолье спиртное не употребляла, поскольку почти всегда после банкета устраивался еще, так сказать, добавочный концерт типа капустника. Хозяева дружески беседуют с артистами, заказывают свои любимые песни, танцы, интересуются, как делаются фокусы, а артисты рассказывают, исполняют заказы. О фокусах разговор отдельный. Очень любил фокусы Леонид Ильич Брежнев. На моих глазах в санатории «Барвиха» Брежнев звал Арутюна Акопяна, главного фокусника, к себе в апартаменты и почти два часа выпытывал у него, как платочек то появляется, то исчезает в бумажном кулечке. За это Арутюну Акопяну, первому из эстрадных фокусников, было присвоено звание народного артиста Советского Союза. За фокусы. Вот и получилось: народный артист СССР Аркадий Райкин и народный артист СССР Арутюн Акопян...

Но вернемся к нашему концерту на даче Подгорного, вернее, ко второй его части. Именно во второй части Подгорный предложил артистам МХАТ Грибову и Петкеру сыграть другую сцену из спектакля «Кремлевские куранты». Сцену беседы Ленина с американским писателем Гербертом Уэллсом. Артисты согласились, тем более, что Петкер когда-то репетировал роль Уэллса. Пошептавшись, что-то обговорив, эти два великих актера начали играть всем известную в то время сцену.

Приехавший из Америки писатель говорит, что видит Россию во мгле... А Ленин, наоборот, видит небывалый рассвет страны: «Приезжайте к нам, батенька мой, через двадцать лет...» Что было в стране через двадцать лет, мы видели в 37-м, 38-м и во всех последующих годах...

Грибов играет в портретном гриме Ленина, а Петкер, если мне не изменяет память, – сняв бородку и парик, тем самым из еврея-часовщика превратившись в дородного американца. Но ведь во время нашего ужина, в перерыве между официальным и «капустным» концертом Алексей Николаевич Грибов выпил несколько рюмочек великолепной «Посольской» водочки и играет Ленина легко, свободно, на подъеме.

Но что это? В середине сцены Грибов в образе вождя революции дважды строго посмотрел в зал. За всем этим мы наблюдаем из-за кулис. И видим, что хозяин дачи в полный голос разговаривает с каким-то своим родственником. Причем явно на бытовую тему. Слышатся слова: чаек, варенье, мед... Вот тут и дали себя знать мхатовская привычка играть в идеальной тишине и выпитая Грибовым водочка во время ужина.

Грибов доиграл сцену до конца, посмотрел в зал и громко, четко выговаривая слова, сказал: «Цыц!!! Тихо! С вами же Ленин говорит! Вы же ленинцы!»

И ушел за кулисы. В другую сторону убежал побледневший Петкер. На сцене и в зале воцарилась зловеющая тишина. Артисты за кулисами оцепенели, – такого не было никогда. Охрана вся напряглась и растерянно ждала приказа. Сам хозяин выпучил глаза, открыл рот, сжал кулаки и с сипом, молча, хватал воздух. Угрожающая тишина висела несколько секунд. Потом все задвигалось. Закрыли занавес, всех артистов согнали в гримерную комнату, потом посадили в автобус и быстро увезли с территории дачи. В автобусе с каждого взяли подписку «О неразглашении» (были такие подписки).

Прошло несколько месяцев. Я приехал на съемку кинофильма «Сын», где я играл роль артиста Канарейкина. В этом же фильме снимался Алексей Николаевич Грибов. Место съемки – у старого цирка на Цветном бульваре. Ночь. Две пожарные машины, пуская струи воды вверх, делают проливной дождь. Прохладно. Сняли два-три дубля. Алексей Николаевич устал и продрог. Сделали перерыв. Мы отдыхали на служебном входе в цирк. Выпили заранее приготовленную фляжку водки. Грибов выпил, посмотрел на меня и спросил:

– Слушай, Леня, сильно я наворотил тогда на даче у Подгорного?

– Ничего вы не наворотили. Сказали ему, что он хоть и считает себя ленинцем, а все равно хам. А он, видать, обиделся. Вот и скандал!

– Меня из-за этого в театре сняли с роли Ленина и еще кое-что отняли. Короче говоря, наказали меня, старика, за правду...

– Не горюйте, Алексей Николаевич, главное не отняли – любовь зритель и доброе имя...

И тут Алексей Николаевич сказал фразу, которая стала завершающей точкой этой редкой и непростой истории:

– Да, конечно, никакие они не ленинцы. Если бы были ленинцы, меня бы давно расстреляли...

Вера Лурье

ИЗ ВСПОМИНАНИЙ

Николай Гумилёв

Петроград, 1920 год. Мне рассказали о недавно открытом Доме искусств на углу Невского проспекта и Мойки, который основал Максим Горький.

Он располагался в бывшем княжеском дворце. Коммунисты этого князя выгнали, и тогда там поселились деятели культуры. В этом доме организовывались различные семинары по поэтическому искусству и писательскому мастерству, по театральному искусству и многому другому. Кроме того, там находились апартаменты для извест-

ных деятелей литературы и искусства. Там жили писательница Мариэтта Шагинян и поэт Михаил Лозинский, а также Николай Гумилёв. В то время он был уже разведён с Анной Ахматовой. Она была, конечно, самой известной русской поэтессой, и каждая русская девушка мечтала быть похожей на неё. Гумилёв был в то время женат на очень молодой и немного скучной актрисе Анне Энгельгардт.

Однажды в Доме искусств состоялся вечер с танцами. Гумилёв стоял у углу зала и разговаривал с поэтом Осипом Мандельштамом. Мандельштам был небольшого роста и напоминал мне своей вверх закинутой головой возбуждённого петуха. Вместе с Гумилёвым, Ахматовой и Георгием Ивановым он был одним из основателей акмеизма. Это было литературное течение, которое развивалось вслед за символизмом и представляло

Известная поэтесса Вера Лурье (1901 г. Петербург – 1998 г. Берлин), воспоминания которой печатаются со значительными сокращениями, являлась членом литературного кружка молодых поэтов Николая Гумилёва «Звучащая раковина». С 1921 года Вера Лурье жила в Берлине. Её мемуары, над которыми она работала в последние годы жизни, написанные на немецком языке, не были закончены и поэтому не изданы в Германии.

Случай помог мне получить рукопись этих воспоминаний. Я благодарна господину Буркхарду Кирхнеру, помогавшему Вере Лурье в работе над немецким текстом, ставшему её редактором и помощником, за его содействие в подготовке мемуаров для моего перевода на русский язык.

Антонина Игошина

собой определённую противоположность ему. Название происходит от греческого слова «акме» и означает «цветущая сила».

Гумилёв произвёл на меня впечатление очень спокойного человека. Он был, собственно говоря, некрасив, у него была овальной формы голова, худое лицо и серые глаза. Но он обладал большим обаянием и был Личностью. Не будучи с ним знакома, я подошла к нему из озорства и спросила: «Николай Степанович, не хотите потанцевать?»

Играли как раз вальс, и он ответил: «Я не танцую, но такой юной даме я не могу отказать.»

Мы пошли в круг танцующих и двигались скорее шагом, нежели действительно танцевали. Гумилёв в самом деле не умел танцевать.

Литературный семинар, в котором я участвовала, вёл Николай Гумилёв, он занимался темой «Поэтическое искусство». Гумилёв придерживался мнения, что из любого человека можно сделать поэта. Участники семинара писали стихи, которые они читали, остальные их обсуждали, а в конце высказывался Гумилёв. У Гумилёва я училась писать стихи, но мои стихи не имели, разумеется, того поэтического уровня, как поэзия моего учителя.

Это было прекрасное время. Из глубины моей памяти встают перед глазами живые картины, как мы в холодную русскую зиму сидели за длинным столом, открывалась дверь и входил Гумилёв. Он носил всегда шубу и меховую шапку. Медленно снимал он шубу и шапку и садился во главе стола. Потом вынимал украшенный черепаховым панцирем портсигар, доставал сигарету, зажигал её, и занятие начиналось.

Мои воспоминания возвращаются далеко назад, прошло почти 60 лет с тех пор, как я начала в Петрограде свою литературную деятельность. С наступлением весны некоторые участники семинара ходили на прогулки с Гумилёвым. Мы бродили по запущенным улицам, где между тротуарными плитами росла трава. Опустошение после революции имело своё болезненное очарование. Кроме того, во всём этом чувствовалось что-то вольное. Особенно ярко осталась в моей памяти улица вдоль Невы – набережная. В Петрограде и позднее в Берлине я написала несколько стихотворений о набережной.

У Гумилёва было много друзей, которых он любил, и которые любили его. И я тоже, конечно, была очень влюблена в Гумилёва, и моё увлечение Евреиновым было забыто. Однажды Гумилёв сказал мне, что участник петроградской поэтической богемы Николай Оцуп хочет устроить в своей квартире небольшой праздник, но, разумеется, как он подчеркнул: «только для взрослых». Это раззадорило меня, ведь мне было 20 лет, и я решила пойти туда. В то время шла полным ходом гражданская война, красные сражались против белых, и вечером после 20 часов не разрешалось вы-

ходить из дома. Таким образом, домой возвращаться можно было только утром на следующий день, чтобы не быть арестованной на улице.

Когда я вошла в квартиру Оцупа, там уже сидели Гумилёв, поэт Георгий Иванов, морской офицер Колбасев, который тоже писал рассказы, фотограф Моисей Наппельбаум и его дочери Ида и Фрида. Впоследствии Наппельбаум стал знаменитым советским фотографом. Многие позднейшие портреты Ленина были сделаны им. Говорили, что он стал прекрасным ретушёром Кремля и, когда было необходимо, удалял с фотографий Троцкого или других противников Сталина. Кроме того, здесь был, конечно, сам Николай Оцуп. В квартире не было света, и мы ходили из комнаты в комнату с керосиновой лампой. Пили что-то ужасное, сделанное из денатурата.

Придя на следующее утро домой, я написала стихотворение, в котором есть строка: «Милые, милые, милые, / Ночь оторвала меня».

Когда я однажды пришла в Дом искусств посетить Гумилёва, меня предупредили в фойе, чтобы я не ходила в его комнату. Там, наверно, западня ЧК. Сам Гумилёв, видимо, уже арестован, а сверху чекисты стоят на посту и подстерегают его друзей. После этой новости я, как можно скорее, поспешила домой.

Во время ареста о Гумилёве заботились три женщины, которые носили ему посылки в тюрьму – Аня Энгельгардт, Ида Наппельбаум и Нина Берберова, подруга поэта Владислава Ходасевича. Вскоре мне сказал советский журналист и искусствовед Натан Федоровский, что Гумилёв как контрреволюционер был расстрелян по приказу пресловутого начальника ЧК Дзержинского.

После расстрела Гумилёва члены «Звучащей раковины» заказали траурный молебен в Казанском соборе на Невском проспекте по «рабу божьему Николаю». Имя Гумилёва уже не решались упоминать публично. Случайно я встретила на улице Анну Ахматову. Она сказала, что уже знает о панихиде. На богослужении мы встретились ещё раз.

Много лет спустя, в 40-х годах, был арестован её сын Лев Гумилёв. Он был приговорён к 10 годам лагерных работ в Сибири. В 50-е годы многие деятели культуры, в том числе Эренбург, пытались его освободить. Наконец, им это удалось. Анна Ахматова ждала в очередях перед Министерством внутренних дел, как многие другие матери, чтобы передать сыну еду и деньги. Позднее она написала известную поэму «Реквием», которую она посвятила своему сыну Льву Гумилёву:

В поэме говорилось о том, что матери заключённых должны, наконец, дожидаться возвращения своих детей и мужей. Это были стихи о всех женщинах, которые потеряли своих близких во время сталинского террора.

Это были прекрасные стихи. Когда я впервые читала «Реквием» и вспоминала Николая Гумилёва, в горле у меня стоял ком.

Андрей Белый

Я вспоминаю кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе. В 20-е годы там устраивались русские литературные вечера. Русские называли это кафе «Дом искусств», по примеру известного «Дома искусств» в Петрограде. Руководителем этих вечеров был старый писатель Николай Минский.

В один из вечеров я пришла в кафе, чтобы сделать доклад о петроградской поэзии и о «Звучащей раковине». Я стояла в центре зала и рассказывала о творчестве и произведениях русских поэтов Петрограда, о «Доме искусств», о Гумилёве и его аресте и казни, о смерти и похоронах Александра Блока. В завершение я прочитала несколько своих стихотворений. И тут произошло невероятное. Знаменитый русский поэт Андрей Белый встал и подошёл ко мне. Андрей Белый был для меня недостижимой величиной. Ещё в Петрограде я читала два его романа: «Серебряный голубь», в котором рассказывается о религиозной секте, похожей на хлыстов, и «Петербург», написанный ритмизированной прозой, который был пророческой книгой, содержащей предсказание Первой мировой войны и русской революции. Символисты были для меня, словно пророки Апокалипсиса.

Андрей Белый заговорил со мной, он сказал, что мои стихи ему понравились.

Так началась моя дружба с Белым. Я часто навещала его, заваривала чай, штопала его носки и верила, что очень в него влюблена. Сейчас я думаю, что это было просто преклонением перед известным человеком и гордость, что такая литературная знаменитость делает честь и проявляет столько интереса к скромной поэтессе Вере Лурье. Но всё это не имело особого значения для Белого, он находил самого себя привлекательным и радовался, что женщина влюблена в него. Вызвать у него симпатию было нетрудно.

Белый как человек был очень сложным, эгоцентричным и, в сущности, любил только самого себя и был занят исключительно самим собой. Но гениального человека надо принимать таким, каков он есть, а Андрей Белый был гением. Он вовсе не был легкомысленным, просто наша связь была не слишком глубокой. Я была милой девушкой, с которой он мог говорить о своих впечатлениях и настроениях.

В то время Белый писал воспоминания о своей молодости и Александре Блоке. В молодые годы они были очень дружны, потом из-за романа меж-

ду Белым и женой Блока друзья разошлись. Во время моих посещений Белый читал мне из своих воспоминаний. Кроме того, он писал тогда книгу «Гласолалия» – научную работу, в которой говорилось о связи слов, ритмов и звуков. Это было для меня слишком сложно, но он объяснил мне всё так ясно, что в газете «Дни» я смогла даже опубликовать статью об этой книге. В то время Белый переработал свой роман «Петербург» и сократил его.

У Белого была лысина, обрамлённая седыми волосами. Дома он обычно носил на голове ермолку, чёрную матерчатую шапочку, какие носят верующие евреи. Самым примечательным в его облике были глаза. Они были зеленоватыми и узкими, глубоко посаженными и словно светящимися изнутри. Я никогда больше не встречала подобных глаз, они были действительно незабываемы.

Сначала Андрей Белый жил на Пассауерштрассе, как раз напротив KaDeWe. Потом переехал в пансион на Виктория-Луиза плац, где находилось большое кафе, в котором можно было танцевать. При случае мы проводили там вечера. Белый носил длинный чёрный пиджак и вместо галстука чёрный шёлковый бант. Мы танцевали в ритме one step или шимми и ещё им самим придуманный танец, который не имел ничего общего с модными танцами. Но публика была в таком восторге, что мне даже дали цветы.

Белый воспринимал Берлин, как слишком быстрый, лихорадочный и нервный город. В одном эссе он писал, что Берлин – это организованный, упорядоченный, реальный кошмар. И однажды спешно уехал в Цоссен, небольшой городок южнее Берлина. Несколько раз я навещала его там. Это был небольшой серый дом с такой же серой хозяйкой. Белый занимал большую тёмную комнату и работал там. Я думаю, он хотел покоя.

Мне рассказывали позже, что Белый за два-три года в Берлине написал 20 книг. Я не могу себе это представить.

Белый принадлежал к антропософскому обществу, что объясняют влиянием его бывшей жены Аси Алексеевны Тургеневой. Она почитала Рудольфа Штейнера.

Белый пил много, но я никогда не видела его пьяным. Я вспоминаю, что проводила с ним чаще не вечера, а послеобеденное время. Я не видела, чтобы он сильно пил, но мне рассказывали, что его иногда приводили домой. Для русской богемы это было обычным делом – в России вообще много пили.

Когда из Москвы приехала Клавдия Николаевна Васильева, тоже член антропософского общества, чтобы уговорить Белого вернуться в Советский Союз, я побывала у него ещё раз.

Васильева выглядела очень по-русски, была скромно одета, у неё было

приятное, хотя и неяркое лицо. Она имела большое влияние на Белого. Именно тогда он решил вернуться в Россию. Позже он женился на Клавдии Васильевой. Моё последнее воспоминание о нём: вокзал Zoo, Белый покидает Берлин. Многие друзья и знакомые Андрея Белого, в том числе я, провожают его. Поезд отъезжает, небольшая фигура Белого постепенно исчезает из вида. Для меня исчезает навсегда.

Илья Эренбург

Было время, когда окрестности вокруг Виттенбергплац, Тауентциенштрассе и Гедэхтнискирхе были прочно в руках русских. На каждом углу были русские рестораны, на улицах слышна русская речь. Имелись русские издательства, выходили десятки русских газет. В те времена в Берлине жили 300 тысяч русских эмигрантов. У многих беженцев были, разумеется, потребности в информации.

Примерно в 1921 году Илья Григорьевич Эренбург и его жена, художница Люба Михайловна Козинцева, снимали комнату в пансионе на Пассауерштрассе. Эренбурги не были эмигрантами, у них было разрешение от советских властей на проживание за границей. С ними я была дружна, особенно с женой Эренбурга. Благодаря им, я познакомилась со многими интересными людьми. Иногда они брали меня с собой в фешенебельный ресторан «Шваннеке», который посещали известные «левые» литераторы Берлина. Там я познакомилась с Эрнстом Толлером, Акселем Эгтебрехтом и Леонардом Франком.

Илья Эренбург и его жена были на «вы» друг с другом. Он говорил ей «Вы, Люба», она называла его «Вы, Илья Григорьевич». У них были хорошие отношения, но при этом они открыто изменяли друг другу.

Илья Эренбург был очень умным человеком, у него был острый язык, которого боялись. Я не могу назвать его исключительно симпатичным человеком, хотя и была дружна с ним. Он был очень ироничен, до цинизма. Когда позднее в Лондоне репортёр Би-Би-Си спросил его, что ему больше всего понравилось в Англии, он ответил: «Собаки».

Это было типично для него. Люди вообще ему не нравились. Хотя он был человеком, связанным с политикой, на самом деле его ничего не интересовало. Так мне иногда казалось. Людей он явно недолюбливал. Я думаю, в сущности, он был нигилистом или, можно сказать, скептиком. Как поэтессу он меня всерьёз не воспринимал.

Однажды утром жена Эренбурга нашла перед дверью комнаты их пансиона намордник, видимо, кто-то намекал на злой язык её мужа.

Эренбург выглядел очень неряшливым, у него отсутствовал один, а может быть, и не один, передний зуб. Я думаю, что это не было запущенностью, он просто боялся зубных врачей. Позднее он побывал на гражданской войне в Испании, и там познакомился с Хемингуэем, который поставил ему в комнату в гостинице ящик с ручными гранатами. Эренбург был также на фронте, но зубных врачей он боялся.

Всё, что его окружало, было в беспорядке. На его подтяжках не хватало пуговиц. Ходили слухи, что он якобы во время бракосочетания поддерживал руками свои брюки, чтобы они не упали. Поэтому не мог надеть своей жене обручальное кольцо. Однажды утром перед их дверью стояла коробка с мылом. Люба Эренбург восприняла это с юмором и была очень довольна, что, наконец, есть достаточно мыла для стирки.

Мыло – против его неопрятности, намордник – против его язвительности.

В молодости Эренбург писал патриотические стихи. Довольно рано он уехал во Францию и жил там в бедности. В Париже он жил долгие годы и говорил по-французски безупречно, как француз.

Большую часть дня он проводил в кафе «Прагердилье» на Прагерплац в Берлине, где у него был свой легендарный постоянный столик. Там он завтракал и там же писал свои книги. Он писал тогда непрерывно. Писал и писал. Вечером в «Прагердилье» собирались многие люди искусства, которые хотели его видеть.

Люба Эренбург была полной противоположностью своему мужу, во всяком случае, что касается внешности. Она была красива и очень элегантна. После свадьбы она, как художница, оставила свою фамилию «Козинцева». Она была еврейкой по происхождению, но выглядела, скорее, как египтянка. Её классическое лицо было строгим и серьёзным. При этом она всегда была в хорошем настроении, у неё было чувство юмора, и она говорила очень красиво по-русски.

Когда я у них бывала, Илья Эренбург сажал меня на колени и изображал француза, который пристаёт к уличной девице. Потом поднимал меня высоко и носил по комнате. Он проделывал со мной довольно скверные шутки. Во всяком случае, у них не было скучно.

Илья Эренбург пробивался всегда, даже при Сталине. Многие его друзья были казнены, но он всегда ускользал. При этом он никогда не был нескритичным. Было почти чудом, что он пережил те времена. Он был действительно умён.

После нашего прощания он приезжал время от времени в Берлин, но без Любы. Тогда мы шли в ресторан, немного пили и развлекались. Позже всё постепенно распалось. Иногда я даже не знала, когда он бывал в

Берлине. В начале 30-х годов одной из его страстей было фотографирование Берлина с самых разных сторон.

Он очень много путешествовал, часто по поручению советского правительства.

Алексей Ремизов

Когда мы жили в Шарлоттенбурге на Шлосштрассе, я бывала иногда у жившего неподалёку Алексея Михайловича Ремизова. Он писал великолепные рассказы. Ремизов был мал ростом, очень близорук и потому носил очки с толстыми стёклами. «Маленький ёжик» Ремизов был большим оригиналом. Он и его жена были очень верующими, они ходили в церковь Святой Луизы. Жена его была очень высокая и полная, я посвятила ей стихотворение «Великая женщина». Она была чудачкой, но такой сердечной! Её радовало, что я хорошо разбиралась в русской литературе. Вдоль квартиры Ремизова были протянуты верёвочки, на которых висели маленькие фигурки животных, в основном обезьян.

Он называл себя Асыка, обезьяний царь. Пользуясь своим авторитетом, как царь обезьян, он раздавал ордена, которыми награждал друзей из русской богемы. Эренбург тоже был награждён орденом, я не помню титула, который он при этом получил.

Тайное общество обезьян называлось «Обезвельволпал» (Обезьянья Великая и Вольная Палата). Василий Васильевич Розанов был «обезьяний старейшина» и Великий Phallophor.

На старославянской глаголице Ремизов писал, или скорее рисовал, на грамоте ранг и имя нового кавалера Обезьяньего знака. Я была «рыцарем с лягушачьей лапкой».

В это общество были приняты многие деятели культуры. Михаил Александрович Кузмин был музыкантом Великой и Вольной Палаты. Кто-то был «обезьяньим дедушкой», ранг обезьяньего князя присваивали только во времена голода и войны. Виктор Шкловский получил ранг «маленькой короткохвостой обезьяны». Существовали обезьянье войско и обезьянья азбука, были кавалеры Обезьяньей Палаты, имелись обезьяньи знаки отличия, но их нельзя было открыто носить. Этими обезьяньими почётными знаками можно было, разумеется, похвастаться. Потом была разработана конституция Обезьяньей Палаты, позднее были введены обезьяньи кодификаторы. Если я хорошо помню, в этом его мире не было обезьяньего театра. В квартире Ремизова собирались легендарные шарлоттенбургские обезьяньи конгрессы.

Кто-то был «кавалером с гусиной лапой и с тремя выщипанными хво-

стами». Евгений Павлович Иванов был отмечен «лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша». Некоторые жаловались на случаи коррупции в обезьяньем ордене.

Обезьяньи тайны нельзя было так просто и легкомысленно разбалтывать. Лев Шестов, который считался почитателем алкогольных удовольствий, был назначен виночерпием ордена. Ремизов считал это ведомство самым подходящим для него. Кроме того, имелись обезьяньи реликвии, обезьяньи гимны, а также обезьяний налог. Выдавались обезьяньи медали, созывались обезьяньи совещания. Ремизов создал свой небольшой космос, и все деятели культуры, которые его знали, любили его фантастический мир.

В одной книге я читала письма, которые Томас Манн писал Ремизову. Меня очень радует, что Томас Манн так ценил Ремизова. И я понимаю, почему!

К сожалению, мой собственный орден у меня пропал. Ремизов уехал, как многие другие русские писатели и художники, в Париж, где он, почти полностью ослепший, умер в пятидесятые годы.

Алексей Позняков

В русско-еврейском клубе «Ахдут» в начале 30-х годов я впервые увидела Познякова. К тому времени почти вся русская богема покинула Берлин. По вечерам открывался клуб для состоятельных евреев, в котором была хорошая кухня. В обед готовили дешёвую еду для бедных русских евреев. Некоторые получали обеды бесплатно. В клубе «Ахдут» небольшая группа молодых русских поэтов арендовала зал, чтобы провести там литературный вечер. В тот вечер я тоже читала свои стихи. Я стояла на чём-то наподобие подиума, на мне было чёрное кружевное платье. В первом ряду сидел мужчина лет 50-ти в очках. Во время моего чтения он смотрел на меня неотрывно пронзительным взглядом. После окончания вечера он исчез, и я поначалу забыла о нём.

В некоторых берлинских кафе проходили еженедельные языковые вечера. В одном из помещений кафе стояли длинные столы, за которыми посетители разговаривали на иностранных языках. Некоторые из этих вечеров проходили в кафе «Уландэкк» или «Бристоль». В «Бристоль» был французский стол, которым руководил некий Александр Лещ. Это был русский еврей, говоривший прекрасно по-французски. В один из вечеров Лещ сделал доклад на французском языке на тему «Notre-Dame de Thermidore».

Я сидела за одним из столов и рассматривала публику. Вдруг мои глаза вновь встретились с тем гипнотизирующим взглядом. После доклада этот

человек подошёл ко мне и представился как профессор Позняков. Он сказал, что как друг Лещ хотел бы проводить меня домой вместо него, потому что у того ещё много знакомых в зале, и он занят. Это было началом нашего знакомства.

31 декабря 1937 года по старому русскому календарю в пансионе «Прагерплац», который тогда принадлежал одному русскому, праздновали новый год. Лещ заехал за мной. Был заказан стол, за которым сидел профессор Позняков и ждал нас. Все пили шампанское, разговаривали, танцевали. Позняков танцевал со мной вальс. Тут появилась очень полная светловолосая немка. Она была красива, но у неё была не очень хорошая фигура. Мне представили её как жену профессора Познякова.

Спустя несколько дней Лещ и я были любезно приглашены женой профессора на ужин в их квартиру на Ландхаусштрассе. Они не были женаты, её настоящее имя было Вернер. Позняков проводил меня на трамвае домой.

Вскоре после этого он позвонил мне, и я стала его возлюбленной и секретаршей.

Позняков был адвокатом, в Германию он приехал со своей женой, русской еврейкой, которая была старше его. Я не была с ней знакома. Вскоре она оставила его и вернулась в Советский Союз. Он сам по натуре был весёлым человеком, проснувшись, он насвистывал по утрам. Позняков был образован, начитан и даже писал стихи.

В числе его клиентов был художник Мясоедов, который между делом занимался изготовлением фальшивых денег. Позняков и Мясоедов пытались свои сомнительные делишки представить мне как патриотический акт. Они якобы хотели использовать эти фальшивые деньги для освобождения России от Советов. Когда я познакомилась с Позняковым, он добывал евреям визы для выезда за границу. Он даже брал задатки, но, по правде говоря, мало что мог сделать для своих подопечных. Лещ привозил ему клиентов, среди них бывали иногда богатые евреи.

Позняков познакомился с двумя евреями из России, это были отец и сын, они приехали когда-то из Одессы, фамилия их была Обершмуклер. Сын был консулом в Дании и там взял имя Облер. Эти люди жили в Люксембурге и Бельгии. Они утверждали, что могут легальными путями доставать люксембургские паспорта. В действительности эти паспорта были фальшивыми и к тому же ещё плохо сделанными. Это имело трагические последствия.

В Берлине жила богатая семья из России. Отец – Животовский – был евреем по происхождению, а его жена Подваркова чисто русской. У них было три дочери и сын Миша Животовский. Он был обручён с родственницей Жарова, дирижёра хора Донских казаков. У отца была связь с одной

немкой, и он пытался сделать её своей единственной наследницей. Свою жену и детей он хотел лишить наследства. В ответ на это, на основании судебного иска его семьи, ему был назначен опекун. Но Животовский знал, что у его сына был люксембургский паспорт, который, по всей видимости, был фальшивым. Отец донёс на сына в уголовную полицию. С самим Мишей ничего не случилось, он должен был только сообщить, от кого получил этот паспорт. Он назвал Леща, который дал показание, что в свою очередь получил этот паспорт от Познякава. Таким образом, Познякава забрали в предварительное заключение в Моабитскую тюрьму.

Разрешение на свидание с Позняковым получила, разумеется, фрау Вернер. Поскольку я была его секретаршей, мне разрешено было тоже его иногда посещать и с ним переписываться. Я нашла ему очень хорошего защитника по уголовным делам господина Рота. Кроме того, я попросила отца Лиане Берковиц, которая брала у меня уроки русского языка, встретиться с Обершмуклером. Он должен разузнать, были ли паспорта полученные от них и переданы Познякову как настоящие.

Лиане, дочь Генри Берковица, убедила отца помочь Познякову в его положении. Позднее Берковиц давал показания в суде, это было очень благородно с его стороны. Генри Берковиц подтвердил под присягой, что встречался с Обершмуклерами и заверил, что они могут ему раздобыть настоящий люксембургский паспорт. На основании этого Позняков был освобождён из-за недостаточности доказательств.

Во время ареста Познякава фрау Вернер познакомилась с гауреднером Яром, который был женат. Он был жестким национал-социалистом и ярким ненавистником евреев. О моём еврейском происхождении он не имел понятия.

В день освобождения Познякава мы встретились с ним и пошли в гостиницу. При этом Позняков сказал мне, что у него мало времени и он должен идти домой. Меня охватило бешенство, я ревновала. Я так старалась для его освобождения, в то время как фрау Вернер развлекалась и изменяла ему с гауреднером. А теперь он был на свободе и торопился к ней. Моя месть была низкой, и я отчасти виновата в том, что Позняков позже погиб в концлагере Дахау.

Я рассказала Познякову, что фрау Вернер изменяла ему с нацистским пропагандистом, в результате был ужасный скандал. Когда позднее я появилась у него в квартире, фрау Вернер хотела меня поколотить, но Позняков встал между нами и защитил меня. Когда ее не было дома, я приходила в его квартиру и дальше играла роль секретарши. Она знала об этом, но Познякову нужен был кто-то, кто владел немецким и русским языками. Кроме того, он не платил мне ничего.

Фрау Вернер встречалась и дальше с Яром. Однажды вечером состоялось партийное собрание по случаю какого-то праздника, и он разрешил фрау Вернер пойти с ним. Позняков узнал об этом и рассказал обо всём жене Яра, с которой он недавно познакомился. Разозлённая жена Яра появилась на этом празднике и дала пощёчину фрау Вернер в присутствии собравшихся членов партии. После этого Позняков выгнал фрау Вернер из квартиры, и она поселилась этажом выше у нацистской семейной пары Хофманн.

Однажды вечером в квартире Познякова появилась фрау Вернер с Хофманном, в руках у которого была плётка. Они прошли прямо в спальню и обыскали её. Тогда я ещё не знала, что они там искали, и узнала об этом позже в гестапо. После обыска квартиры фрау Вернер донесла на Познякова в гестапо, и он был вновь арестован. Она отомстила ему.

Утром 2 ноября 1938 года я пришла в квартиру Познякова и узнала от прислуги, что Познякова забрали двое мужчин. Я понимала, что это значит, и знала также, что у него был люксембургский паспорт, который был спрятан в одной книге. Я часто поступала спонтанно и необдуманно, и в тот раз я взяла эту книгу под мышку и пошла с ней домой.

Вскоре у меня дома зазвонил телефон, и горничная Познякова сказала, что господин профессор ей звонил. Я должна придти и принести книгу, он должен скоро быть дома. Я поехала без опасений с книгой под мышкой назад на Ландхаусштрассе в его квартиру. Прямо в прихожей меня схватили два гестаповца. Они радовались тому, что я сама принесла им паспорт. Горничная оказалась гестаповской шпионкой и сообщницей фрау Вернер.

В гестапо

Следующие семь с половиной недель я находилась в так называемом охранном аресте. После того как меня арестовали, я была доставлена на легковой машине в огромное здание гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе. В хорошо обставленном кабинете сидел советник уголовной полиции Опиц. Допрос начался. Секретарша сидела напротив Опица с блокнотом в руке. Я должна была стоять. Опиц спросил меня: «Позняков ваш любовник?» Я ответила: Нет!» Тогда Опиц продиктовал секретарше: «Позняков не мой любовник, и никакого другого у меня тоже нет!» В таком духе продолжался допрос. Когда он разозлился, то ударил меня по лбу книгой Познякова.

В гестаповской тюрьме на Принц-Альбрехт-штрассе не было камер для женщин, поэтому вечером меня отвезли на частной машине в тюрьму на

Александрплац. Там у меня отобрали деньги, часы, бусы и кольцо. Потом отвели в очень большой, ярко освещённый зал с кроватями в два этажа. Множество женщин с интересом смотрели на меня, новенькую. Я спала наверху и часто царапала лицо о подушку, набитую соломой. Свет в камерах горел ночи напролёт. Дежурная начальница охраны могла через глазок в двери контролировать, что делается в камере. Однажды ночью одна из заключённых заметила, что её соседка пытается повеситься на поясе. Она постучала в дверь и громко позвала на помощь. Начальница охраны вбежала, и ту женщину вытащили из камеры. Я не знаю, что с ней было потом.

Еду привозили в больших бадьях к дверям камер и раскладывали в эмалированные кастрюльки, которые напоминали собачьи миски. Меня увозили каждое утро на огромной тюремной машине в управление гестапо. Там хотя бы обед был лучше, чем на Александрплац. Эта машина, как я помню, была больше, чем теперешние зелёные полицейские машины. Арестованные сидели на двух длинных лавках. Однажды среди нас оказался Позняков. Мы пытались поговорить друг с другом, что тут же было пресечено.

Меня ежедневно привозили в гестапо, где я должна была перевести на немецкий язык все русские документы и письма Познякова. Вечером тот же эсэсовец в чёрной униформе вёз меня обратно на Александрплац. Только благодаря этой переводческой работе я смогла узнать, что искала и нашла-таки фрау Вернер у Познякова. В те времена, когда я Познякова ещё не знала, ему было поручено одним советским чекистом добыть какие-то немецкие секретные политические документы. Но Позняков обманул советского агента, он копировал ему совершенно официальные сообщения, которые появлялись в газетах, после чего ставил на этих «официальных» документах фальшивую печать. Он был втянут в другие мелкие дела, в которых я всё ещё не могла разобраться. Во время предварительного заключения в Моабитской тюрьме Позняков рассказал мне, что ему угрожали посадить в тюрьму его мать, жившую в России, если он не будет сотрудничать с ЧК.

Когда меня привозили обратно с Принц-Альбрехт-штрассе, начальница охраны тут же обыскивала меня с головы до ног, чтобы я, видимо, не пронесла на себе ножницы или нож.

Когда я перевела письма и документы Познякова, то попросила комиссара Ланге дать мне ещё какую-нибудь работу. Мне поручили тогда в одной из комнат канцелярии гестапо составлять на пишущей машинке картотеку «преступников». Работа была довольно однообразная, но это было хоть какое-то занятие, и я не должна была сидеть целыми днями в камере.

Со мной в этой комнате находился герр Бауэр, очкарик лет 50-ти, спокойный, милый человек. Он сказал мне: «Будьте осторожны, когда говорите по телефону с вашей сестрой, разговоры прослушиваются». Когда один из гестаповцев зашёл в нашу комнату, Бауэр указал на меня и сказал: «Наша новая сотрудница». Однажды он сказал мне: «Мой отец был жандармом, вот тогда арестовывали действительно преступников, а теперь?»

Из чёрной, зловещей тюремной машины можно было видеть при поездках туда и обратно оживлённые улицы, прохожих, несущих пакеты и новогодние ёлки. Работа над картотекой «преступников» заканчивалась. Приближалось Рождество, город готовился к празднику, заканчивался 1938 год. Последнее, что я напечатала на пишущей машинке, было прошение об освобождении на имя советника уголовной полиции Опица. Разрешат ли меня освободить перед Рождеством? Я не имела ни малейшего представления, есть ли у меня шанс.

Теперь я целый день оставалась на Александерплац, делать мне больше было нечего. Я сидела за запертой дверью, и самым ужасным для меня была эта дверь без ручки. С тех пор обострился мой страх вновь очутиться взаперти.

Я всё думала, как мне отсюда выбраться. Я ходила к тюремному врачу, выдумывала разные недуги и болезни, но ничего не помогало. Мне было очень тоскливо. Внезапно рано утром 24 декабря в нашей камере появился шофёр гестапо и сказал: «Лурье, с вещами на выход». Я быстро побросала свои вещи в кучу, поскольку аккуратной не была никогда, и чёрная машина привезла меня на Принц-Альбрехт-штрассе. Там герр Бауэр сообщил, что уже позвонил моей сестре, чтобы она меня забрала.

– Мне не нужен никто, я уйду одна.

Мой ангел-хранитель был рядом и защитил меня. Мне повезло, и я должна благодарить Бога за это. Так неожиданно было для меня – вдруг быть отпущенной из-под ареста, ведь я была наполовину еврейкой из России, и к тому же без гражданства. Обычно таких людей отправляли в концлагерь.

Моя сестра весной 1939 года уехала в Лондон. Я тоже могла бы уехать, но осталась в Берлине из-за Познякова и моей матери, за которых очень боялась. Я была единственной, кто приносил Познякову немного денег и стирал его бельё.

Вскоре его забрали в концлагерь в Ораниенбург. Там он сказал, что я его невеста, в противном случае я не имела бы права посылать ему деньги и переписываться с ним. Кроме меня, все прежние знакомые боялись подерживать с ним связь.

Из Ораниенбурга Позняков был переведён в концлагерь в Дахау. Оттуда

я получала очень грустные письма. В последнем письме, незадолго до своей смерти он написал: «Молитесь за меня, ты и твоя добрая мама». Вскоре пришла телеграмма из Дахау, в которой сообщалось, что мой жених господин Алексей Позняков, несмотря на усилия врачей, скончался в лазарете от сердечной недостаточности. Образцовый немецкий порядок и здесь показал себя на деле, мне прислали даже его карманные часы. Он не был евреем, поэтому я получила все его личные вещи, присланные управлением концлагеря Дахау. Его урна была захоронена на русском кладбище.

Терезин

Я продолжу писать о том, что давно миновало, о страшных временах, когда нацисты забрали мою мать.

Ещё в начале войны наша управдом, очень симпатичная, болезненная женщина принесла нам на дом карточки на продукты. Вверху на карточке моей матери стояла большая буква «J», то есть еврейка.

У меня сохранилась фотография Познякова, он сидит на скамейке, на которой стоит буква «J». Евреям можно было сидеть только на таких скамейках. По этой логике моя мать должна была сидеть на одной скамейке, а я на соседней. На некоторых магазинах были надписи: «Вход евреям нежелателен». Это было ещё довольно мягко, поскольку на многих других магазинах висело: «Вход евреям запрещён». Моя мать получала талоны только на чёрный хлеб, белый хлеб и сладости евреям не полагались.

Тогда вышло распоряжение, по которому все еврейские семьи обязаны были зарегистрироваться в школе на Пфальцбургерштрассе. Эта регистрация имела свой дьявольский смысл: все евреи должны быть на учёте. В день нашей регистрации я должна была показать нашу собаку, помесь шнауцера, командованию вермахта на Гогенцоллерндамм. Там должны были определить, годна ли собака для использования на войне. Когда солдат увидел собаку, он написал на карточке: «Собака – помесь, для вермахта непригодна», и я была очень довольна этим заключением. Когда мы снова вышли на улицу, я пожалала Мухе лапу и сказала ей: «Мы с тобой обе помеси».

Однажды в субботний день в январе 1944 года я пошла принести уголь. Во дворе навстречу мне шагали два человека в кожаных пальто, они спросили, где в этом доме живут Лурье. Я ответила им, что я как раз Вера Лурье. Тогда они сказали, что пришли забрать мою мать. В прежние, более ранние нацистские времена евреев, которые живут с детьми от смешанных браков, в концлагеря не забирали.

Всё произошло очень быстро. Я побежала в молочный магазин, чтобы купить матери немного еды на дорогу. Сначала её забрали в полицейский участок, потом на Гроссе Гамбургерштрассе, где находился сборный пункт, а оттуда задержанных отправляли в концлагерь.

Можно себе представить, в каком состоянии я была. Я пошла к шведскому консулу, который во время войны представлял интересы советских граждан, находившихся в Германии. Он проявил озабоченность и был готов помочь, хотя русские эмигранты не входили в его компетенцию. Он позвонил соответствующему сотруднику в сборном пункте лагеря и просил его попытаться освободить мою мать. Тот человек ответил, что для Марии Лурье он не в состоянии что-либо сделать. Поскольку она лицо без гражданства, то её делом занимается служба безопасности. Он не мог нам помочь.

На следующий день я была опять у сборного пункта, перед которым стояла большая очередь. Люди пришли попрощаться со своими родными. Раньше моя мать не носила жёлтую звезду, теперь же в сборном пункте ей пришили шестиконечную звезду на одежду. Я очень любила мою мать и хотела вместе с ней ехать в концлагерь. Чиновник, которому я это сказала, сообщил, что перед этим я должна уничтожить нашу собаку, поскольку её нельзя оставить одну в квартире.

К счастью, я не могла убить нашу любимую собаку. Если бы я тоже попала в Терезин, то ни я, ни мать не выжили бы. А так я могла немного помочь моей матери тем, что посылала продукты. Но даже это было не так просто.

Поэтому в тот же день, когда моя мать была отправлена в лагерь, я пошла снова на Гроссе Гамбургерштрассе и спросила у того самого компетентного специалиста по еврейским делам, на какой адрес я могу послать что-нибудь моей матери. Ему не разрешалось давать такую информацию. Он сказал мне: «Вы ведь видели номер на одежде вашей матери, номер ...» и назвал этот номер. Я могла тут же послать моей матери продукты. Он был очень порядочным человеком. Люди, которые занимались оформлением документов в сборном пункте, были сами евреями и работали под началом гестапо. В конце войны они были тоже уничтожены, но пока что им разрешалось жить.

Когда узники получали посылки, они должны были расписаться на специальном формуляре, что подтверждало их получение. Таким образом, я знала, что моя мать жива и получила продукты. Я посылала два раза в неделю посылки весом по 1 кг. В основном это были продукты, полученные на мою продуктовую карточку.

В последние месяцы войны был такой хаос, что не было никакой

возможности посылать посылки в Терезин. Железнодорожное сообщение и почтовая связь были прерваны, я не знала, жива ли ещё моя мать. Абсолютно ничто больше не действовало: водопровод не работал, почти не было электричества, даже свечи были редкостью. Телефон был отключён, только радио работало, как всегда.

Последние дни войны

В последние дни войны было очень опасно ходить по улицам. Красная армия делала воздушные налёты в любое время дня, самолёты летели очень низко и бросали бомбы на жилые кварталы. Американцы и англичане прилетали ночью. Конечно, всё было замаскировано, свет горел в квартирах всего несколько часов, правительство экономило энергию. Если вечером гас свет, все знали, что сейчас прозвучит сигнал тревоги.

Несмотря на налёты днём и ночью, все самые необходимые магазины были открыты: булочные, мясные лавки и другие продовольственные магазины. Перед ними собирались большие очереди, всё продавалось, разумеется, по карточкам. Но дорога к магазинам была опасной, так как стреляли со всех сторон. Повсюду горело, везде лежали руины домов, стояли отдельные уцелевшие стены, за которые можно было заглянуть с улицы. Вдоль этих стен я и пробиралась, поскольку при налётах они были лучшим укрытием. Я боялась даже просто пересечь улицу, потому что каждый метр на открытом месте мог означать смерть. Я бежала как можно быстрее и повторяла всё время: «Боже, помоги мне!»

Стоять в квартире у окна тоже было опасно. Пока у нас были стёкла в окнах, можно было получить ранение или даже погибнуть от летящих по комнате осколков. Позже, когда стёкла были выбиты, внутрь могли влететь осколки бомб, пули или камни. Тогда я поставила обеденный стол в углу комнаты, как можно дальше от окна.

Позднее, когда начались уличные бои, мы почти постоянно находились внизу, в подвале. Я спала на двух больших старых плетёных корзинах, поскольку кроватей там, разумеется, не было. Наше подвальное бомбоубежище было очень ненадёжным. Продовольственные магазины были всё ещё открыты. Многие владельцы выдавали товары уже на последующие дни. Все понимали, что война близится к концу.

По ночам в наше бомбоубежище часто приходили немецкие солдаты. Они были в ужасном состоянии, полностью истощенные, грязные, подавленные.

Потом русские штурмовали мост Халензее. Вокруг всё горело, они сжига-

ли всё дотла. Как только русские вошли в наше бомбоубежище (1 или 2 мая, я не помню точно), меня сразу подтолкнули вперёд. Я сказала: «Товарищи, прекратите всё сжигать, я хочу выйти наверх и хоть немного поспать».

Вначале они спросили, спрятано ли в подвале огнестрельное или какое-либо иное оружие. Второй вопрос был: есть ли нацисты в подвале. «Нет», – сказала я, хотя несколько нацистов там были. Тогда они спросили у немцев: «Что вы сделали с нашими матерями, жёнами и сёстрами, которых угнали из России?» Я перевела этот вопрос немцам, находившимся в подвале. Одна женщина сказала мне: «Ради Бога, скажите им, что с рабочими с востока здесь обращались хорошо!» Я ответила ей: «Я врать не буду!»

Вскоре после этого я пошла наверх в свою квартиру, взяв с собой беременную управдомшу и её трёхлетнего сына. В подвале происходило массовое насилие.

Магазины были уже закрыты, случались грабежи. Чтобы обеспечить едой голодное население, русские солдаты входили в лавки и раздавали имеющиеся продукты. Из мясной лавки Баде я получила две большие свиные ноги. Мясник Баде был членом национал-социалистической партии и ко дню рождения Гитлера украшал витрину своего магазина. Теперь из страха перед русскими солдатами он отдал свои запасы. Потом я пошла к другому мяснику на нашей улице и принесла от него большое ведро с потрохами.

В большом продовольственном магазине Ротенбаха русские солдаты раздавали муку, сахар и другие продукты. На Зеезенерштрассе русские забирали из подвала картофель и отдали жителям.

* * *

Вскоре после капитуляции по радио было сообщение, что близкие родственники заключённых из концлагеря Терезин должны обратиться в еврейскую больницу на Иранишештрассе в Веддинге. Там можно получить информацию об оставшихся в живых в этом концлагере.

Этот день мне хорошо запомнился. Я попросила одну женщину из нашего дома пойти со мной. Путь от Халензее до Иранишештрассе был длинным, особенно если идти пешком. Общественный транспорт был полностью разрушен. Иногда мы останавливали машины с советскими солдатами, и они подвозили нас. В еврейской больнице в большой тёмной комнате было устроено бюро информации. За столом сидела пожилая женщина, перед ней была большая коробка, в которой стояли по алфавиту карточки оставшихся в живых в концлагере Терезин.

Люди подходили по очереди к столу. Я должна была долго ждать, и, наконец, моя очередь подошла. Я назвала имя моей матери, и женщина вынула из коробки карточки на букву «L». Она читала громко имена выживших. Её пальцы переворачивали карточки одну за другой, и стопка становилась всё тоньше. Это были ужасные минуты.

Тогда она произнесла громко и внятно: «Фрау Мария Павловна Лурье».

**Альфред
Ходорковский_**

Переводы из немецкой поэзии

**Генрих Гейне
(1799 – 1856)**

* * *

Мой день был весел и прекрасна ночь.
Народ мой ликовал, когда из лиры
Я песни извлекал рукой нетерпеливой,
Любовный жар не в силах превозмочь.

В разгаре лето дней моих. И всё же
Немалый в закрома собрал я урожай.
И вот теперь всему сказать «прощай»
И бросить то, что мне всего дороже!?

Коснуться струн уже не стало сил,
И вдребезги давно бокал разбился...
Его к губам я часто подносил –
В земном гнезде я жил и веселился.

Как светлый летний день вокруг меня прекрасен!
О, Господи! Как смерти лик ужасен!

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Всюду песни и смех! Ярко солнце сияет.
Волны весёлую лодку качают.
Сел я с друзьями в ту лодку, и вот –
Вместе плывём мы, не зная забот.

Шторм разметал нашу лодку с гребцами...
Все оказались плохими пловцами:
В водах родных их встретило дно,
Мне ж на чужбине спастись суждено.

С новой командой всё начал сначала,
Вновь нашу лодку в пучину бросало.
В бурном потоке покоя мне нету.
Тяжко на сердце! Родина, где ты?

Снова мне слышатся пенье и хохот –
Это свист ветра, треск досок и грохот.
Звезды угасли, печальны рассветы...
Тяжко на сердце! Родина, где ты?

* * *

Неподвижны в своей вышине,
С давних пор одиноко страдая,
Гаснут звёзды в ночной тишине,
От любви безответной сгорая.

На своём языке говорят,
Он красой и богатством отмечен.
И филолог – как был бы он рад
Овладеть его тайнами речи.

Я когда-то её изучал,
И забыть эту речь я не в силах.
Сердцем тайны её постигал
На лице и любимом, и милом.

* * *

О, не клянись, а только поцелуй.
Не верю я нисколько женским клятвам!
Как сладко слово, всё же поцелуй –
В ответ на твой – мне слаще многократно!
И это так, и в этом нет сомненья:
Слова – лишь только ветра дуновение.

Любимая, клянись же постоянно!
Я всё же верю всем твоим словам,
Я верю, что ты любишь без обмана –
И нет конца блаженным временам,
И в эту вечность тихо опускаюсь,
Когда к твоей груди я наклоняюсь.

* * *

Письмо, что ты мне написала,
Совсем не потревожило меня.
В нём ты в любви мне будто отказала
И посвятила этому полдня.

Тут дюжина убористых страничек –
Такой изящный, милый манускрипт!
Себя в письме влюблённый ограничит,
Когда «прощай навеки» говорит.

Эдуард Мёрике **(1804 – 1875)**

МОЛИТВА

О, Боже! Приму я любовь и страданье,
Довольствуюсь тем, что с небес Ты пошлёшь.
Основа не в том ли всего мирозданья,
Что связь между ними Ты не разорвёшь?
Что руки Твои источают благие
На нас снизойдёт, как слепая судьба...
Но память хранит имена дорогие,
И жаждет ответа немая мольба.
Скажи мне, где истина эта сокрыта,
Чего же нам больше познать суждено:
Любви, что по капелькам в мире разлита,
Иль мук, что терзают мне душу давно?

НА РАССВЕТЕ

Моя душа не освежилась сном,
А день уже проснулся за окном.
И мечется встревоженный мой разум,
Сомнениями мучительными связан.
В нём царствует ночное приведенье,
Пока не наступает пробужденье.
Не плачь, душа! Не будет этот страх
Держать тебя в невидимых руках.
Возрадуйся! Ты слышишь? Там и тут
Колокола благие вести шлют.

Генрих Лойтхольд (1827 – 1878)

ПЕСНЯ

Мы поднимем бокалы и не будем браниться.
Как нелеп этот мир, где нам жить довелось:
«Сколько стоят они – эти знатные лица?»,
А не «Кто они есть?» - Задаёт он вопрос.

Мы зайдём в кабачок, – и сам чёрт нам не страшен.
Ты красоток, мой друг, не забудь – позови.
Их головки, как в праздник, цветами украсим
И признаемся им в нашей верной любви.

И под звуки тромбона давай веселиться.
И пусть ветер гуляет в карманах, зато
Как смешны они – все эти знатные лица:
Ведь они же для нас, скажем прямо, никто.

Готфрид Август Бюргер (1747-1794)

ИСКАТЕЛИ КЛАДА

Один виноградарь на старости лет
Раскрыл сыновьям перед смертью секрет:

- На нашей земле, где растёт виноград,
Хранится неслыханной ценности клад.
- А где он закопан? Скажи нам, отец!
- Копайте... – промолвил и умер хитрец.

Едва старика крышкой гроба накрыли,
Всю землю его сыновья перерыли
И на винограднике том разгребли
Между камней все комочки земли.
Представьте, просеяли грунт через сито,
Но тайны не выдал участок изрытый.

Сердились на старого все сыновья,
Большую обиду в душе затая.
В обмане отца своего обвиняя,
Дождались они через год урожая.

Никто о таком и подумать не смел –
Тройной урожай винограда созрел!
С тех пор сыновья старика поумнели
И с радостью кладом отцовским владели.

Вильгельм Буш (1832 – 1908)

НЕ ТАК

Вокруг вожделенного рая стена –
Из мраморных глыб возвышалась она.
И Каин подумал, – известный хитрец:
«Теперь-то я в рай попаду, наконец!»

Приставивши лестницу, Каин полез.
Внезапно явившись, завистливый бес
Ему преподнёс неприятный сюрприз:
Он с лестницей вместе швырнул его вниз.

Всё это случайно увидел Адам.
– Проказник! – Вскричал он. – Останешься там!
Досталось тебе? Так запомни и знай :
Легко никому не достанется рай.

Христиан Моргенштерн (1871 – 1914)

ТРИ ВОРОБЬЯ

На кусте,усевшись в ряд,
Три воробышка сидят:
Эрих – справа, слева – Франц,
Посерёдке – хитрый Ганс.

Примостились на ночлег,
Одеяло – белый снег.
Слышен только мерный звук –
Трёх сердечек перестук.

Дружно спят: крыло в крыло,
Правда, Гансу лишь тепло.
Так сидят они доселе,
Если вдруг не улетели.

СВИСТИТ ВЕТЕР...

Дикий ветер свистит нам о чём,
Шутовскую являя манеру?
Он свистит, как скрипичным ключом, –
То тихонько, то громко не в меру.

С ним дождливая ночь в унисон
Плачет горько, а капли теснятся
И в безмолвие чёрных окон
Без конца монотонно стучатся.

Ветер, ветер свистит. Рёв и стон.
Во дворе псы завывли гундосо.
Освистал он весь мир. Это он –
Этот ветер, наш мудрый философ.

Герман Гессе (1877 – 1962)

В ТУМАНЕ

Странно странствовать в тумане!
В мглистом кроются потоке
Куст и дерево, и камень –
Все в тумане одиноки.

Мир мой полон был друзьями,
Жизнь казалась мне прекрасной,
Но неожиданно между нами
Пал туман с тот день ненастный.

Мудреца найти бы где-то,
Случай этот не изведан –
Я как будто канул в Лету:
Позабыт и всеми предан.

Странно странствовать в тумане,
Потеряв друзей до срока...
Каждый одиноким станет, –
Всем в тумане одиноко.

СВИСТ

Рояль и скрипка – я ценю их,
Но ими не пришлось заняться:
Мне дней летящая поспешность
На свист искусный лишь дарила
время.

Не тороплюсь я мастером
назваться:
Искусство вечно – наша жизнь
конечна.
Но жаль мне тех, кто не владеет
свистом:
Уменьше это мне дало немало.

И я давным-давно пришёл к
решенью
Оттачивать талант свой неустанно,
Надеясь наплевать без сожаленья
На вас, себя и этот мир чудесный.

Эрих Кестнер (1899 – 1974)

ЧТО ЗА ЛИЦОМ ТВОИМ

Кто может знать, как ты богат...
Речь не об акциях, машине,

О вилле, редкостной картине, –
Оно дороже во стократ
Тех благ, что люди ценят ныне.

Оно не то, что видно людям, –
Счета, налоги и доход.
Есть ценности, – и счётовод
Их сосчитать не в силах будет,

Их даже вор не украдёт.

Терпенье, люди говорят,
И доброта, и даже юмор –
Всех благородных качеств сумма,

Чьё место в сердце, – сущий клад,
Ценнее трудно и придумать.

Как беден тот, кто позабыл,
Что эти чувства – клад чудесный,
И что в груди хранится место,
Где ты своё богатство скрыл,
(Что вряд ли самому известно).

Марлен Глинкин

Миниатюры

ПОКУПАТЕЛЬ

Я не люблю ходить по магазинам – меня там укачивает. Укачивает, в прямом смысле, как будто я нахожусь на палубе корабля. Мелькание людской толпы, обилие товаров, делают своё чёрное дело с моей психикой. Особенно тошно становится в дорогих магазинах, когда продавцы любезно бросаются к покупателям, предлагая свои услуги. Лично я чувствую себя в этих ситуациях весьма некомфортно.

Но зато другие!.. Однажды, когда жена в очередной раз, потащила меня в фирменный магазин на поиски плаща, я стал свидетелем очаровательной сцены.

Судя по ужасному акценту, один из «наших» в отделе мужской одежды наседали на раскрасневшегося продавца:

– Скажите, а какая у них прочность? – Задал он вопрос продавцу, разглядывая брюки.

– Железо, – ответил продавец.

– А это мой размер?

– Уверен. Как на вас сшитые. Можете примерить в кабине.

– А цена?

– Сорок девять евро, – спокойно ответил продавец.

– Что?! Вот этот перочинный ножик я купил в «Карштадте» за пять марок.

– Ну и что? – Спросил продавец.

– Как что?! Как я выложу сорок девять евро за брюки, если за эти деньги можно купить десять замечательных ножиков с тремя лезвиями, ножничками и штопором. Вы что, не чувствуете разницу в ценах? Хорошо, а жилетка у вас есть?

– Вот, пожалуйста, выбирайте, – продавец указал на штендер с жилетками.

– Ну, эта вроде ничего. Можно надеть в синагогу на сейдер. А она прочная?

– Бетон, – со злорадством в голосе ответил продавец.

– Сомнительно... И сколько она стоит?

– Двадцать два евро.

– Двадцать два? С ума сойти! На той неделе я потерял ключ от квартиры и пришлось заказывать новый. Вы знаете, где делают дубликаты ключей? В мастерской «Шнайдерай». Так все дело обошлось мне в семь евро. Можете сами посмотреть...

– Нормальный ключ, но что из этого следует? – Возмутился продавец.

– Так зачем же я стану платить двадцать два евро за жилетку, если за эти деньги я могу три раза потерять свой ключ.

– Я вас не понимаю, – отрезал продавец.

– Что там понимать? Не надо считать других идиотами. Если я ауслендер, так это не значит, что я глупей вас. Вы лучше скажите: пальто модное у вас есть?

– Есть.

– Это чёрное мне нравится. Английский фасон?

– Последний крик моды!

– Я не глухой! Слышу, как оно кричит! Прочное?

– Железобетон.

– А цена?

– Сто двадцать марок. Отдам по себестоимости, только бы вы оставили меня в покое, – взмолился продавец,

– Что вы несёте? Вот, зонтик французский! Ношу третий год! Я купил его на фломаркте за пять евро. Я вам больше скажу. Знаете, сколько я плачу за вино?

– Причём тут вино? Что общего между вином и...? – Прошептал продавец.

– Два евро пятьдесят пфеннигов за литр! В магазине «Aldi». Неужели вы полагаете, что я выложу сто двадцать евро за пальто, если могу за два пятьдесят выдуть литр вина? Вы что думаете, у меня башка не варит? Кстати, шляпы с большими полями, чёрные, у вас есть?

– Есть, но убеждён, что они вам не подойдут, – заключил растерзанный продавец.

– В каком смысле?

– В смысле цены. Не станете же вы платить восемнадцать евро за шляпу, если можно сходить в общественный туалет с музыкой и дезодорантом, всего за пятьдесят пфеннигов! – Решительно подвёл итог торгов продавец, стремительно удаляясь в подсобку.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ШОУ

Телеканалы Германии пестрят игровыми телевизионными шоу. Многие пытаются поправить своё финансовое положение, принимая в них участие и демонстрируя свой интеллект и эрудицию.

Виталий Крутиков в очередной раз, сторев на очередном гешефте, сидел по уши в долгах. Долги вынуждали его сидеть дома и «расслабуха» занимала всё свободное время. Время явно ничего общего с деньгами не имело, и, коротая его, Виталий погружался в разгадывание шарад и кроссвордов.

– Почему бы тебе не пойти на телешоу? – Язвительно спросила жена. – Там за верный ответ можно загрести кучу денег.

– Мне кажется, что они дают выигрывать только своим, – возразил Виталик.

– Ерунда, мужик из соседнего подъезда, тупой, как валенок, выиграл пятьсот евро, участвуя в кулинарном шоу.

Спустя какое-то время, краснея и смущаясь от волнения, наш герой предстал перед телекамерами и миллионами телезрителей, включая его семью и друзей по эмиграции.

– Итак, господин Крутиков, – обратился к нему ведущий программы, – смогли бы вы сказать, – правильный ответ оценивается в триста евро! – Кто открыл Америку?

– Христофор Колумб, – бодро ответил Виталий.

– Пр-р-рекрасно! – нараспев воскликнул ведущий.

– А теперь решайте, – возьмёте ли вы три сотни или воздержитесь, чтобы получить пять за правильный ответ на вопрос номер два?

– Воздержусь, – заявил игрок.

Тогда скажите нам, как назывались три корабля упомянутого Колумба?

– «Пинта», «Нинья» и «Санта Мария», – ответил Крутиков, которого жена звала «моя маленькая ходячая энциклопедия».

– Пр-р-равильно! – Пропел церемониймейстер, – получайте свои пять сотен... Если, конечно, не хотите превратить их в тысячу.

– Хочу, – ответил и дерзко ухмыльнулся игрок.

– Тогда скажите за девять сотен, кем был Антонио Пигафетта?

При этом ведущий победно глянул на знатока, а затем в объектив телекамеры, не сомневаясь, что загнал этого русского в угол.

– Антонио Франческо Пигафетта, – спокойно парировал Виталий, – был итальянским мореплавателем, писателем и картографом, сопровождавшим Магеллана в его первом кругосветном плавании.

Ответ ужасно взволновал ведущего. Он перестал восторгаться его правильностью, молча вынул из кармана деньги и протянул победителю.

- Держите тысячу евро, и мы попросимся с вами. Думаю, что вы не рискнёте превратить их в две тысячи?
- Очень даже рискну. У меня долгов гораздо больше, – не моргнув глазом, ответил Крутиков.
- Тогда ответьте, что такое «Spitelmarkt»?
- Так называется место в берлинской районе Митте, где был в первой четверти века лазарет и базар.

Ведущего прошиб холодный пот, хотя в студии было жарко, как в печи.

- За три тысячи пятьсот, – жалобно промямлил он, – вы должны объяснить, что такое циклотрон.
- Это резонансный ускоритель тяжёлых частиц, которые способны вызвать атомные преобразования.

Зазвучала весёлая музыка. Зрители, сидящие в студии, бурно зааплодировали, поддерживая русского всезнайку.

Ведущий сверил ответ по бумажке и на полусогнутых ногах побежал советоваться с режиссёром и редактором передачи. Через минуту он появился с победным видом.

– Три с половиной тысячи – ваши... Но! Наш спонсор – знаменитая фирма «Simens» предлагает пятьдесят тысяч евро за верный ответ на последняя вопрос! Всё или ничего!

– Всё! – Отрубил наш герой.

– Пр-р-ревосходно! – Злорадно воскликнул ведущий! Кто был правым нападающим в сборной страны бывших Советов, забивший в июле 1969 года третий гол в ворота сборной Танзании?

Наступила тишина. Молчал и Крутиков. Но не потому, что плутал по извилинам своих мозгов в поисках нужных футбольных сведений. Он без всяких усилий вспомнил себя восемнадцатилетним парнишкой и тот матч, где забил гол, и восторженный рёв стадиона, и удар защитника, поломавшего ему ногу...

– Это был я – Виталий Крутиков, – скромно ответил он, записывая в карман солидную пачку розоватых купюр.

Говорят, что он расплатился с долгами, купил компьютер и новую мебель.

Ведущий был уволен за профнепригодность, а фирма «Simens» с энтузиазмом стала приглашать на свои компьютерные курсы русских эмигрантов, которые своей дальнейшей работой компенсировали спонсорские издержки в телевизионных шоу.

ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»

Не так давно видел на видеокассете последнюю версию этой печальной истории, но мои друзья, вернувшись из кинотеатра с опухшими от слез глазами, уговорили меня обязательно посмотреть этот новый «Титаник» на большом экране со стереозвуком. Внук вызвался меня сопровождать и переводить с немецкого.

Я впервые посетил огромный кинотеатр «ZOO», и мне там понравилось. В отличие от ранее знакомых мне кинотеатров, там не пахло пивом, с последних рядов не доносились звуки страстных поцелуев... Так что после начала фильма я даже перестал слышать старательный шёпот моего мальчика... Все дело в том, что я просто думал... Я думал о том, что передо мной на экране потрясающее воображение, красивый и величественный реквием по погибшим в той далёкой катастрофе.

Тем несчастным, как это ни кощунственно произнести, выпало посмертное везение – остаться в памяти последующих поколений, о них не забыли, об их романтической гибели писались поэмы, романы, снимались фильмы.

Сколько жертв до и после гибели «Титаника» жестокий океан похоронил в своих водах, их последние секунды в тяжёлой громаде волн были столь же мучительны и ужасны. Хотя какое имеет значение, смыло беднягу со сверкающей огнями палубы или с кормы утлого рыбацкого судёнышка? Или унесло в пучину на атомнике «Курск»? Всех жалко, кто не прожил отпущенного Господом срока.

Но разве только в волнах пропадали ни за что полные сил и надежд люди? Сколько миллионов пожрали сталинские лагеря?! Об этих людях не сняли, да и не снимут никогда, наверное, такого прекрасного фильма. Гибель лагерного «доходяги» не эстетична и не кинематографична, и уж тем более, разве втиснешь в подобный фильм романтическую «лав стори». Поцелуй и признание в любви юной красавицы и чистого юноши в интерьерах роскошного корабля не сравнить с отчаянным криком в тусклом подъезде жены безвинно арестованного человека.

Про такое в голубых тонах не снимешь и спецэффектами зрителя не удивишь. Какие там спецэффекты на Колыме? Мороз один да вши...

Заслужили эти жертвы злодейского режима быть помянутыми в дорогом впечатляющем кинофильме? Сто раз заслужили. Но не помянут. Сегодня власть имущие опять к прошлому поворачивают.

А вспомните о других рано умерших от неизлечимых болезней по вине той же звериной власти... Подарили им эту «радость»: челябинский, семипалатинский, красноярский чернобыли. Как забыть об этом? Всех мировых запасов киноплёнки не хватит, чтобы...

Фильм о гибели «Титаника» окончился. В зале всхлипывали расчувствовавшиеся зрители, звучала красивейшая финальная песня.

– О чем она поёт? – Спросил я у внука.

– Она поёт «моё сердце продолжится».

ЧЕЛОВЕК И ТЕЛЕЭКРАН

Инженер Карасиков, возвратившись с работы в дышащем на ладан НИИ, скромно поужинал и улёгся на диван перед телевизором.

Показывали фильм про катастрофу воздушного лайнера, который вместе с пассажирами рухнул на землю, не дотянув несколько сотен метров до посадочной полосы в арабских эмиратах. Дамские сумки, детские носочки...

Карасиков не выдержал этих трагических кадров и переключился на другой канал. Там он увидел, как умирают птицы и животные, попавшие в нефть, которая вылилась из российского танкера. Карасикову стало до слез жаль бедных птиц и животных и он снова переключил программу.

По третьему каналу показывали тяжёлые роды. Женщина кричала от боли, врачи пытались ей помочь, а младенец никак не мог выбраться на свет божий. Страшно переживая за женщину, не выдержав её страданий, он опять нажал кнопку на пульте. На экране появился худенький мальчик, который рассказал, как мать-алкоголичка била его, заставляя добывать деньги на водку. По лицу мальчика бежали слезы. Карасиков тоже заплакал. Сердце его разрывалось от жалости, он опять сменил программу.

Программа «Вести» рассказывала о лесных пожарах. Складывалось такое впечатление от кадров кинохроники, что огонь вот-вот охватит квартиру. Карасикову сделалось жарко, начала мучить жажда. Он сходил на кухню, попил воды и снова уселся перед телевизором. Показывали криминальную хронику. Работник уголовного розыска осматривал на столе морга руки, ноги и другие органы женщины, порубленной мужем на почве ревности.

Карасикова чуть не стошнило, и он закричал на всю квартиру: «Господи! Где же голубое небо, солнце, трава, цветы?» И тотчас он

увидел на экране голубое небо и ослепительное солнце. А под голубым небом и золотистыми лучами солнца лежала степь. Вся в цветах и сочных травах. Птички носились туда – сюда. Пчелы собирали нектар. Бабочки играли в догонялки. От этой славной картины Карасиков душевно успокоился, даже начал дремать. Но сквозь дрему услышал скорбный голос диктора:

– Даже не верится, что эта цветущая земля смертельно опасна для человека. Уровень радиации достигает здесь трёхсот рентген в час...

РОМАН В ОБЪЯВЛЕНИЯХ

Газетные страницы просто пестрят объявлениями «Бюро знакомств», предлагающих простой способ найти хорошего друга или подругу.

Для этого необходимо в многотысячный банк данных добавить сообщение о своем одиночестве и номер телефона. И тогда...

Одинокый мужчина 30 лет, рост 170 сантиметров, густоволосый брюнет, без вредных привычек, желал бы познакомиться с девушкой умной, с высшим образованием, музыкальной, начитанной, с чувством юмора, любящей секс и детей, а также готовить и стирать. Звонить по телефону 252-30-45.

Через десять лет...

Мужчина 40 лет, рост 168, брюнет, с ограниченным количеством вредных привычек, ранее женатый, воспитывающий двух девятилетних близнецов, ещё раз рискнул бы познакомиться с женщиной без претензий, не обязательно умной, можно без высшего, но с чувством юмора, не обязательно любящей секс, но любящей детей и стирку. Звонить по телефону 252-30-45.

Ещё через 10 лет...

Мужчина 50 лет, ростом 165, с оригинальной проплешиной, дважды женатый, воспитывающий трёх детей и ораву ранних внуков, не имеет другого выхода, как познакомиться с женщиной любого роста и умственного развития, но любящей с чувством юмора стирать и совместно бороться с вредными привычками. Звонить по телефону 252-30-45.

Ещё через десять лет...

Мужчина 60 лет, рост стоя, опершись, 160 сантиметров, лысый, как бильярдный шар, не имеющий сил на вредные привычки, забывший все о сексе, готов стирать для женщины, имеющей хотя бы чувство юмора. Звонить по телефону 252-30-45.

Миновало ещё десять лет. Одиноким мужчина, 70 лет, рост и цвет неопределённый, много перенёсший в жизни, уже ничего не хочет, кроме как немного юмора. Просьба рассказывать ему анекдоты по телефону 252-30-45 в любое время. Можно старые, потому как память, проклятую, совсем отшибло.

ПРЯМОЙ ЭФИР БЕРЛИНСКОГО РУССКОГО РАДИО

Хочется сказать пару слов о радиопередаче «Прямой эфир» на нашем берлинском радио. Я всегда слушаю, радуюсь и записываю. Радуюсь, потому что таких сочных ярких персонажей самому никогда не придумать! Итак:

ДИКТОР: Мы в прямом эфире, дорогие друзья! Я – Маша Кричевская. Отвечаю на ваши любые вопросы. Можете поздравить своих родных и друзей. Итак, кто уже на линии? Мы вас слушаем.

ХРИПЛЫЙ ГОЛОС: Я хотел спросить, почему, если у вас русское радио – у вас в штате сплошные Фельдманы и Шнейдерманы?

ДИКТОР: Простите, кто это говорит?

ГОЛОС: Это все говорят!

ДИКТОР: Кто это все?

ГОЛОС: Патриоты России!

ДИКТОР: Все ясно. Я вас отключаю. Мы не политическая радиостанция. Кто следующий?

ТИХИЙ, ИЗВИНЯЮЩИЙСЯ ГОЛОС: Я – поэт, живу на социальную помощь, недавно закончил поэму «Скажи-ка, дядя...».

ДИКТОР: Поэма – большой формат для нашего эфира. Ну, хорошо, прочтите хотя бы начало.

ГОЛОС: Скажи-ка дядя! Почти даром, Москва в кольце лесных пожаров, Лжедмитрию с Вованом отдана. Там кагебисты удалые и олигархи молодые по всей России правят бал, какого мир ещё не знал...

ДИКТОР: Достаточно! Повторяю: мы не политическая радиостанция. Если есть желающие поздравить с памятными событиями своих родственников или знакомых, слушаем ваши поздравления.

НЕЖНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Это я – Роза! Я хочу поздравить моего дорогого мужа Фимочку с его пятидесятилетием. И пусть он знает, что у него есть верная и преданная жена. Пожалуйста, включите для него какую-нибудь душевную песню, в которой выразится вся моя любовь к нему и нежность.

ДИКТОР: Какую именно песню?

ГОЛОС: Сейчас узнаю. Фима, что тебе спеть?

ДИКТОР (удивлённо): Так он с вами рядом?

ГОЛОС: Да, рядом лежит.

ДИКТОР: Почему же вы его лично не поздравите?

ГОЛОС: Я с ним уже месяц не разговариваю. Он такая сволочь! Три дня не ночевал дома, а когда заснул, назвал меня Фирой. А Фира – это его первая жена.

ДИКТОР: Да, понятно. Приглашаем следующего собеседника.

МУЖСКОЙ СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: Я хочу поздравить всех своих родственников Дубинских, которые эмигрировали сорок лет тому назад. Если они живы, пусть напишут, если нет, пусть хотя бы позвонят.

ДИКТОР: Хорошо, хорошо, понятно... А пока вы будете ждать известия от своих родственников, послушаем следующего собеседника...

РОБКИЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Здравствуйте, это я?

ДИКТОР: Это вы.

ГОЛОС: А вы уверены?

ДИКТОР: Уверена, уверена. Вы в прямом эфире, говорите.

ГОЛОС: Что-то я не узнаю свой голос. Я, наверное, не туда попала.

ДИКТОР: Туда, туда, говорите.

ГОЛОС: Ой, вы меня разыгрываете. Я перезвоню, чтобы было наверняка!

ДИКТОР: Фу-у! Кто ещё на линии?

ТОМНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Здравствуйте! Меня зовут Анжелика. Я хочу поздравить с днём рождения моего любимого Можно, я прочту ему стихи?

ДИКТОР: Пожалуйста.

ГОЛОС: Тебя люблю все более,

Любовь моя цветёт,

Люблю тебя, мой Толя,

Тебя целую в рот...

ДИКТОР: Спасибо, кто следующий?

ЗВОНКИЙ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ГОЛОС: Я, Моня, учитель русского языка из Белой Церкви. Хочу рассказать весёлую историю про Моисея Шварцмана, терапевта из Киева, который на днях выбросился с восьмого этажа своей берлинской квартиры из-за того, что в социале ему не дали денег на новое постельное белье, необходимое для секс-ночи в честь его золотой свадьбы с любимой Цилей. Но, слава Богу, он остался жив. Правда, получил перелом позвоночника, двух рук, всех ног и сложный вывих желудка. Но все это ерунда, если бы он при падении не потерял зубные протезы...

ДИКТОР: Все, все, хватит весёлых историй. Кто у нас на проводе?

ДРЯХЛЫЙ СТАРЧЕСКИЙ ГОЛОС: Здравствуйте. Наконец-то до вас дозвонился. Я очень люблю передачу «Любовь с первого взгляда», особенно, для тех, кому за восемьдесят. И я хочу поздравить вашу ведущую Радугу с юбилейным выходом в эфир. И я хочу просить её, чтобы она выслала мне «Виагру».

ДИКТОР: Вы пользуетесь «Виагрой»?

ГОЛОС: Да. Это прекрасное снотворное. Я принимаю и сразу засыпаю. Когда выплусь, меня тянет к женщинам. Тогда я принимаю «Виагру» и снова сплю. Это – замкнутый круг.

ДИКТОР: Зачем вы мне это рассказываете? У нас прямой эфир для поздравлений.

ГОЛОС: Я поздравляю вас, Радочка...

ДИКТОР: Я – не Радочка, я – Маша.

ГОЛОС: И вас тоже, Володя Шнейдерман. Поздравляю с праздником 1-го Мая... нет... С 8 Марта... нет, с Днём Победы...

ДИКТОР: Решите все-таки, с каким праздником вы поздравляете.

ГОЛОС: А куда я звоню?

ДИКТОР: Вы звоните на русское радио Берлина, в прямой эфир,

ГОЛОС: Так что вы от меня хотите?

ДИКТОР: Чтоб вы приняли «Виагру» и поскорей заснули. Кто следующий?

РАДОСТНЫЙ ГОЛОС: Я – следующий! У нас в Шпандау женщина утонула! В пятницу! И, что интересно, не в озере, а в ванне. Пришла домой из социала, кричала, что надоела эта собачья жизнь – везде экономить! После плюнула на все, и, несмотря на то, что у неё стоит бойлер на горячую воду, набрала себе полную ванну горячей воды, сто литров по 14,6 центов за киловатт и разомлела... А в это время по телевизору объявляют, что электроэнергия резко подорожала, и уже за киловатт берут не по 14,6, а по 24,3! Ну, человек от горя и захлебнулся!

ДИКТОР: Что сегодня за день такой? Вместо поздравлений – одна история страшней другой. Обсуждайте их в своих клубах, а не на радио. Есть ещё поздравляющие?

АКТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Можно мне?

ДИКТОР: Конечно.

ГОЛОС: Я хочу поздравить моего братика Лелика Талалаевского, который такой стоматолог, такой специалист! У нас в Коканде ни у кого зубы не болели. Сейчас он лечит людей в Берлине, его телефон 662-48-15. Повторяю...

ДИКТОР: Я вынуждена вас прервать, у нас не рекламная передача. Хотите поздравить – поздравляйте!

ГОЛОС: Я хочу поздравить всех тех, кто будет лечиться у моего братика, кто позвонит ему по телефону 862-48-15.

ДИКТОР: Вы, что меня не слышите? Если будете продолжать рекламировать своего брата – я вас отключу!

ГОЛОС: Не надо нервничать. Когда вы нервничаете, вы начинаете шепелявить – вам нужен хороший стоматолог. Позвоните 852-48-15...

ДИКТОР: Всё! Я вас отключаю! Кто ещё на линии?

ТОМНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Это я – Анжелика. Вы меня прервали – я не дочитала свои стихи, посвящённые моему любимому.

ДИКТОР: Простите, я не знала, что есть продолжение. Хорошо, читайте дальше.

ГОЛОС: Все чаще наши встречи,

Плохое все забудь.

Тебя целую в плечи,

Тебя целую с грудью...

ДИКТОР: Я думаю, достаточно.

ГОЛОС: Почему?

ДИКТОР: Уровень ваших поцелуев все время понижается – это настораживает.

На этом остановимся! До следующего эфира...

ГОЛОС С НАДРЫВОМ: Подождите, не отключайтесь. Я поэт, из клуба литературы и искусства... Имею стишок.

ДИКТОР: Ну, читайте, в финале нашей передачи – снова поэзия.

ГОЛОС: Я люблю тебя, Россия. Моя юность, моя грусть,

Я люблю тебя, Россия, и немножечко боюсь.

Ты растила, воспитала, ты дарила мне друзей,

Но всегда напоминала: ты – не русский, ты – еврей!

Вечно самоистезаясь, у себя на поводу,

Ты стоишь у входа рая, но одной ногой в аду.

Как похожи мы, Россия, как похожи, ты и я:

Я с надеждой жду Мессию, ты ждёшь нового царя.

Я люблю тебя, Россия, моя радость, моя грусть,

Моя слабость, моя сила. От тебя не отрекусь.

Я к тебе любовью ранен, я в числе твоих друзей,

Я – еврейский россиянин, я – российский твой еврей!

ДИКТОР: Вот на этой оптимистической ноте я и заканчиваю нашу передачу. До новых встреч в прямом эфире!

Иосиф Вольфсон

Небольшие рассказы о большой войне

ТРИ РАЗА В ГОРОДЕ

Мой отец пошёл на фронт в самом начале войны и уже в августе сорок первого погиб под Кингисеппом. Я вступил в Народное ополчение в июле. Дома оставалась одна мать.

Нас, необученных, вооружили винтовками времён гражданской войны и бросили в бой под Петергофом. Без артиллерии, о танках и говорить не приходится. Где уж нам было остановить врага!

Так мы откатились до самых предместий города. В конце сентября линия фронта стабилизировалась. Да не об этом речь.

В ноябре наступили морозы. Мы стояли в Колпино, в 30 километрах от города. Каждый день над нами на большой высоте пролетали стаи «юнкеров». Шли бомбить город. Наши зенитки их не доставали. А в городе – мама.

Блокада установилась прочно. До нас доходили слухи о скудном пайке, о начавшемся голоде. Я очень хотел вырваться в город хоть на денёк, поведать мать. Помог случай.

Я узнал, что единственная штабная пишущая машинка испортилась. Солдат – умелец, вызвавшийся её чинить, доломал её окончательно. И тут я решил:

– Товарищ полковник, я могу привезти вам из дому нашу машинку.

– А сколько тебе надо дней?

Да двух дней хватит.

И вот я в городе. В рюкзаке с кило чёрных сухарей, кусочки сахара, две пачки пшённного концентрата – всё, что удалось выпросить у друзей, поменять на табак. Раньше я, некурящий, отдавал ребятам полагающееся мне курево «за так», а тут нужда заставила.

Дверь мне открыла мать, ойкнула и повисла на мне молча, только плечи затряслись. С трудом её успокоил.

Боже, как она изменилась за пять месяцев, что мы не виделись! Ещё не старая, чуть больше пятидесяти энергичная женщина стала просто старухой. Глаза провалились, вся иссохлась.

Растопил какими-то щепками и старыми книгами буржуйку, сварил кашу. Потом пили чай – кипяток вприкуску. У мамы нашлось немного спирту. Берегла для компрессов. Помянули отца.

А утром я сделал то, что до войны мне бы и в голову не пришло: полез на чердак, коркой хлеба заманил в мешок двух облезлых кошек и стал изо всех сил бить мешком по кирпичной стене, пока всё в мешке не стихло. Старательно зарыл свой трофей в бочку с песком. Их стояло несколько на случай тушения немецких «зажигалок».

Как я прощался с мамой, говорить не буду, не могу.

А блокада губила людей всё больше. Солдаты из пополнения, побывавшие в ленинградских госпиталях, рассказывали о трупах на улицах, о страшном голоде, о бомбёжках и обстрелах. Я всё время думал о матери, как поддержать её, как вырваться в город.

И опять помог случай. Вызывают меня в штаб: не могу ли я достать новую машинку или хотя бы детали для ремонта старой.

Я, конечно, сразу согласился. Вспомнил, что у нас много разных рычажков, буковок, пружинок, ведь мама долгие годы работала машинисткой.

И вот я опять в городе. Троллейбусы и трамваи стоят заиндевевшие, примёрзшие к земле. Электричества нет. Высокие сугробы, снег никто не убирает. Лица у редких прохожих землистого цвета от голода и коптилок. Водопровод не работает. Воду берут, опуская на верёвке в невскую прорубь чайники, кастрюли, бидоны. Начинается обстрел, но никто не торопится бежать в соседний подвал: нет сил.

Поднялся на свой третий этаж. На лестнице окна выбиты, ступеньки занесены снегом и обледенели.

Долго стучал в дверь. Открыла соседка. Сказала, что мама несколько дней не выходила из комнаты.

Мама лежала в зимнем пальто и в валенках, укрытая двумя одеялами. Меня узнала, захотела подняться, но не смогла, упала.

Я стал говорить что-то бодрое, сварил жиденькую похлёбку, покормил маму с ложки. Много ведь есть оголодавшему человеку нельзя. И тут я решил продать единственную ценную вещь, что у нас была, шкаф, и купить хлеба.

Это был великолепный шкаф, доставшийся нам, по рассказам отца, от богача, бывшего владельца нашей квартиры, в которую после революции вселили восемь рабочих семей. В нем хранился весь наш семейный скарб – бельё, одежда, посуда, книги. Передние дверцы и боковые стенки украшены резными фигурками крылатых ангелочков, гроздьями винограда, разными фруктами. И всё это выполнено из дерева – от почти чёрного до розового. Мы очень любили наш шкаф, он был почти членом

нашей семьи. Нижний его ящик не раз спасал меня, бывало, от отцовского ремня.

Я стал осторожно разбирать шкаф. Шипы скрипели, как будто плакали. Покупателей на рынке было мало. Больше продавцов. И верно – кому в блокаду нужен шкаф? Стою, мёрзну. И тут меня осенило. Я стал спешно превращать шкаф в дрова. С трудом кололось старое дерево. Я с остервенением рубил полки, крушил головки курчавых ангелов и крупные грозди чёрного винограда.

Вскоре у меня на салазках лежала приличная вязанка дров. И тут нашёлся покупатель. Я получил невиданное богатство – четыреста граммов хлеба! Но это не всё. Я забрался на чердак, вытащил из смёрзшегося песка мешок, кое-как почистил, поскрёб кошек. В доме запахло удивительным довоенным ароматом мясного супа.

– Что это за мясо? – спросила мама.

– Кролики, – ответил я, – поменял на базаре на шкаф.

Оставил ей кастрюлю с супом, сорвал с лестницы деревянные перила, нарубил щепок.

Следующим утром, захватив с собой разные железки – детали для машинки, я вернулся в свою часть.

В марте мне снова удалось вырваться домой, но мать меня не дождалась. Она лежала мёртвая, закоченевшая, под ворохом одежды, лежала уже много дней. Хоронил я её без гроба. На салазках свёз её тело на Смоленское кладбище, осторожно опустил в неглубокую яму, где уже лежало несколько трупов, слегка присыпанных снегом.

КАРТОШКА НА НЕЙТРАЛКЕ

Под Пулковом нейтральная полоса проходила по картофельному полю. Жители пригородных деревень, посадив картофель, убрать его не успели. В октябре 1941 года в густой побуревшей траве довольно трудно разглядеть увядшую картофельную ботву, но если очень хочешь есть, то можно...

Наши разведчики притащили из боевого охранения паренька лет двенадцати, который под носом у немцев небольшой сапёрной лопаткой копал картошку,

В землянке он рассказал, что мама и сестра больны, есть нечего. Солдаты мальчика накормили, напоили горячим чаем, положили в его сумку кусочки сухарей, немного сахара. Чем ещё может поделиться с ребёнком голодный солдат блокадного города.

Взяли с мальчика слово, что он не будет больше лазить по переднему краю: нельзя, запросто убить могут. Он обещал.

Но через две недели мальчика нашли мёртвым. В сумке три мёрзлых картофелины.

Похоронили его как солдата. Впрочем, какой он солдат? У него и оружия-то не было. И лет ему было двенадцать...

НА КУЗНЕЧНОМ РЫНКЕ

Последний день в госпитале. Завтра на фронт.

А сегодня я решил пойти на Кузнечный рынок и поменять один сухарь на перочинный ножик, вещь в солдатском быту необходимую.

Интеллигентная старушка была очень рада сухарю, а я – великолепному ножу в красном замшевом чехольчике с несколькими лезвиями, шилом, ножницами, отвёрткой и другими инструментами непонятного предназначения. Верно говорят, что мужчина до ста лет остаётся мальчишкой. А мне было восемнадцать.

Но запомнился мне этот день совсем по другой причине.

В своей худой шинелишке я совсем было околел и зашёл погреться в маленькую, жарко натопленную комнату ЖЭКа. Там сидели тоже озябшие милиционер и несколько дворников.

Вдруг заговорило радио, и диктор сообщил о разгроме немцев под Москвой. Было, конечно, радостно, но реагировали на это известие как-то вяло. Голод и слабость были такими, что на бурное излияние чувств просто сил не доставало. Кто-то сказал, что теперь уж осталось ждать недолго и скоро блокада кончится. Так хотелось в это верить. Но прожито было только сто блокадных дней и ночей.

Кто знал, что осталось ещё восемьсот ...

Отогревшись, я вышел на улицу. Возле булочной, свернувшись калачиком, лежал на снегу мальчишка в чёрной шинели ученика ремесленного училища, а рядом сидела на корточках старушка, колотила его по спине худыми кулачками и плакала. Очевидцы рассказали, что мальчик выхватил из рук старушки, выходявшей из булочной, её 125 граммов хлеба, тотчас сунул его в рот; его кто-то повалил, пытался отнять хлеб, бил, но ему было всё равно, он, молча и быстро глотал, это было для него самое главное.

Смотреть на эту сцену мне было невозможно, и я побрёл (быстро ходить я уже не мог) в свой госпиталь.

ГРОБ ЗА ХЛЕБ

Аню Сахарову я знал первокурсницей в 1940 году. Она была смешливой хорошенькой девушкой с симпатичными ямочками на щеках.

Встретил я её после войны в сорок пятом. Она мало изменилась. Те же ямочки. Вот только смешливость пропала.

Спрашиваю: Где ты была во время блокады?

– Ленинграде.

– Как выжила?

– Работала. На кладбище. Ежедневно на детских салазках привозили покойников. Большею частью, без гробов. Тело завёрнуто в простыню, а то и просто так. Некоторым (кому – у меня уже был глаз намётан) продавала гроб. За 300 граммов хлеба.

Когда родственник уходил, я, каюсь, хоронила покойника без гроба, в братской могиле, а освободившийся гроб продавала снова. За 300 граммов хлеба. Вот так и выжила.

ВЫСОТА «ОГУРЕЦ»

Так назывался в солдатском обиходе небольшой сухой мысок, вдававшийся среди болота в немецкую оборону. Летом 1943 года там было сравнительно тихо. Но однажды небольшой отряд немцев неожиданно напал на высотку, занял её и укрепился так, что несколько попыток выковырнуть их оказались неудачны. Событие не бог весть какого значения, но на фоне спокойной обороны – заметная неприятность.

Командир дивизии доложил командующему армией, а тот, возможно, командующему фронтом. Возможно, тот выразил неудовольствие. Чему уж радоваться. По слухам, к нам, на место происшествия, собирается сам командующий армией.

Я охранял в тот день землянку комдива и видел, как из остановившейся недалеко «эмки» вышел гневный командарм. Навстречу ему выбежал небольшого роста изящный наш генерал, по всем правилам воинской выучки, не доходя несколько шагов до высокого гостя, перешёл на строевой шаг, вскинул руку к виску для приветствия, но строгий командарм резким и властным жестом оборвал доклад и молча большими шагами пошёл к землянке. Он впереди, а на полшага почтительно сзади – наш генерал.

Дальнейшее я слышал смутно, стоя у открытого низко сидящего окна. Да и не положено часовому стоять неподвижно, надо прохаживаться, а то ещё подумают, что подслушиваю. Но что я отчётливо ясно слышал, так это

сочный баритон генерал-лейтенанта, изрыгавшего отборнейший мат. На фронте матом не удивишь, но это была «классика». Голос генерал-майора был неуверенный и сдавленный. Так разговаривал разве что новобранец с грозным старшиной. Мне стало жаль «отца-командира» и обидно за него.

Назавтра мы узнали, что для взятия «огурца» к нам направлена штраф-рота.

Об отчаянной храбрости штрафников на фронте ходили легенды. Посылали туда за воинские и другие преступления.

Среди штрафников были и настоящие уголовники, но больше – честные и храбрые люди, наказанные за неповиновение глупому и преступному приказу, за дерзость начальнику, просто за воинскую неудачу, поражение в бою, когда вышестоящему командиру хотелось свалить вину на нижестоящего. Были, конечно, и военные преступники – дезертиры, трусы, для которых штрафная рота – милость в сравнении с расстрелом.

Почему-то им разрешали носить форму того рода войск, к которому они ранее принадлежали. Поэтому выглядел их строй пёстро: рядом с матросом в бушлате и бескозырке – танкист в чёрном комбинезоне, лётчик в щёгольской кожаной куртке. В недавнем прошлом офицеры от младшего лейтенанта до полковника, здесь все они, разжалованные, рядовые, лишённые орденов и медалей, обиженные судьбой, смертники.

Посылали штрафников на самые опасные участки, задания давали часто просто невыполнимые, потери несли страшные. Но судьбы оставшихся в живых – разные. Раненые получали прощение, им возвращали офицерские звания (часто ниже того, что было прежде), и они после излечения продолжали служить в обычных частях. Уцелевшие оставались штрафниками до смерти или ранения. Отсюда расхожая фраза «искупить вину кровью».

Жили мы тогда в почерневших от копоти печах старого кирпичного завода. Печи двухметровой толщины – надёжное укрытие от бомб и снарядов. И вот в соседних печах поместили ненадолго штрафников. Завтра на рассвете им в бой. Задача: взять «огурец». А пока – получали патроны, снаряжали автоматные диски, писали письма. Разговаривали вполголоса.

Ночью несколько штрафников подошли к солдату, охранявшему продовольственный склад, по всем правилам Устава караульной службы сменили часового, за несколько минут унесли ящики с водкой, мясные консервы, сало, хлеб.

Остаток ночи пировали, пели песни. Начальство этому случаю огласки не дало. Что с них возьмёшь? Штрафники...

Рано утром ушли. Через сутки вернулись. Из двухсот – шестьдесят. В кровавых бинтах. Молчаливые. Страшные. «Огурца» не взяли.

КОМЕНДАНТ ОСОБОГО ОТДЕЛА

Странный это был человек, лейтенант Тимошенко. Коренастый, среднего роста, смуглый, а глаза светлые. От его взгляда становилось не по себе. Одевался он по военным меркам франтовато: темно-синяя бекеша, отороченная серым каракулем, такая же кубанка. Всякое нарушение формы не позволялось даже офицерам, а ему всё сходило.

Мы были заняты службой, а он слонялся без дела, заглядывал в землянки, кое с кем заговаривал. Отвечали ему неохотно, как-то боязливо. Исчезнет на день-два и опять появляется. И всегда слегка навеселе. Полстакана водки ему молча наливал денщик генерала или сестра из медсанбата.

Вскоре я узнал его должность – комендант Особого отдела. А работа у него была такая: он расстреливал. Приводил в исполнение приговоры Военного трибунала.

Несколько дней лейтенанта Тимошенко не было видно. Я спросил о нем у старшины Рябченко. Он ответил тихо, с трудом: «Застрелился».

Разве может нормальный человек вынести такую работу?

Вот и не вынес ...

ЛЕЙТЕНАНТ ЧЕРВИНСКИЙ

Это был ноябрь 1943 года. Ленинградский фронт, засидевшийся в обороне, готовился к наступлению. Позарез нужны новые, свежие и точные сведения о противнике, нужны «языки», а их нет!

Не знаю, как на других участках, а на нашем – просто беда! Роту чуть не каждую неделю посылали за «языком» – и никаких результатов. Скучное людское пополнение из госпиталей, из запасного полка шло, в основном, в разведроту, но после каждого поиска половины людей как не бывало. Настроение у ребят было тяжёлое. Считали себя смертниками. Потеряли главное – веру в успех.

И тут случилась ещё большая беда.

Однажды, когда группа захвата вернулась ни с чем в боевое охранение, не нашли солдата Кроликова. Лейтенант Червинский доложил об этом командиру роты. Тот приказал найти Кроликова, привести назад или застрелить.

Лейтенант отправился. Приказ был практически невыполним. Ясно, что Кроликов сбежал к немцам. Так и надо было доложить. Но Лёша Червинский, милый, храбрый и весёлый рязанский паренёк, любимец роты, соврал. Вернувшись в нашу траншею, он доложил капитану, что догнал Кроликова, уговаривал его вернуться, но тот отказался, и Червинский его застрелил.

Разведчики вернулись в свои землянки и легли спать. Утром офицер Особого отдела разбудил Червинского. Тот повторил свой рассказ.

Особист: – Значит, Вы его застрелили? Почему же Ваш пистолет чист?

Червинский: – Его вычистил мой связной.

Особист: – Пока Вы спали, я допросил связного, он пистолета не чистил. Значит, Вы не стреляли. Значит, покрыли изменника Родины. Вы арестованы.

Я не поручусь, что были сказаны именно эти слова, но за смысл ручаюсь.

...Расстреливал Лёшу лично генерал Романов. Лёша стоял перед вырытой им же могилой. Генерал приказал: «Кру-гом!». Лёша не повернулся, выкрикнул в лицо генералу что-то злое и отчаянное. Лихой генерал выпустил в него всю обойму. А недалеко в снегу лежали ребята – разведчики, всё видели и плакали.

После этого роту расформировали. Нас больше всего обожгла расправа с Лёшей. Впрочем, в ряду других жестокостей и несправедливостей это, как я сейчас понимаю, – рядовой случай.

Но тогда была ранимость, были иллюзии...

Леонид Кац

ОТ РИФМ ВПАДАЯ В КАЙФ

Я пью кефир и кофе,
От рифм впадая в кайф;
И взяв наливку в штофе,
Вкушаю встречу с «Лайф».

Французов вспоминаю –
Их фильм «Фанфан-тюльпан»,
Но, как философ, знаю,
Что в фильмах я профан.

Все рифмы зафрахтованы
И зарифмован блеф
Строфа нафарширована
Фырчащим звуком «Ф».

РЕТРО

С наклоном легким по волне
Летит
 Лайнер,
Чем ближе – глубже и полней
Люблю
Лайму.
Я - клерк, и вряд ли отличу
От фала
 Леер,
Но из мильона отыщу

Ее
 Веер.
Положен отдых кораблю:
 Устал
 Лайнер;
Я ждал, что молвят мне «люблю»

Уста
 Лаймы...
В обратный рейс корабль грузить –
Гремят
 Краны.
Мне ж о любви пришлось грустить,
 Не скрыв
Драмы.

БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ

Невесты, устав от напастей
Исполнены СВЕТЛЫХ надежд.
Невинность и радость, и счастье
Исходят от светлых одежд.
С чего женихи - вот узнать бы! –
Все в ЧЕРНЫХ костюмах на свадьбе?

ЯМБЫ В ЧЕСТЬ ДАМБЫ

В честь ленинградской дамбы
Мы не слагаем ямбы,
Мы не танцуем румбы
Не исполняем самбы.
Не разбиваем клумбы,
У ленинградской дамбы
Но подсказал бы ум бы
К чему бы дамба нам бы?
Везде, где катакомбы,

Жильё б построить нам бы.
А дамбу – на потом бы.
И на хрена нам дамбы?

ФЛИРТУЮЩИЙ ЛИЛИПУТ

Литр белил
 за лиф Лиане
Лилипут,
 ликуя влил.
То ли тут
 любви влиянье,
То ли ли –
 липут шалил.

Олег Никогосян

БЕРЛИНСКИЕ СОБАКИ

*«Что ж, камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить...»*

Иван Бунин

Сколько лет проживаю в Германии, однако ни разу не видел бродячей собаки без хозяина. И дело, наверное, не только в совокупности действующих правил, но и просто в немецком менталитете.

В Германии собак любят. Их численность в стране равна примерно 4,8 миллионам, и 80% жителей относятся к ним с симпатией. Собаки здесь, как правило, очень мирные и добродушные, готовые к приятному знакомству с незнакомыми людьми и собаками. Простые граждане давно уже не используют их для охраны, не тренируют на злобу, а современные мягкие методы содержания, основанные на взаимной любви и понимании животных и их хозяев, позволяют животным сохранять добрый нрав.

В основе множества немецких законов и правил, регламентирующих взаимоотношения собак и людей, лежит простой принцип: никто никому не должен мешать.

В Германии взимается налог на собак. Годовая сумма его колеблется в зависимости от города от 100 до 150 евро в год на первую собаку и от 200 до 300 евро на последующие, независимо от размеров и породы собаки. Исключением являются только так называемые «бойцовые собаки», налог на которых повышен до 615 евро в год. Во многих городах малоимущие и получатели социальной помощи могут получить освобождение от налога или существенное его снижение. Налог не взимается со служебных собак, включая поводырей.

В больших городах сумма налога больше, чем в маленьких. Если Вы живёте в городе с большим налогом, можно записать собаку на товарища или родственника, живущего в городе с меньшим налогом. Заплатив налог, вы получите медальон с регистрационным номером. Многие считают, что деньги от налога идут на уборку города и благоустройство

собачьих площадок. К сожалению, это не так: переживший века налог на «роскошь иметь собаку» представляет собой просто дополнительный доход властей. Поэтому защитники животных, стремящиеся сделать содержание животных в городах более привлекательным и доступным даже малоимущим гражданам, добиваются его отмены. В последние несколько лет в ряде городов им удалось добиться такой отмены.

Разрешение на провоз собак в общественном транспорте действует по всей стране. В некоторых городах проезд бесплатный, в некоторых надо платить половину или полную стоимость проезда взрослого пассажира. В поездах дальнего следования маленькие собаки, которые помещаются в сумку, провозятся бесплатно, для больших покупают детский билет. Но и здесь в отдельных случаях предусмотрены скидки. Перевозить собак в такси также разрешается. Некоторые фирмы по аренде такси даже имеют парк машин, специально обустроенных для перевозки животных. Заказывая машину, надо обязательно сообщить, что вы едете с собакой, поскольку, несмотря на всеобщую симпатию к лохматым пассажирам, таксисты нередко избегают их брать. Чтобы не оставалось грязи, надо взять с собой небольшую подстилку для собаки или полотенце, что предохраняет сидение. В некоторых городах, например, в Дюссельдорфе, существуют специальные такси (Tiertaxi).

На медальоне ошейника можно выгравировать номер телефона и имя собаки. Это делают в любой гравировальной мастерской. В большинстве случаев это помогает лучше всего. Есть также бесплатный регистр потерянных животных, TASSO Haustierzentralregister (Frankfurter Strasse 20, 65795 Hattersheim, Tel. 06190-4088), куда можно внести своё животное, и в случае его потери подать прошение на поиск. Порядок оформления документов очень прост и предусматривает внесение в компьютер фотографии и подробного описания животного.

Как правило, заметив гуляющее без хозяина животное, граждане содействуют его возвращению домой. Если номер телефона неизвестен, то сообщают в приют или полицию. Если и это не помогло, – в бесплатный регистр потерянных животных. Ещё несколько лет назад для предотвращения потери делали татуировки на ухе. Сегодня же распространено микрочипирование - уколом в шею животному вводят чип размером с рисовое зерно. Номер чипа считывается специальными приборами, которые есть во всех приютах и у ветеринаров по всему миру. Стоимость чипа 25-30 евро.

В Германии действует закон о защите животных. Это первый в мире закон, защищающий животных от издевательств. Такие формы издевательства, как самовольное уничтожение и выбрасывание на улицу ненужных животных (вместо этого их отдают в приюты), караются штрафом до 25 тысяч евро. Строжайший запрет налагается на содержание собак на цепи и в условиях, не соответствующих их виду, купирование ушей и хвостов, уничтожение здоровых животных, отлов и содержание диких животных и птиц, обучение собак с применением издевательских способов, натравливание их на других животных, дрессировка на злобу, проведение собачьих боёв. Каждый год немцы тратят на своих собак примерно 5 миллиардов евро. В соответствии с обнародованными данными Союза немецких собаководов, эта цифра включает расходы на покупку собаки, приобретение кормов и сопутствующих товаров, оплату услуг ветеринара и налоговые расходы.

Сегодня в Германии насчитывается более 5 миллионов собак. И намечается тенденция к тому, что их хозяева все больше балуют своих питомцев предметами роскоши. Собачьи аксессуары весьма востребованы, бутики и магазины качественных дорогих вещей для собак процветают. Немцы очень любят дарить своим питомцам лакированную обувь, купальники, свадебные наряды, не говоря уж о различных комбинезончиках и шубках. Украшения тоже должны быть у хорошей собаки, считают немцы, и покупают, к примеру, ошейники со стразами от Сваровски. Но это, конечно, у обеспеченных хозяев, чьи питомцы разных шикарных мастей и, естественно, с богатой родословной. Обычно этих элитных собак редко увидишь в общедоступных общественных местах.

Сам я, как бывший «собачник» (у меня на родине были разные собаки: охотничьи, королевские пудели, но в основном – чистопородные немецкие овчарки – самые умные, по-моему), с интересом наблюдаю в Берлине встречающихся собак и их хозяев. Особенно интересно смотреть на них в вагонах городской электрички. У более или менее породистых – хозяева женщины, в основном молодые, которые заботливо подбадривают и ласкают питомцев, зачастую чувствующих себя неуютно среди большого количества незнакомых людей.

Но интересней всего наблюдать собак (в основном помеси), хозяева которых пьяницы или бомжи. Хозяин развалится, а верная псина преданно и с философским спокойствием лежит у ног; а если удастся заглянуть в её глаза, то видишь не тоску – лишь смирение и покорность: «Да, может, мне и не повезло, но что делать... Это мой хозяин, моя судьба».

Очень часто такие группки из нескольких бомжей, одетых в кожу

и металл, потягивающих нескончаемое дешёвое пиво из бутылок, равнодушно взирающих на своих собак, лежащих рядом, можно наблюдать у входа на станции метро или электричек Friedrichstrasse , Hackescher Markt, Alexanderplatz, Warschauer Strasse и др.

На земном шаре установлено немало памятников собакам — верным, преданным животным, которые оказывали неоценимую помощь людям. В ряде стран существуют даже кладбища для домашних животных.

В Берлине на кладбище для домашних животных установлен памятник собаке-проводнику слепых. Он изображает сидящую собаку с поводковой дужкой, за которую держится во время движения незрячий человек.

Всё-таки в чём причина, что в наш технический и модернизированный век люди испытывают такую тягу к домашним животным, особенно к собакам? Что это — попытка почувствовать естество природы; будучи одиноким (может, в душе) иметь рядом с собой живое существо для общения? Или просто дело в нас самих, надломленных жизнью и безразличием близких, когда радостно ощущаешь живое взаимопонимание, когда чувствуешь, что тебе рады всегда и преданны не за какие-то твои достоинства или привычки, а просто потому, что ты есть рядом, даже такой вот...

Может, так это и есть...

Дмитрий Хмельницкий

«ПОГАНО РАБОТАТЬ НА ЭТИХ ЛЮДЕЙ...»

О дневниках Евгения Лансере

Трёхтомное издание дневников художника Евгения Евгеньевича Лансере, вышедшее в 2009 году, исключительно ценный и редкий источник информации о советской жизни и культуре 20-30-х годов. История СССР таких источников, как письма, дневники и воспоминания (обычных в нормальных условиях) почти полностью лишена.

Дневники и воспоминания (настоящие, без оглядки на цензуру) в 20-30-е годы в изобилии писали и публиковали эмигранты. Но их личный опыт ограничивался, как правило, дореволюционной эпохой и, в лучшем случае, первой половиной 20-х годов.

Для тех, кто к концу 20-х годов (и далее) оставался в СССР такого рода занятия стали опасными. Переписка с заграницей перлюстрировалась, а дневниковые записи в случае ареста, вероятность которого была непредсказуемой, могли стоить жизни.

В 30-40-е годы честные дневники в СССР вели либо абсолютно лояльные режиму, либо очень смелые, либо очень легкомысленные люди. Опубликовано их по сию пору совсем мало. По уровню честности, рискованности, длительности временного диапазона и уровню понимания происходящего рядом с дневниками Лансере можно поставить разве что дневники Чуковского, изданные в 90-е годы.

Евгений Лансере лояльным советской власти ни в коем случае не был. Поразительная откровенность его дневников объясняется, скорее всего, легкомыслием, обманчивым чувством личной безопасности – несмотря на аресты множества знакомых и родного брата, архитектора Николая Лансере, который умер в заключении в 1942 г.

Дневники Лансере состоят из множества информационных пластов, высвечивающих самые разные стороны советской жизни. В том числе,

они развеивают советский ещё, но прочно устоявшийся миф о лояльности советской культурной элиты режиму и идеологии.

С 1934 г. Лансере принадлежит высшему слою советской художественной иерархии. В 20-е годы он – профессор Тифлисской Академии художеств.

В 1932 г. в СССР проводится государственная реформа архитектуры. Современная архитектура в стране оказывается под запретом, возникает сталинская. Вместе с ней возникает спрос на монументальные росписи общественных зданий. Лансере, имеющего огромный опыт таких работ ещё с дореволюционных времён, приглашают в Москву. В разгар жилищной катастрофы в стране он получает роскошную квартиру¹ в Милютинском переулке, д. 20, (неподалёку от так называемого «дома Ягоды», д. 9, где жила верхушка НКВД) и дорогостоящие заказы. В начале 1940-х годов Евгений Лансере – профессор, академик живописи, лауреат Сталинской премии (II степени, 1943 г.), народный художник РСФСР (1945 г.), орденосоносец. Он получает огромные гонорары и живёт роскошной по понятиям того времени жизнью.

Но на все это формальное благополучие накладывается ощущение постоянной трагедии – и личной, и общественной. Лансере испытывает отвращение к советскому режиму, к казённым заказам и заказчикам. Он отчётливо понимает противоестественность того, чем он и его коллеги занимаются.

Пожалуй, самая резкая запись по поводу советского режима сделана 28 июля 1944 года:

«Колхозы убыточны и ненавистны. Здесь огромное большинство – туняядцы, ненужные, но и голодные, рабы... Идиотский режим, очень удобный только для ничтожной кучки и подкармливаемых гепеушников, да нашему, отчасти, брату «увеселителю»... Поэтому с готовностью стараемся...».

Но отвращение Лансере к режиму прорывается много раз и раньше: 7 февраля 1930 г.:

«Слухи о кровавых усмирениях, о массовых ссылках; вчера утром видел партию в 15-20 «военнопленных кулаков», окруж. большим чекистским конвоем, ободранные».

23 ноября 1930 г.:

«Вечером гости <...> говорили об убеждённости большевиков, что продукция увеличивается, что это только обывательщина думает о недостатке товаров, что колхозников заставит работать голод; что вся система очень цинична и поразительно крепка».

20 февраля 1932 г.:

«Невероятное оскудение. Конечно, это система – довести всех и все до нищеты: нищими и голодными удобно управлять»

22 марта 1932 г.:

«Открытка от Таты о приговоре Коле. 10 лет работ. Сволочи. Все глубже проникаюсь сознанием, что мы порабощены подонками народа, хамами; грубость, наглость, непонимание и недобросовестность во всем совершенно невообразимые при других режимах» (Далее отсутствуют 17 страниц)

22 мая 1934 г.:

«Д.П.< Гордеева> приговорили к 5 годам лагеря. Ананова, почти отбывшего свой срок, снова закатали на 3,5 лет. До чего же мы привыкли смотреть на это не как на акт правосудия, логики, а как на случай, заражение тифом и т.л.»

23 июня 1938 г.:

«...так все противно, все отравлено халтурой, шаблоном, фальшью... Характерно, что совершенно прекратилась переписка, никто ничего не пишет и нет охоты общаться».

2 июля 1942 г. (после известия о смерти в лагере брата, Николая Лансере):

«Милый и чудный человек, неповинно замученный тысячу раз проклятым режимом, проклятыми «установками» и «директивами» сволочной шайки».

18 сентября 1942 г.:

«Аморфность чудовища. Неслыханный террор, уничтожение интеллигенции, аморальность, нищета массы – результат режима».

Иногда в записях Лансере, обычно убийственно трезво оценивавшего успехи режима, встречается странная наивность. Вот например, запись от 14 августа 1943 г.:

«Из слов Ив[ана] Ивановича – понизили производство полевых культур, не только скот, но и урожайность понизились. Неужели вся сельскохозяйственная выставка – блеф? Не может быть; но шахер-махерство, вероятно, есть все-таки; ибо все сравнивается с 1913-ым годом, не учитывая того прогресса, который был бы и при всяком другом режиме...».

Характерна запись от 2 июня 1946 г, за два месяца до смерти.:

«Мне кажется, что в большинстве люди моего времени и моего круга в тяжчайших испытаниях, выпавших на их жизнь, оказались очень честными, мужественными стойкими. Большинство же «демократии», плебса, как и во все времена, – дрянь и сволочь. К каждому человеку я отношусь доверчиво и благожелательно, но ненавижу наш культ этого плебса и ту сволочь (газетную и писательскую мразь), что шумит и кишит в жизни. Впрочем, из близких никого назвать не могу. Хочу вспомнить

кого бы, и приходит на ум – писатель Леонов, которого почти не знаю... и большинство художников-живописцев из МОССХа. Мне они отчего-то представляются (да так оно, конечно, и есть) сугубо подлыми и продажными – всякие Богородские, Шурпины, Шмариновы (пусть и довольно талантливые), Манизеры, Иогансоны и т.д.»

Лансере родился в 1875 году. Люди его времени и круга – это его образованные ровесники, которым в 20-е годы было около сорока лет, чуждые большевизму и обладавшие стойким иммунитетом к советской идеологии и советским нравам. Парадоксальным образом именно из этой социальной группы (той её части, которая осталась в России) оказалась сформированной сталинская художественная элита. На идеологическом жаргоне конца 20-х годов эти люди назывались «попутчиками». Вряд ли Лансере прав, утверждая, что «честными и стойкими» осталось большинство из них (в сталинской системе честные и стойкие имели мало шансов выжить), но к режиму большинство из них, несомненно, относилось с отвращением. О тех, кто воспринимал советскую пропаганду всерьёз, Лансере пишет с презрением:

«Что за чудовищная жизнь, насквозь пропитанная злобою, подлостью, ложью. И есть ещё идиоты, вроде Моора, воображающие о величии, о великой эпохе! Большинство, конечно, просто сволочь» (1 июня 1939 г.)

«В корреспонденциях с фронта все до того выхолощено, бездарно и хамство <...> Ненавижу пишущую братию; но ведь и мы художники, не лучшие. Не хожу в ЦДРИ, и рад, что не вижу свою братию – Манизеров, Яковлевых, Рабиновичей, Ряжских и имя им легион» (7 сентября 1944 г.)

* * *

Лансере скрупулёзно фиксирует в дневнике все свои доходы – гонорары, выплаты за консультации, жалованье от разных ведомств. Чаще всего они сопровождаются рассказом об обстоятельствах получения заказов. Это особый, чрезвычайно любопытный пласт информации. Механизм создания, финансирования и цензурирования сталинского искусства выявлен в дневниках чрезвычайно отчётливо. Он заслуживает отдельного исследования.

Месячный доход Лансере в 30-40-е годы составлял несколько тысяч рублей в месяц. Лансере ясно осознавал, что его доходы (и соответственно, уровень жизни) противоестественно высоки по отношению к обычной зарплате в СССР.

Вот запись от 8 апреля 1939 г.:

«Подсчитал, с 1 янв[аря] получено 8684, что даёт по 2895 на месяц».

Через 8 месяцев, 11 декабря 1939 г.:

«Игорь Ариц[ыбушев]² получил 3 года – все мы это восприняли, как удачу, счастье, Миля повеселела, приободрилась. Она работает на мыловаренном заводе, при выработке нормы, что-то около 1000-1500 упаковок в день, она получает 160-170 р[ублей] в месяц!.. Сверхурочный час оплачивается в ...36 коп[еек]! При этом в норму оплаты входит и ночная смена (с 12 ночи до 8 утра через шестидневку). Кроме того, у неё 1-2 урока англ[ийского] яз[ыка] по 14 р[уб лей] за 2 часа».

Примерно столько Лансере получал за участие в одном-двух совещании в том или ином ведомстве.³

* * *

Художественные взгляды Лансере более чем консервативны. Даже Суриков для него – бунтарь: «Я холоден к Сурикову оттого, что по существу, я благонамеренный академист, враг всякого бунтарства и новаторства ради новаторства; всего более меня влечёт «чистота, точность формы» (25 марта 1946 г.). Здесь имеется в виду точность соответствия реальности, объективному сходству.

«Мир искусства» для Лансере - это крайний предел в отходе от академической школы. Эскизы с натуры воспринимаются им вполне традиционно, только как подготовительный материал к картине, которая пишется в мастерской. В этом смысле характерен эпизод дискуссии с живописцем Михаилом Шароновым:

«...у нас обедал Шаронов. Говорил, что этюды подготовительные к картине нужно не очень заканчивать, чтобы не истощать себя <...>, а вот Иванов довёл свои этюды до «чёртиков», и уже в картине вышло хуже. Я оспаривал; считаю, что без подробных этюдов - не выйдет». (1 декабря 1939 г.).

Пикассо⁴ и Сезанн Лансере чужды⁵. Шагал и Дюфи для него – шарлатаны.⁶ Видимо, даже в близком ему круте «Мира искусства» у Лансере было немного полных единомышленников. 12 ноября 1944 г. он записывает:

«Перелистываю «Историю живописи» Бенуа; обидно, что он «считается» с кубистами, с Сезанном, Гогеном <...> Мои боги Менцель, прерафаэлиты (ну и «старики») <...> А что Гоген, кроме удачной пестроты?».

В записи 20 декабря 1934 г. Лансере ещё точнее формулирует свои вкусы:

«Нужно думать о монументальной < живописи >. Нужно самому себе многое выяснить – ведь вот весь XIX не монументален, несмотря на всю внушительность Сурикова. Поразителен по богатству Врубель. Но себя чувствую ближе к Семирадскому, хотя сознаю, конечно, его скуку, но завидую мастерству».

Чужд Лансере и «Бубновый валет», что не мешает поддерживать дружеские отношения с бывшими бубнововалетчиками (Кончаловским, Куприным...), ставшими, как и сам Лансере, сталинскими академиками.

О Петрове-Водкине Лансере пишет с неприязнью, хотя отдаёт должное его натюрмортам, а из сюжетных картин лучшей считает «Тревогу» (запись от 15 февраля 1939 г.). В Ван Гоге Лансере не видит «ничего примечательного» (запись от 28 марта 1942 г.)

Матисс ему тоже неприятен:

«В разговоре с А.В. <Куприным> мне пришло в голову, говоря о Матиссе, что он после раздробленности цвета импрессионистов повернул к одному сплошному цвету – плакату. Но формы же нет? Куприн: что он умеет рисовать, но ведь не выражает это ничем?» (запись от 28 апреля 1942 г.)

Из цитаты видно, что «умение рисовать» для Лансере не означает владение рисунком в принципе, то есть умение выразить графикой пластические ощущения, а умение рисовать похоже, с объёмным моделированием формы. Подход вполне ученический.

Впрочем, судя по записи от 5 сентября 1926 года⁷, в 20-е годы Лансере к Сезанну и Гогену относился с большей симпатией, чем к концу жизни, но Пикассо и тогда решительно отвергал. Раздражает Лансере и популярность часто упоминаемого Пиросманишвили.

Видимо, это внутреннее отторжение неакадемической живописи и позволило Лансере без усилий и стилистической ломки вписаться в сталинскую художественную культуру.

Но на твёрдые художественные принципы Евгения Лансере накладываются с одной стороны постоянная неудовлетворённость собой и трезвое понимание того, что его дядя Александр Бенуа и сестра Зинаида Серебрякова – художники гораздо более крупного калибра, чем сам Лансере; с другой стороны – хроническое отвращение к государственным заказам с их казёнными сюжетами.

Через все записи постоянным рефреном проходят сетования на неумение добиться того, что хочется, на постоянные неудачи... Хотя официально эти «неудачи» проходят в качестве заказов на «ура». Самодовольство (постоянно отмечаемое, например, у Кончаловского)⁸ – для Лансере одна из самых неприятных черт характера.

Запись от 8 марта 1941 г.:

«Начиная, особенно с последнего лета, чувствую свою старость и приближение дряхлости. Скучно. Но, кроме того, на психику этого времени угнетающе действуют глубокое разочарование в своих силах; неудача эскизов «Революция», сколько я сам себя не утешаю, что «нашёл» и прочее... Отложить нельзя, а между тем притупился...

И поэтому особенно горько и завидно – чувство лёгкости, удачи, талантливости в замечательных] этюдах Корина (МОССХ) и в смеющейся голове автопортрета Зики?...»

В записях Лансере отчётливо виден психологический феномен, характерный для подцензурного художественного сознания. Когда люди лишены возможности самостоятельно выбирать (а, следовательно, и оценивать) темы, сюжеты, живописные и композиционные приёмы для своих работ, единственным очевидным критерием художественного качества остаётся голое техническое умение – в узких рамках дозволенного художественным контролем (худсоветами, худфондами и т.д.).

Все остальные, ключевые для нормального творчества, аспекты остаются за скобками и не обсуждаются. В таких условиях вырабатывается что-то вроде художественной шизофрении.

Лансере презирует казённые темы и сюжеты собственных росписей, но при этом испытывает постоянный страх сделать свою работу плохо (со своей, а не худфондов и правительства точки зрения). Отсюда бесконечные рассуждения о недостатках и достоинствах живописи, рисунка, композиции заказных работ, сами названия которых он произносит (пишет) с явным трудом: «Революция», «Сталин в Батуми» и т.д.

Вот запись от 14 апреля 1941 г.: *«У нас Нестеровы. Комплиментировали мою «Революцию» словами, кот. мне были очень приятны: «ералаи», «сумбур», «порыв», «поза Ленина очень хороша», «трагизм». И т.д. Ряд очень дельных советов по «Красной площади»; главное: «не понятно, что Сталин стоит на возвышении, а не вдали, а тогда он велик, а первый план мал»...*

Абсурдность ситуации усугубляется тем, что автор комплиментов – блестящий живописец Михаил Нестеров, не меньший противник большевиков, чем сам Лансере. В нормальных условиях такой разговор и такие оценки были бы невозможны.

Или не менее абсурдная с точки зрения внешнего наблюдателя запись от 12 июня 1933 г. о картине Игоря Грабаря: «В.И. Ленин у прямого провода»:

«Картина Игоря (Ленин <«У прямого провода»») готова, пишет её с 1927; в ней очень много достоинств, но главного, пожалуй, нет, т.е. значительности в лицах Ленина и телеграфиста».

Лансере не может не осознавать своего унижительного положения по сравнению сядей и сестрой (Александром Бенуа и Зинаидой Серебряковой), живущими в эмиграции и свободными в своем творчестве. В дневниках нет, кажется, ни одного упоминания их отзывов о работах Лансере сталинского времени. Упоминания о том, что сам он живёт в обстановке фальши, безвкусицы и халтуры встречаются в дневниках постоянно.

В 1940-е годы Лансере с одной стороны рад большим заказам, например, на эскизы росписей для Дворца Советов, с другой оттягивает работу из-за отвращения к ней, поскольку ничего идеологически нейтрального там придумать нельзя.

Вот запись от 12 августа 1938 г. (об эскизах к советскому павильону на выставке в Нью-Йорке 1939 г.):

«Сюжетно мне это страшно скучно.<...> ...от этого энтузиазма – улыбающихся рож, протянутых рук – воротит! А между тем только это и предстоит делать – во Дворце советов».

Запись от 26 июня 1943 г.: *«Тут у меня на стенке висят эскизы для Дв. Сов. И меня тошнит от «ликующих пролетариев всех стран».*

* * *

Расхождения в художественных взглядах Лансере ни в коем случае не переносит на человеческие отношения и оценки. В этом смысле дневники Лансере – бесценный и уникальный источник вполне объективной информации о личностях, составлявших сталинскую художественную элиту и знакомым нам, в основном, по апологетическим советским публикациям – в редких случаях дополненным случайными слухами. Лансере даёт психологические оценки огромному множеству известных людей – художников, искусствоведов, архитекторов. Вот несколько ярких примеров.

В дневниках часто упоминается Игорь Грабарь¹⁰, хороший знакомый Лансере ещё с юношеских лет. В целом его образ в записях Лансере подтверждает прозвище Грабаря тех лет – «Угорь Обманулович Грабарь».¹¹

Любопытен записанный Лансере «самодовольный» рассказ Грабаря о том, как тот писал картину «Ленин и Сталин принимают крестьян». Грабарь нанял натурщиков-киноактёров, после недели режиссёрской работы расставил их в воспроизведённом в музее Ленина кабинете Ленина и писал с натуры – сначала большой эскиз, а потом всю и картину. Стоило это ему до 3 тысяч рублей.¹² Лансере описывает эту методику изготовления живописи с лёгкой брезгливостью.

С неизменной симпатией (хотя иногда и с иронией) пишет Лансере

о другом старом знакомом и друге – Алексее Щусеве. Для Лансере Щусев в художественном отношении – единомышленник. Это немного странно, учитывая активную роль Щусева в советской архитектуре эпохи конструктивизма. Впрочем, в 20-е годы Лансере был в Тифлисе и мог просто не заметить взлёта и падения современной архитектуры в СССР, ему в принципе, видимо, не интересной. Так что для Лансере, приехавшего в Москву в 1934 г., сталинский Щусев мог быть естественным продолжением хорошо ему знакомого Щусева эпохи модерна. Тем более, что, как и до Первой мировой войны, Щусев был и главным заказчиком Лансере – многие самые крупные свои работы Лансере делал для зданий, построенных Щусевым – Казанского вокзала в Москве, института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина в Тбилиси, гостиницы «Москва» и т.д. Во время войны Лансере исполнил серию акварелей для проекта реконструкции города Истры Щусева, который был издан в 1946 г. отдельной книжкой.

В 30-е годы положение Щусева как автора мавзолея Ленина и нескольких ключевых для эпохи образцово-показательных проектов в архитектурной иерархии исключительно высоко. Но в 1937 г. происходит сбой. 30 августа 1937 г. в «Правде» появляется письмо архитекторов Савельева и Стапрана, вынужденных соавторов Щусева по гостинице «Москва», в котором Щусев обвиняется во всех смертных грехах вплоть до политических. Начинается кампания по травле Щусева в «Архитектурной газете», «Правде» и в Союзе архитекторов, в которой добровольно или по долгу службы участвует множество его коллег. Щусев вынужден оставить руководство 2-й мастерской Моссовета, со стороны ситуация выглядит так, будто его вот-вот арестуют. Но внезапно, несколькими месяцами спустя, Щусев оказывается главным архитектором института Академпроект и кроме того получает заказ на проектирование здания НКВД на Лубянской площади в Москве. Видимо, по некоей причине приказ начать его травлю отдал кто-то из членов Политбюро (Молотов, Каганович?), но глава НКВД Берия, старый заказчик Щусева ещё по зданию института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина в Тбилиси, взял его под защиту и перевёл в своё ведомство (Академпроект занимался в первую очередь проектированием секретных НИИ). Впоследствии этот эпизод не помешал Щусеву, единственному из всех советских архитекторов, стать лауреатом четырёх Сталинских премий.

Травле Щусева в дневниках Лансере посвящено множество эмоциональных записей, интересных резкими характеристиками её участников.

30 августа 1937 г.: *«Мы все и я сильнеешим образом были возмущены грязным выступлением Стапрана и Савельева против Щусева. Хороша газетка!»*.¹³

7 сентября 1937 г.:

«Продолжает возмущать история со Щ[усевым] – письма Чечулина, Крюкова, Рухлядева. Подбирается коллекция мелкой сволочи»

11 сентября 1937 г.:

«К крупной сволочи отношу Алабяна; матёрый карьерист. К мелкой сволочи: Чернов, Биркенберг, какая-то бездарность француз... Говорил с Гольцем, фамилия которого тоже фигурирует в ряду мелкой дряни, вроде Бумажного и проч[их] (не помню); говорит, что вынужден, что то, что говорил в защиту – не печатают. Вся эта грязь вызывает глубокое чувство отвращения ко всякому общению. Сидя в Академии, чувствовал себя среди предателей. Подальше бы от всякого участия в их жизни»

12 сентября:

«В очередном номере паскудной «Архитектурной газеты» выуживаю имя проф[ессора] Голосова, выступ[ившего] против Щусева среди своры мелких, никому не известных имён».

23 сентября:

«Как все это время, все думаю о Щусевском деле. Минутами злорадия и раздражение. Жажда наговорить и выплюнуть презрение всей этой сволочи. К черту, больше не буду знаком ни с Сардарьяном, ни с Гольцем, уже не говоря о всей этой дряни, как Крюков, Чечулин, Колли; жалки Щуко и Жолтовский; вспоминаем Фомина и Таманова – это были люди чести, благородные! Отмечаю Чернышева и Рьельского выступивших чуть-чуть за Щусева и гл(авного) инженер[а] Щусевской мастерской (№2)... Мой Женя молодец! единственный, который поднял руку против резолюции на собр[ании] 2-й мастерской. Юра защищает Алабяна, может быть, и прав...»

Щусев не вёл дневников и не писал мемуаров (во всяком случае, никогда о них ничего не слышал). Да и странно это было бы, учитывая секретный характер большинства его крупных объектов. Но о реальных его построениях свидетельствует запись в дневнике Лансере 20 февраля 1943 г.:

«А.В. говорил, что у него больше нет честолубия – что наш режим его вытравил. А вот у Нестерова было – ненавидел Грабаря; у Жолтовского, что кто-то под него подкапывается...»

Речь здесь идёт о профессиональном честолубии, о естественном для художника стремлении добиваться успехов в творчестве. Но если творчество подцензурное и контролируется не автором, а цензурными ведомствами, то и стремление к успеху (не карьерному, а по гамбургскому счёту, который у каждого художника свой), теряет смысл. Несомненно, фраза Щусева отвечала и мыслям Лансере, поэтому возникла в дневнике. И подчёркивается, что честолубие Нестерова и Жолтовского – совершенно иной природы.

Слова Щусева о потере честолубия при советском режиме хорошо иллю-

люстрируются его же фразой из написанной в 1938 году автобиографии. Щусев описывает деятельность архитектурной группы под управлением Жолтовского в 1918 г. при Московском Совете, где сам он был «главным мастером». Группа занималась проектами реконструкции и озеленения Москвы:

«Все это было сделано кустарно, без установки, которые могли дать только вожди и руководители революции. Это сделали мы, архитекторы, как понимали».¹⁴

Установка на невозможность самостоятельного архитектурного творчества, избавленного от руководства со стороны партийной верхушки, была ключевым принципом сталинской архитектурной культуры. Щусев сформулировал её с неожиданной даже для того времени наивной откровенностью. С личным творческим честолюбием она была, конечно же, несовместима.

Об атмосфере конца 30-х говорит ещё одно упоминание Щусева в записи от 19 марта 1939 г.:

«Шпиономания: Щусев: «Жена М.Н. Яковлева определённо шпионка». Щусев не принимает Билибина – его жена под подозрением у него. Пугает Кончаловского радиоаппаратом».

* * *

В дневнике есть несколько записей, чрезвычайно интересным и новым образом иллюстрирующих характер сталинской военной пропаганды.

12 января 1941 г.:

Вклеена вырезка из газеты:

«Реджиме фашиста» от 31 декабря, комментируя речь Рузвельта, сообщает, что «США уже с некоторого времени могут считаться решительным и деятельным врагом Гермалии и Италии».

Указывая, что «эта война является лишь концентрацией на одном фронте всех сил мировой плутократии», газета заявляет, что «пролетарские народы должны создать единый фронт для уничтожения общего врага».

Газета «Стамп» от 31 декабря в обширном комментарии на речь Рузвельта пишет:

«Мы не можем обойти молчанием наше глубокое негодование по поводу двусмысленного и смутного духа всей проповеди Рузвельта. Поборник демократической справедливости хочет исключить из цивилизации тоталитарные державы во имя гуманности и международного права, которые служили и служат для прикрытия «преступлений и привилегий плутократического империализма».

Комментарий Лансере:

«Курьёзно: из Германии и Италии только сугубо официальные сводки, ничего о положении в этих странах. А тут вдруг о «пролетарских» государствах... значит и мы сними, с Гитлером? – и душою и телом. (Тело-то давно)».

Заслуживает внимания запись от 20 мая 1941 г.:

«Вчера, 19-го, на обсуждении освещения выставочного зала Нью-Йоркского павильона в парке культуры – И.Э. Грабарь мне шёпотом: «вопрос войны – дело нескольких дней. Англичане и немцы помирятся и бросятся на нас»... Трудно себе это представить, Гитлер потребует от нас, скажем, пропустить его в Индию? Во всяком случае. Как будто всюду устраивают (именно, не строят) убежища (от газа? от бомб?)».

Грабарь был несомненно более, чем Лансере, информирован о разных, циркулировавших в приправительственных кругах слухах. Скорее всего, в его варианте развития событий отразилась одна из подготавливавшихся для будущей войны пропагандистских версий. Готовившееся вскоре нападение на Германию неминуемо привело бы в случае её быстрого разгрома к следующей фазе войны – столкновению с Англией и её союзниками. Поэтому тезис о подготовке совместной войны Англией и Германией против СССР вполне мог быть запущен в неофициальное обращение заранее. И, естественно, забыт сразу после 22 июня. В советской военной пропаганде 30-х годов Англия в принципе играла гораздо более важную роль «врага», чем Германия.

В записи от 5 июня 1941 г. речь опять о подготовке к войне:

«Накапливавшиеся было доказания скорой войны (какие-то докладчики: «время нам самим не дожидаясь перейти в наступление»), бомбоубежища, мобилизации и т.д. <...> – после опровержения ТАСС, что у нас с немцами наилучшие отношения, – успокоились; собираемся достраивать дачу...»

Значит были докладчики (видимо, для специального, ограниченного контингента слушателей), которые открыто намекали на то, что нападение на Германию не исключено. Во всяком случае, советская культурная элита уровня Лансере была на этот счёт информирована.

¹ Запись от 6 июня 1934 г.: «Большая загадка – кому обязан таким роскошным даром как эта квартира? Крюков, Жолтовский, Фомин? Щусев и Щуко, конечно, неповинны... Малиновская–Енукидзе? Бубнов? «Мудрость» правительства или случайность?»

² Арцыбушев Игорь Сергеевич, двоюродный брат Ольги Константиновны Лансере, жены Евгения Евгеньевича Лансере.

³ Запись от 5 октября 1939 г.: «За два совещания в Комитете искусств – 194»

Запись от 27 декабря 1939 г.: «Перевод почт. от Дворца Советов за участие в каких-то совещаниях – 285».

⁴ В записи от 14 апреля 1945 года Лансере объясняет популярность Пикассо его коммунистическими симпатиями:

«Сегодня в МОССХе ещё раз смотрел англичан – крохи хорошего и сколько же признака варварства, наследия Пикассо. И очень знаменательно, что «прогрессивные», «левые» крути именно и поддерживают за границей это искусство. Народ сам по себе конечно здоровее и так же по-настоящему не согласен (если знает) с коммунизмом. А «идеология» кучки беспокойных мечтателей ловко и беззастенчиво мутит там, а у нас сидят... Спасибо за многое, но с самим ядром идеи и практики (НКВД) я непримирим, конечно!».

⁵ Запись в октябре 1938 г.: «Просматривал в Академии Архитектуры «Studio» и другие журналы – живопись все дрянь. <...> Жвачка – кубизм, Сезанн, Гоген, Утрилло»

⁶ Запись от 22 апреля 1941 г.: «Меня занимают вопрос, поставленный мною же Брунову (Ник. Ив.) на засед. Академии Архитектуры: Пикассо et C-nie должны ли бы получить звание доктора живописи?... Брунов и даже Веснин поразились моим сомнениям <...> М.б. через 10-20 лет и можно объективно отдать должное какой-то стороне этих шарлатанов тут и Шегаль (Шагал – Д.Х), и миллион иных Дюфи etc.».

⁷ «Любимцы – Моне, Сислеи, Дега, Ренуар, Марке, 2 Матисса, Пювис, Лобр, Карьер, некоторые Сезанн, Гоген, Вуйлар, М. Дени и отвергаю Пикассо, Дерена, Руссо. Очень не понравились Роден, большие панно Матисса, М. Дени.» (5 сентября 1926 г.)

⁸ Запись от 20 ноября 1932 г.: «У Кончаловских – самодовольство и ощущение своего счастья (именно своей неизменной удачливости) скорее, чем своего величия, так и переплещивается через край...»

⁹ З.Е.Серебрякова. Автопортрет в шарфе. 1911. Акв., темпера. ГМИИ им. А.С.Пушкина, Музей личных коллекций, Москва. – прим. ред.

¹⁰ Запись от 8 июля 1938 г.: «...как все его не любят: Нестеров, Юон, да и все художники. Интересно, кто с ним дружит, с кем он близок? Я одно знаю, что у меня каждый раз после встречи с ним тяжелое чувство оскорбленности».

¹¹ Услышал от отца, Сергея Хмельницкого, в 70-е годы.

¹² Записи от 4 июля и октября 1938 г.

¹³ На собрании архитекторов А.В.Щусев выступил против осуждения И.Э.Якира (он был обвинен в участии в «Военно-фашистском заговоре в РККА» и расстрелян в 1937 г.). За это коллеги- архитекторы подвергли Щусева жесточайшей критике в «Архитектурной газете». – Прим. ред. дневников.

¹⁴ Щусев, П.В. Страницы из жизни академика Щусева. М., 2011, с. 336.

Евгений Денисов

Стихотворения разных лет

* * *

Возвращаюсь к своим истокам
и охаян, и ухандокан,
и слегка от всего охреневший,
отсидевший и поседевший,
и свое, в основном, отпевший.

Но по-прежнему верю в чудо,
в то, что в жизни все – не напрасно,
и дышать полной грудью буду,
верить в завтра. Что будет ясным.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

Стояла ночь, когда этап мой прибыл
на родину, в мой город. Наконец-то!
Назавтра предстояло вновь проститься.
Нас сорок шесть в „столыпине“ и значит
по двадцать три на воронок – битком набитый.
Везли в тюрьму на «Красных партизан».
Поскольку в клетку заходил последним,
мне повезло – остался у решетки
и, если чуть присесть, то было видно
где проезжаем: здания, деревья,
прохожих поздних редкие фигуры...
Вот улица моя... О, Боже, неужели?
Вот книжный магазин, а вот киоск газетный...
Как близок дом, где стены и постель
меня забыли,
но ждет стареющая мать.

ФЕВРАЛЬ В ДУШАНБЕ В 1990 ГОДУ.

Кому камень – в лоб, кому пуля – в глаз,
Стекла окон – вдребезги – в снег и в грязь,
В моем городе – что ни день – указ,
В моем городе – комендантский час.

Наш вчерашний день навсегда угас,
Мирный город мой – на Голгофе Спас –
Что ни день, то ТАСС вспоминает нас,
В моем городе – комендантский час.

Появляется из-за гор спецназ,
В моем городе убивают нас...
Вот и весь мой крик, вот и весь мой сказ –
В моем городе – комендантский час.

ШАЛДЫБАЛДЫ

*В Киргизии вблизи города Сулюкта есть
населенный пункт Шалдыбалды.*

Когда все в жизни до балды,
Езжай пожить в Шалдыбалды

Коль разболтались все болты,
Спасенье лишь в Шалдыбалды.

Пока ещё не помер ты,
Скорей езжай в Шалдыбалды!

Там всех чудеснее цветы
И очень вежливы менты...

Со счастьем будешь ты на «ты»
В Шалдыбалды, в Шалдыбалды.

* * *

Спасибо тебе, Берлин,
за Кройцберга ночи длинные,
июни унтерденлиндные,
вспышки ноябрьских рябин.

Спасибо тебе, мой город,
за чаек над Хайлигензее,
за щедрость твоих музеев,
за то, что нашёл здесь горы.

Спасибо тебе, Германия,
утро моё ты раннее,
пусть на исходе дня,
за то, что душе подраненной
второе дала дыхание,
что приютила меня.

ЛЕФОРТОВО

Не вправе забыть я свой славный венец –
Лефортовский мрак, заключенный спец,

В восьмидесятых, как в тридцать седьмом,
И хамство, и пытки – гебэшный содом.

Слегка подрумянены, в главном – всё то же:
Терзали отца и меня те же рожи,

И бабушку, что не вернулись назад
Оттуда, где вечные холод и ад...

Вновь тусклый сочится из лампочек гной,
И страж большеусый опять за спиной.

А чтоб невзначай не столкнуться с другим,
Таким же, как ты, истощённым, седым,

Чтобы конвойный не встретился зэк,
Страж щелкает пальцами: Крэк-крэк-крэк. Крэк!

И в тот закуток, он всегда в тупике,
Ведёт вертухай, словно на поводке.

Как Анна с Киафой тоскуют и ждут –
Гладков и Малащенко спать не дадут.

Мы сядем, совсем как тогда, vis-à-vis.
– Друзья твои – кто?! Назови! Назови!

И сколь притягательной кажется смерть –
Она лишь свобода и верная твердь.

* * *

Ани Адонай элоэйхэм.
(Молитвенник, сидур).

имя в несколько букв,
два удивительных слога –
это и есть акведук,
что нас единит с Богом!

тот акведук – таинственен,
верю – и в этом всё дело –
мы с Ним – одна Истина,
мы с Ним – одно тело!

ГЁРЛИТЦЕР БАНХОФ

мой берлинский вокзал,
мой Гёрлитцер,
ты мой бред,
ты моя бессонница
синева в окошке раскроется –
прилетит на балкон мой горлица,
и душа моя успокоится.

* * *

Когда я умру, будет звонкий и ласковый май
и солнцу навстречу поднимутся травы и листья,
и снова наполнится мир торжествующим свистом
и щебетом птиц, от весны посходивших с ума.

Тот день – будто ливнем облитый сиреневый куст,
и глупо покажется вдруг не поверить, что счастье
навек наполнит тебя, целиком и всевластно.
– Да здравствует жизнь! – пусть сорвётся с немеющих уст!

ХАНУКА В БЕРЛИНЕ

Ханукальные свечи у нас,
безусловно, нужней, чем на юге,
ведь Берлина декабрьские ночи
холодней и длинней,
чем в израильский кислев.

Ты не можешь не верить в успех
ханукального чуда.
В то, что с каждым днём света
будет в окнах и душах на лучик побольше,
пусть будет хотя бы чуть-чуть посветлей, чем вчера.

...Для того мы и свечи во тьме зажигаем!

* * *

Хорошо быть археологом –
помимо своей квартиры
у него есть ещё одна комнатёнка –
эпоха страны, которой он занимается.

Хорошо быть археологом –
ему есть с чем сравнить свой возраст!
И это помогает, старея,
не слишком расстраиваться.

Ведь археолог и в семьдесят
иногда кажется себе
неприлично молодым.
Что такое «семьдесят»
по сравнению с семью веками,
а тем более – с тысячелетиями!?

МАДРИГАЛ ДАНГАРЕ

Где с горою сомкнулась другая гора,
Где овечьи бесчисленны бродят стада,
Средь степи, как оазис, собою горда,
ты сияешь, моя Дангара.

А над степью то смерч, то «афганцы» летят,
и горит моё сердце, а в сердце звучат
твои радость и боль, и печаль, и восторг...
Сколько тайн здесь скрывает Восток!

Будет ночью кружить над тобой небосвод,
лошадиное ржанье звучать поутру.
И пастух свою песню опять запоёт,
он споёт: «Я люблю Дангару!..»

Ирина Винклер

МОЙ ДРУГ РОНАЛЬД

Телефон звонит у меня чаще, чем хотелось бы.

– Хеллоу, это Рональд Рейган. – Во всяком случае, мне так слышалось. – Вам сообщили, что я буду с вами на связи?

– О, вы еще живы, – неинтеллигентно пошутила я, – сорри, моя секретарша забыла сообщить, уволю ее к чертям. Шутник продолжал бубнить по-английски, я ничего не поняла и попрощалась. Через пару минут пришла эсэмэска от подруги: «Приятель из Оклахомы в Берлине. Надо на неделю устроить. То ли консультация в «Шарите», то ли Интерпол ищет. Выручай!»

Заиграл домофон, но напрасно. Поскольку, если я никого не жду, то и не реагирую. А потом какой-то негодяй стал колотить в дверь ногами. Открыла... Шупленький мужичок с торчащими из-под шляпы патлами, с чемоданом, в котором мог бы уместиться сам, вежливо улыбался. Рисунок его шейного платка мне что-то смутно напоминал. А-а-а... роспись под Хохлому!

– Мистер Рейган? – Сообразила я.

– Можно просто Рон.

Он снял шляпу, туфли и отправился в ванную. Там он вынул зубной протез. Видимо, надеялся, что разжалобит меня своей беззащитной улыбкой, и я его не прогоню. Сказал, что, кроме постели, ему от меня ничего не надо. Заметив мое смущение и даже легкое негодование, уточнил, что имеет в виду постельное белье и предпочитает лиловую цветовую гамму и, если можно, асимметричный рисунок. Подумав, добавил: «Ну и ключи, конечно!» Потом «экс-президент» достал вязаную шапочку, вроде ночного колпака, бухнулся в кресло и уснул. Из чувства мелкой мести ночевать я отправилась к той самой подруге, которая мне эту «оклахому – хохлому» сосватала. Оставила записку: «Котлеты в холодильнике. Мафию в дом не пускай. Но уж если придут, то пусть надевают тапочки».

По дороге вспомнила, что на днях у меня вечеринка, а в выходные привезут на постой кота, на целый месяц. Назавтра приехала к себе

и вежливо позвонила в дверь. Тишина. Вошла. Мебель, к счастью, в сохранности. Рональд сидел, положив ноги не журнальный столик и курил вонючую сигарку. На голове у него была какая-то пиратская косынка.

– Хау ар ю?

Он помахал мне приветливо, мол проходи, не стесняйся. Как сумела, объяснила ему ситуацию. Рон сказал, что если кот хорошо воспитан, то он – не против.

– А как, кстати, кота зовут?

– Да не знаю, я его сама еще не видела.

– Что же ты незнакомых-то котов прямо вот так в дом приглашаешь? – Удивился он.

А ведь Рон прав, черт возьми! И насчет «парти» он был тоже не против, даже наоборот: «Надеюсь, все говорят по-английски, а то ведь мне скучно будет». Когда мы с Роном спускались в лифте, – я хотела показать ему мусорку и ближайший магазин, – нас встретила соседка и посмотрела на меня укоризненно.

Ну да, позавчера от меня рано утром выходил двадцатилетний симпатичный парень. Ему в Берлине приспичило в азербайджанское посольство. Шустрый мальчонка, он соседку мою решил рассмешить и показал ей «козу». Я бы и не узнала ничего, да тот мне сам позвонил, отчитался: «Тетя Ира, в посольстве все получил, спасибо вам. А у соседки вашей плохо с юмором. Я ее с утра развеселить хотел, а она сразу: «Polizei, Polizei!» А я ей в ответ: «Давайте я вам лучше сразу скорую помощь вызову!»...Ой!

А неделю-то назад... сразу несколько пожилых кавалеров, все в кипах, нагло, цинично пили вино на моем балконе и пели «Алейну шалом алэйхем...»

Когда я привезла кота Кузю, Рон заявил, что он остается «еще на две недели». Он по-дружески похлопал перепуганного кота по спине, а тот, не разобравшись, оцарапал почему-то меня. В этот день на голове у Рона была кипа.

– Рон, ты еврей? – Удивилась я.

– Не знаю, это ведь никогда наверняка не известно.

Я растрогалась и приготовила им обоим суп.

Ночью мне приснилось, что кот сиганул с балкона и угодил на сушившееся внизу белье моей высоконравственной соседки. И она, вроде, грозит, что счет из химчистки придется оплатить мне. И вообще, мол, слишком много русско-еврейских котов развелось. Проснувшись, я со страхом позвонила Рону, как там Кузя. Рон говорил сонным и злым голосом:

– Крузйа? Да он мудака, этот твой Крузйа. Весь день он спал, и мне не с кем было поиграть, а всю ночь орал. Рон сосредоточился и изобразил, как именно.

И тогда я поняла, что если бы Артур Конан Дойль был бы знаком с нашим Кузей, то назвал бы свой роман «Кот Баскервилей».

– Итак, решай: или я, или он!

– Вообще-то, – заметила я, – за кота просили намного раньше, чем за тебя...

Рон смутился, первый раз за все время:

– Ну, тогда я передаю ему трубку, скажи ему по-русски, что я пожилой и больной, мне надо ночью спать, и если такое повторится, я выброшу его с балкона.

Ну, надо же, сон-то почти что в руку!

Прошло уже две недели. Рон и Кузя вместе обедают и мурлычат дуэтом. Кузе нравится запах мерзких сигар. Он жмется к Рону, как к родному папе. От уборок, подготовки для моих постояльцев, от беготни в поисках ночлега для себя, я, наконец-то, здорово похудела. Благодаря общению с Роном, улучшился мой английский. Как же мне все-таки везет в жизни!

РАВВИН

Когда я переехала в Берлин и узнала, что при Еврейском Центре есть неплохая библиотека, сразу же отправилась туда.

– Вы — не член гемайнды? – строго спросила меня библиотекарь. Это был даже и не вопрос, а, скорее, утверждение.

– Вы хотели сказать – общины, – уточнила я, – пока – нет

Во взгляде её читалось: и пока, и потом, и вообще, нечего тебе там делать с твоим курносый носом. Угадать у меня еврейские корни можно было только обладая богатой фантазией. А и правда, надо бы вступить в общину, – подумала я.

Оказалось, что документов требуется немного и все они у меня в порядке. Подошло время и меня пригласили на собеседование.

В полутёмной комнате за столом сидел интеллигентный respectable-ный мужчина в шляпе.

Раввин – подумала я.

Шикса – подумал раввин.

Он внимательно рассмотрел мои бумаги, но за свою, конечно, не принял. На меня он смотрел не то, чтобы недоброжелательно, а скорее — удивлённо. Как если бы я сбежала с репетиции хора имени Пятницкого и собиралась исполнить ему что-то из репертуара сестёр Бери.

– А как звали вашу бабушку со стороны матери? – задал он первый провокационный вопрос.

- Хана.
- Очень странное имя, -удивился он и уточнил: – Д л я в а ш е й бабушки.
- Ну, а фамилия?
- Свирская.

Фамилия ему, видимо, понравилась, но недоверие осталось.

- А вы в синагоге когда-нибудь бывали?

Вопрос его показался мне обидным, так как я бывала там аж целых два раза.

– Конечно, – говорю я и подчёркиваю: и не один раз. На Песталоцциштрассе.

У них там такой кантор... Я чуть было не ляпнула, что от его псалмов я прихожу в экстаз.

– А, это такой маленький, худой и косит немного? – перебил меня раввин.

Он меня проверяет, поняла я. Они же здесь все друг друга знают.

– Да нет, отвечаю я уверенно, – высокий, крупный, красивый... с небольшой лысиной.

Раввин от удивления открыл рот: – Откуда вы это знаете, он ведь в шапке был? Или нет?

В глазах у него появился охотничий азарт, а в его немецком проскользнула еврейская интонация.

– Или, – сделал раввин предположение, – было жарко? И он показал жестом, не касаясь, впрочем, своей шляпы, как кантор обмахивается шапкой вместо веера.

– Да, но не до такой степени, – говорю я и от страха начинаю потеть сама.

Тогда кантор, возможно, знакомого увидел, – раввин как бы приподнял свою шляпу и слегка поклонился кому-то невидимому. Прodelал он это так забавно, что если бы передо мной с совершенно серьёзным лицом не сидел раввин, я бы расхохоталась. Но было не до смеха. Понятно, что головной убор кантор в синагоге снимать не мог. Даже если предположить, что шапка слетела от сквозняка или чрезмерного усердия во время службы, под ней всё равно должна была бы остаться кша. И тут я вспомнила: я видела красавца кантора раньше на концерте. Он пел там вместе с приглашенным из Израиля певцом или кантором. Пели они и псалмы, и клезмер, и даже арии из опер. Причём израильский гость был-таки в кша, а наш – таки нет.

А не подведу ли я своего любимца, если расскажу о концерте, – испугалась я. Может быть, это у них тут не приветствуется? Лучше не буду.

– Да нет, мямлю я, стараясь не глядеть на раввина, – конкретную лысину я, пожалуй, не видела, мне просто моя интуиция женская подсказала.

– А, ну тогда совсем другое дело, – с пониманием кивает раввин и продолжает:

– Да, а раввин у них там, на Песталоцциштрассе тоже такой высокий и толстый, кажется?

Мой экзаменатор явно вошёл в раж, а я занервничала ещё пуще.

– Да нет, маленький такой, но тоже очень приятный человек.

– Что, совсем маленький, – грустно спросил раввин, явно огорчаясь за коллегу.

– Ну, – задумалась я, – не то, чтобы совсем маленький, – я испугалась, что опять скажу что-то не то, – ну, он примерно такой, как вы.

– Да, это вполне может быть, – прошептал раввин и в первый раз улыбнулся. И тут я его узнала. Это был Р., тот самый раввин с Песталоцциштрассе. Мы захохотали вместе.

Ещё он поинтересовался, откуда у меня беглый немецкий.

– Подарок от бывшего мужа, – объяснила я.

– Ну так постарайтесь, чтобы следующий был евреем, – пошутил он.

С тех пор вот стараюсь и жду, когда мне улыбнётся моё «еврейское счастье».

КАЗАКИ

Кирха, в которой пели донские казаки, находилась на ратушной площади, недалеко от моего дома. Толстенные резные двери из-за жары были распахнуты и я могла наслаждаться концертом, удобно устроившись на своём балконе. Живьём казаков я никогда ещё не видела и не слышала. На афишах, которыми пестрел наш провинциальный городок, все они были редкими красавцами. Программа в основном состояла из церковной музыки – литургии, оратории и никаких там «калинок». И вдруг они запели «Боже царя храни». Какой уж там ген во мне «опомнился», не знаю, но я вдруг вскочила и слушала стоя с волнением и гордостью. Голоса у казаков были необычайно сильными: таким не нужна ни техника и не страшна плохая акустика. От полноты ощущений я сбежала на кухню за коньячком.

После концерта немцы выходили из кирхи неторопливо, но обсуждали эмоционально и восторженно. За ними, всё ещё в концертной одежде, появились казаки. Местное музыкальное общество пригласило их на время гастролей пожить в немецких семьях. И коллективу – экономия и нашим скачущим бабुлькам – развлечение.

Когда казачки проходили под моим балконом, я не удержалась, побла-

годарил их и пожелала спокойной ночи. Услышав русскую речь, они обрадовались.

– А где бы тут водки купить? – по-свойски спросил подтянутый седоусый красавчик.

– Да нигде, поздно уже, разве что в ресторане...

Все, кто ещё не разошлись, задрали головы и уставились на меня. В нашем городке я была единственной иностранкой и меня все знали. Я почувствовала себя Джульеттой в провинциальном театре в сцене на балконе.

Седоусый разъяснил всю драматичность ситуации:

– У нас на границе беда стряслась, Павла не выпускали, он кивнул в сторону самого молоденького, – а без него нам – никак. (Павлик этот был самым плюгавеньким, но им – то, конечно, виднее). Ну, всё что было и поотдавали. Ваще – стресс, к концерту еле успели, даже не помылись.

Коньячок на меня ещё действовал. Чтобы выразить понимание и солидарность, я выдрала из цветочного горшка гераньку и бросила вниз. Все казаки оказались прыткими, но повезло самому толстому. Душа у меня отзвучивая, а язык оказался проворнее мозгов и я ляпнула:

– Да есть у меня одна литрочка, – и тут же трусливо пошла на попятную: да вам на всех всё равно ведь не хватит.

– Благотельница вы наша и спасительница, – сказал старший совершенно серьёзно.

– Ну, это по 143 грамма получается, – быстро прикинул светленький кучерявенький.

– Ну, некультурный же ты, Пётр, а дама? – попенял ему кто-то.

– Ну, тогда по сто двадцать пять, – без энтузиазма подкорректировал Петька.

Отступать было бы неблагородно, я спустилась вниз впустить незапланированных гостей, но предупредила:

– Только, ребята, по-быстрому, а то муж из командировки...

Мужики дружно засмеялись. Своим сопровождающим казаки знаками велели подождать снаружи, мол, недолго. Дисциплинировано, гуськом, казачий хор проследовал за мной во внутренний сквозной дворик, который заканчивался воротами, выходящими на другую улицу. Что же до того, что мужики не успели помыться, тут старшой не соврал. Пока я выносила водку и банку огурчиков, гости разглядывали полутёмный садик и трёх японских карпов в пруду.

– А как их зовут? – пошутил кто-то.

Рыб звали Рики, Тики и Тави. Это потому, что мы с мужем не знали, кто из них леди, а кто – наоборот. Мужики курили и неторопливо рассаживались под навесом, как будто бы речь шла не о неполной чашке водки, а о серьёз-

ном застолье. На одной из скамеек спали в обнимку мои кошки. Хлипкий Павлик сказал им вежливо «брысь», но ни одна и ухом не шевельнула.

– Эх, Пашка, тебя даже кошки не уважают, а женишься, так жёнка колотить будет... – все захохотали. Пашка смутился, перегнулся через стол и резко дёрнул подушку, на которой устроились нахалки. Старшая, Генриетта, встала, выгнула спинку, замахнулась лапкой и шлёпнула Павла по лицу. Потом обняла спутника жизни кота Леонида и опять улеглась. Наконец мы выпили, я чуть-чуть, за их успехи, а они до дна, за меня. Напрасно я надеялась, что усталые казаки сразу уйдут. Самый молчаливый и застенчивый привстал и попросился «до ветру», – я жестом показала – куда. Вернулся он быстро и с трофеями: подмышкой была зажата бутылка виски, а другую он откупоривал на ходу.

– Ребята, это из коллекции мужа, не моё, никак нельзя – залепетала я.

Застенчивый посмотрел с упрёком :

– Да не жмитесь вы, подумаешь, ей-богу, в и с к и... Да с него вобще потом голова болит. Мне стало неловко, что гостям придётся пить «абы что», да и разлили они обе бутылки так быстро, будто хотели попасть в книгу Гиннеса. За то, что я пререкалась, мне налили совсем чуть-чуть. Тут кто-то вспомнил о старушках, которые всё ещё ждали на улице. Настроение у меня к тому моменту было такое, что я легко согласилась быть посыльной. У фонтанчика возле дома стояли: бургомистр, органист нашей кирхи, руководитель хора мальчиков и человек десять от музыкального общества. Дисциплинированные старушки покорно сидели на скамейке. Совершенно не покачиваясь я подошла к бургомистру, как могла покрепче потрясла его за руку и заявила:

– Товарищам казакам нужно срочно перевести приветствие для бургомистра города Лейпцига. Мы уже почти закончили...

Передо мной оказалось вдруг два бургомистра. Один ответил с понижением:

– Конечно, фрау Винклер, мы вам очень благодарны за помощь.

А вот второй проворчал :

– Но мы и так тут уже сорок минут топчемся.

Кто-то из двоих предложил :

– Может, пока вы трудитесь, кто-то из солистов нам «цутабе» споёт к примеру, «Катюшу».

Органист перебил бургомистра:

– А мы ведь им ужин в Ратуше приготовили с пивом и сосисками, приходите и вы, фрау Винклер.

– Что? После хорала Баха – пиво?! Нет, спасибо, – сдержанно поблагодарила я.

Во дворе я озвучила новым друзьям всю информацию.

– Во дают, – возмутились казаки, – мы им такую программу отпели, а им, понимаешь, «Катюшу». Ладно, иди, Слава, спой...

«Пусть Фриц помнит русскую Катюшу

Пусть услышит, как она поёт,

Из врагов вытряхивая душу ... – раздавалось с улицы. Довольные немцы хлопали.

Остальные казаки допивали остатки и пели мне заздравную.

Вдруг автоматически разошлись ворота и, ослепляя нас фарами во двор въехал мой муж Франк. Казаки и кошки бросились врассыпную.

– А это мои друзья, донские казаки, – представила я гостей, – а может кубанские, засомневалась я. Взгляд мужа мне не понравился, поэтому я добавила:

– Это не я, это бургомистр их пригласил.

Что именно надо за это сделать с бургомистром, Франк выразил идиоматическим выражением, которое на русский я перевести не берусь. Муж постучал ключами по четырём пустым бутылкам:

– А это они у меня тут репетируют. Может, мне для них орган заказать? – добавил он с издёвкой. Понятно, это он намекал на ту польскую пианистку, которая взялась неизвестно откуда, гостила недели две, а на прощание пожарила мужа:

– У пана дужий дом, а нема навеч маленького клавирика.

– А я не музыкант, – отвечал он

– Оно – то понятно, но для гостей же потребно...

Боковым зрением Франк заметил, что его любимец Рики посасывает брошенный в пруд окурок и бросился спасать карпа. Но Рики вцепился в фильтр и не желал с ним расставаться. Пётр достал из кармана пачку сигарет и протянул мне:

– Скажи, хай мужик твой вылезает, мы ему всю пачку подарим.

Все захохотали и я не сдержалась тоже.

– Они говорят, что они извиняются и все бросают курить. Вот и сигареты отдают, – перевела я. Франк выхватил у меня пачку, сунул Петру за шиворот и закричал отступающему противнику: – Раус!! – и добавил по-русски: – Бистро – бистро!!

Пётр изловчился, поймал руку Франка и пожал с чувством:

– Ой, мужик, спасибо. Давно так не смеялись.

Они просят не сердиться, им очень неловко, – перевела я.

Как я добралась до спальни не помню, наверное, добряк Франк помог.

Утром, как всегда, он принёс в постель поднос с кофе и булочками и строго сказал:

– Надеюсь, что это не повторится. Выбирай: или – я, или – казаки. Поскольку кофе пах прекрасно, булочки были горячими, а варенье – абрикосовое, я выбрала мужа.

Перед отъездом казаки спели мне с улицы «Отвори потихоньку калитку». Велели передать мужу привет и заверили, что обязательно придут ещё. А бургомистр с тех пор раскланивается со мной первым и присылает приглашения на все праздники и концерты.

ЗАПЕКАНКА

Немецкий учила я на слух, общаясь со своей полуглухой свекровью. Метод был неплохой, но иногда я путала похожие слова. Свекровь, которую я называла „ома“, то есть бабушка, готовилась к своему восьмидесятилетию. Дом у нас был большой, на первом этаже – просторный зал с отдельным выходом на улицу, там и решено было праздновать.

На мою помощь не рассчитывали, но мне очень хотелось показать себя хорошей хозяйкой. У меня было своё коронное не раз проверенное блюдо – запеканка с грибами и я решила с ним дебютировать. Поискала «запеканку» в словаре, нашла и запомнила: АУФЛАУФ. Побежала к оме, где уже собрались её приятельницы, не то, чтобы интеллигентные, но приветливые и ухоженные пожилые дамы. Пришли они по поводу утверждения праздничного меню: кто и что готовит и кто за что отвечает. Из-за своего примитивного немецкого я чувствовала себя среди незнакомых неловко, но всё же собралась с духом и выпалила: – Ома, я хочу сделать тебе к празднику ... – я запнулась, вспоминая новое слово и, спутав с услышанным то ли от медсестры, то ли в аптеке похожим, уверенно закончила: АЙНЛАУФ*

Я подумала, что свекровь может мною гордиться. Старушечки, которые до сих пор поощрительно мне улыбались, вдруг примолкли и насторожились. Свекровь решила, что ослышалась:

– Что ты мне сделаешь?

Сохраняя на лице улыбку «мисс лучшая невестка», я охотно повторила.

– Не надо, – довольно холодно процедила она. Мне было известно её недоверие ко всему русскому, в том числе и к еде.

– Ты напрасно, ома, мне не доверяешь, у меня это очень хорошо получается.

Свекровь надменно поджала губы и прошипела:

– Если будет надо, я попрошу медсестру Ангелику. А сейчас продолжим, ведь тридцать человек придёт, не шутка ...

– Вот дура старая, – подумала я, для тебя же стараюсь. Ей кажется, навер-

но, что я мало приготовлю и на всех не хватит. Ну ладно, ома, если ты лично не хочешь, я тогда твоим гостям сделаю. Слова „противень“ я тоже не знала и поэтому просто развела пошире ладони, показывая его размеры:

– Вот такой айнлауф. Мало не покажется! Такой большой русский айнлауф.

Одна из дам, с блуждающей шаловливой улыбкой, то ли она вспоминала бурную молодость, то ли планировала охмурить какого-нибудь актуального кавалера, вдруг посерьёзнела и по-деловому спросила:

– А как это – русский? Мы вот делаем её с ромашковым чаем.

Почувствовав интерес к своему проекту я победоносно глянула на свекровь и стала быстро соображать, с чем у нас идёт запеканка.

– Ну, мужчины – с водкой, женщины – кто с водкой, а кто с вином, ну а кто за рулём, можно и с томатным соком. Две бабки смотрели недоверчиво, остальные теоретически это допускали. А что, если у русских медведи по улицам ходят и морозы под сорок, может и правда, Айнлауф лучше с водкой...

Бабуся в рыжем паричке кричала в ухо своей глухой соседке:

– Русская невестка хочет учиться на медсестру, предлагает айнлауф бесплатно тем, кто хочет, ей надо для практики ...

– Вот пусть на Эльфриде и тренируется, так ей и надо, – отвечала та.

Но вредина свекровь упорно трясла головой в смысле – найн.

Мне было очень обидно – вот ведь какая предвзятость. В ход пошёл главный и последний козырь – авторитет её сына.

– А ты знаешь, ома, мне вот Франк недавно говорит: – Сделай-ка мне, мышка моя к ужину что-нибудь русское, ну я ему айнлауф и сделала. Видела бы ты, как ему понравилось, аж слюнки от удовольствия потекли, добавки потребовал. Утром опять вспомнил, давай, говорит, холодный, а то я на работу опоздаю.

Худая старушенция с палочкой хихикнула и заявила, что тёплый намного приятнее. Все согласно кивали. Но кто-то ей возразил, что температура должна быть строго тридцать семь градусов.

Мне захотелось покрутить пальцем у виска. Они что, за стол с градусником садятся? И вообще, они все чокнутые или только эта, с розовыми пёрышками в волосах?

Видя, что меня не унять, свекровь пошла на компромисс, склонилась к моему уху и прошептала: – Ну хорошо, хорошо, сделай, только не к празднику, а я сама тебе скажу – когда. Я решила поторговаться и тоже наклонилась к ней:

– Давай сегодня пробный сделаем, маленький. А если тебе понравится, то потом – для всех. А не понравится, я могу пирожки испечь.

– Давай лучше сразу пирожки! – взмолилась свекровь. Все мои аргументы были исчерпаны, я кивнула всем на прощание и разобиженная пошла к себе. По дороге услышала чьё-то замечание:

– Эх, не ценишь ты, Эльфрида, какой брильянт тебе достался.

– Ценю, отвечала ома, но пока я ещё сама решаю, делать айнлауф или не делать.

Вдруг я засомневалась, надо ли было так настаивать, может у них запеканка вовсе не праздничное блюдо, вроде как у нас яичница или каша. Да и в большой словарь не мешало бы заглянуть, может ещё какие оттенки значения у слова есть. Нашла словарь, полистала, против слова айнлауф стояло: клистир, клизма. Позор-то какой, хоть бы они не подумали, что я над ними насмехаюсь ... Побежала назад, извиняться, пока гости не разошлись. Они стояли уже в дверях. Я тычу в словарь, открываю рот, но ома показывает знаками, мол – помолчи. Наконец закрывает дверь и, доверительно улыбаясь говорит:

– Можешь как раз сегодня мне его сделать, я просто при чужих говорить не хотела. А чужим не вздумай делать бесплатно, бери хоть по пять евро для начала.

Я оторопела, но быстренько поменяла извиняющееся выражение лица на обиженное:

– Ну уж нет! Я ведь от всей души предлагала, а ты от меня, как от мухи надоедливой..., да ещё при людях. Вот пусть Ангелика и делает, раз ты ей больше доверяешь.

*АЙНЛАУФ – Einlauf / нем/. – клизма

Александр Бренер

АККАТОНЕ

Аккатоне, Аккатоне
Ничего не хочет знать.
Напивается в притоне
И ложится на кровать –
Ничего не хочет знать!

Он не любит своё имя.
Он не любит этот дом.
Он чужой всем людям в Риме.
Он не хочет жить трудом.
Он не хочет жить трудом!

Он лицо макает в Тибр,
А потом суёт в песок.
Не овца он и не тигр.
И не нужен ему бог.
И не нужен ему бог!

Он живёт, не уживаясь.
Он не терпит нищету.
Он дерётся, обнимаясь.
Он хохочет в пустоту.
Он хохочет в пустоту!

Он не может жить с женою.
Он не может жить один.
Он враждует сам с собою
И к себе он несводим.
И к себе он несводим!

Он ужасен и прекрасен.
Он – любимый мой герой.
Он нецелесообразен.
Он не мёртвый, а живой.
Он не мёртвый, а живой!

Он не взрослый, не ребёнок.
Он никем не хочет стать.
Он живёт, как бы спросонок,
Вам его не воспитать.
Вам меня не воспитать!

ЕМЕЛЯ В ЛИССАБОНЕ

Заколдован воздух в Лиссабоне
И пустынен площади изгиб...
Как на заповедном полигоне:
То ли взрыв случится, то ли всхлип.

Воздух, словно в Африке, прозрачен,
А дома – как будто я в Твери...
Здесь мочою пахнет, неудачей,
И трава растёт из-под двери...

Я иду по улице горбатой,
И тревожно, и тоскливо мне...
И вдруг вижу – кто-то бесноватый
Прислонился к каменной стене.

Он одет в промасленную блузу,
И портки промаслены насквозь.
Руки в чёрном масле заскорузли...
Кажется, что масло въелось в кость!

На лице – короста из мазута.
Кудри слиплись в варварский колтун.
Губы кровоточат и раздуты...
А глаза вонзились, как гарпун!

Он глядит в меня, как в омут тёмный...
Так Емеля в прорубь поглядел:
И весь мир – тяжёлый и огромный, –
Словно струйка дыма, – отлетел...

– Здравсьте, – говорит, – тебе из детства!
Вижу, все же ты меня признал,
И хоть вышел ты из малолетства,
В сказку я тебя опять загнал...

– Лиссабон – последняя из сказок...
Ну, а я – последний Емельян...
Правда, эта сказка без развязок...
И без шуки... понял?.. мальчуган...

И глядит в меня, как в отраженье,
И смеётся струпчатым лицом...
Словно бы – по щучьему веленью, –
Я залился смехом-близнецом.

Стало всё бессмысленно и чудно –
По колено море-океан,
Хохотать да спать бы беспробудно,
Да глядеть – то в прорубь, то в стакан.

* * *

Посмеялись, – ну и руки в брюки.
Я Емелю больше не встречал,
Нелегко обоим нам без шуки, –
Океан до лужи измельчал.

Да, несладко нам без этой рыбы...
Но в глуби тех лиссабонских руд,
Несмотря на струпья и ушибы,
Хохотали мы сквозь весь мазут!

В Лиссабоне, где спуют холопы,
Где гниют туристские мозги.

На краю исчахнувшей Европы
Избежали мы вдвоём тоски!

КАЖЕТСЯ

Кажется, кошки ещё умеют
В каждой ограде найти дыру...
И, кажется, ласточки всё ещё реют,
А не просто хватают в клюв мошкару.
Значит, свобода еще существует?

Кажется, лисы ещё презируют
Различие между «купить» и «украсть».
И, вроде, сороки ещё ругают
В мире любую и всякую власть.
Значит, свобода ещё существует?

Кажется, рыбы ещё лелеют
Надежду перехитрить крючок...
И, кажется, тигры еще звереют,
А не кланчат мяса кусок.
Значит, свобода еще существует?

Кажется, бабочки всё ещё знают,
Что воздух пьянее любого вина...
И, кажется, дети ещё дерзают
Не верить в понятие «чья-то вина».
Значит, свобода еще существует!

Анна Мелихова

МОРЕ

Эссе

Морской запах преследует меня всюду: даже при виде моря на экране телевизора, на случайно увиденной картине или почтовой открытке. По воле судьбы, я уже много лет живу в городе, рядом с которым нет моря. До чего же это скучно. Впрочем, иногда удаётся съездить к нему, хотя бы на недельку.

Песчаный берег, камни в водорослях, шум прибоя и этот несказанный запах солёной волны – просто какой-то бальзам проникает в каждую клетку моего тела, даже кажется, очищает душу. Штормовой ветер с неуклонным упрямством выворачивает наизнанку морское нутро, кипят, пенятся холодные, шумные волны. Вступив в неравную борьбу с ветром, захлёбываются криком чайки.

Вот такое оно – Северное море на северо-западном побережье Германии, на границе с Голландией. Немцы называют эту землю Ост-Фризланд или Нидерзексисхе Емсланд. Голландцы – Фризлэн. Конечно, Северное море – не Каспийское, на берегу которого я родилась и выросла, но всё та же неукротимая стихия, свобода, простор, и неповторимый морской запах.

Наскоро проглотив невкусный гостиничный завтрак, я тепло одеваюсь, обуваюсь в надёжную обувь и отправляюсь на встречу с морем. В чистых, ухоженных провинциальных городках северо-западной Европы, немногочисленные жители которых давно перешли от рыбного промысла к сельскому хозяйству, не распознать больше бывших рыбацких деревушек. Теперь это городки, защищённые дамбами от морского прилива и разливающейся по весне реки Эмзы. Земля здесь торфяная, песчаная, болотистая. Есть и лес с разнообразным зверьём.

У жителей земли Фризланд собственные дома с большими приусадебными участками. Дома из красного кирпича. А невысокие деревянные заборы только там, где много ребятишек. Приветствуют здесь друг друга одним единственным словом: *moihin*. И что интересно, все обо всех всё

знают. Кому сколько лет исполнилось, кто женился, кто развёлся (случается, но редко), у кого кто и когда родился или умер. Вот этот домочадец прижимист, тот – щедрей. О прошлых событиях рассказывают даты и отметки на фасадах домов, украшенных цветами, сувенирами, фотографиями.

Надо ещё упомянуть, как чаёвничает здешний народ. Чай пьют из фарфора местного изготовления бело-голубой расцветки. Церемония такова: в сравнительно небольшую чашку кладут кусок колотого прозрачного сахара, заливают его чёрным чаем, но так, чтобы муха, сев на сахар, не промочила бы себе лапки, добавляют пару капель сливок и ждут минут пять, затем пьют не торопясь. Три чашки обязан выпить каждый, а дальше сколько кому угодно. Чайная ложка находится на столе не для того, чтобы помешивать чай. Она играет другую роль: чаёвник кладёт её в чашку только тогда, когда напился и больше не желает.

Вот другой обычай: неженатые к тридцати годам мужчина или женщина здесь не очень-то в чести, их считают засидевшимися. Мужчину, в таком случае, наказывают следующим образом: его обязывают таскать – выносить и заносить – в дом на себе рамы и двери, не пользуясь ни лифтом, ни помощью посторонних. Незамужняя тридцатилетняя женщина обязана подметать лестницы в общественных зданиях. Засидевшегося мужчину называют: старым носком или старой бутылкой, (*alte Socke, alte Flasche*). Женщину – *alte Schachtel* (ветхая шкатулка). Где они живут можно узнать по натянутой тетиве на крышах их домов.

А вот и берег. Гладко причёсанная северным ветром растительность выпрямится в воде, прибывающей только к вечеру. А пока можно спокойно погулять. Иду по берегу. Дышу полной грудью – жадно, с упоением. Ветер неистово свистит, пытается и не может оторвать меня от земли и унести вслед ушедшей далеко от берега воде. Стою к ветру спиной, гляжу на серое беспокойное море.

Впереди у берега виднеется палатка, которая с удивительным упорством противостоит напору шального ветра. Подхожу: в ней мужчина в окружении школьников, что-то им рассказывает. Пройти мимо рассказчика – грех. Присоединилась к слушателям.

– Когда-то в этих краях, прежде, чем вымерло почти всё местное население, произошёл такой случай.

– От чего вымерло? – спросила девочка.

– От чёрной чумы.

– А вы?

– Я родился много-много позже, всего семьдесят лет назад. А тогда, в шестнадцатом веке, когда пришла чума и скосила почти всех местных

жителей, некому было больше выходить в море, и некому обрабатывать землю. После того, как эпидемия прошла, сюда стали прибывать люди из ближних и даже отдалённых мест. Это были Саксы и Фризы. Они смешались и стали одним народом. Единственным их богатством был торф, которого здесь было очень много. Переселенцы добывали, обрабатывали и продавали его. Доход от продажи помогал обустроиваться на новом неприветливом и холодном месте.

Ветер шумно теребил края палатки, а ребята с интересом слушали рассказ учителя:

– В те давние времена жители этих мест придерживались верований и обычаев своих предков, промыслили охотой, но в основном рыбачили. Были, значит, идолопоклонниками и рыбаками.

– А почему не христианами? – спросил мальчик.

– Тогда люди верили во множество богов, с которыми ни за что не хотели расставаться.

– А сколько у них было богов?

– Сколько? Точно не знаю, но на каждый случай жизни имелся хотя бы один.

– Разве это хорошо?

– Для них это было нормально. Такой была их вера, они не задумывались хорошо это или плохо. Нам трудно их судить, ведь люди тогда жили и думали иначе, чем мы сегодня.

– Наверно, они были глупее нас, – включился в разговор ещё один мальчик.

– Обращаться с компьютерами они, конечно, не могли, телефонов у них тоже не было, и автомобилей они никогда не видели.

– До чего же скучно им жилось!

– Ну почему же? Они были людьми своего времени, соответственно, их желания и требования были иными.

– Я бы не мог жить в том времени,

– Согласен. Точно так же ты не смог бы жить в будущем, попади ты туда вдруг из нашего времени. Человек рождается в своё время. Так вот, семьи у тогдашних жителей были многодетными. Дети в школу не ходили, потому что школ не было. В одной такой семье произошёл случай, о котором я и хотел вам рассказать.

Ребята ёжились от холода, но сидели тихо, слушали внимательно.

– Отца семейства звали Краасом, его жену – Уммой. Она была очень полная, весила килограммов сто пятьдесят, не меньше, а он – высокий, обветренный морем крепкий рыбак. Одиннадцать детей было у них, один меньше другого. Краас уходил надолго в море, Умма оставалась на хо-

зайстве. Возвращения отца ждали с нетерпением, потому что жили дружно. Приближалась весна. Всё ещё бушевали холодные штормовые ветры, жестоко и своенравно волновали море, трепали рыбацкие барки. Барка Крааса в тот день вернулась с хорошим уловом. И сам он остался невредим – судьба миловала его и на этот раз. Семья, как принято, собралась отметить возвращение барки Крааса с хорошим уловом. Пришли соседи, уселись за стол на лужайке возле дома, лачуги рыбака, и принялись пировать.

– А что они ели, пили? – поинтересовались ребята.

– В каждой семье изготавливали семидесяти процентный шнапс. Его и пили маленькими стопками, обдав прежде огнём. Еда была незамысловатой – маринованная сельдь, да варёная картошка. Краас, с грубыми чертами лица, имел мягкий характер, был всем известен своим добросердечием. Позволял детям галдеть, проказничать, жене ворчать на него при мужиках. Он понимал, как ей нелегко, что дети, пока он в море, шалят и докучают. То один, то другой и за столом детишки вешались ему на шею, чего-то просили. Умма отгоняла их и сама присаживалась к мужу.

– Ну, пострелы, нахлебники! – кричал на них Краас. – убедились, какая у вашего отца шея?

– Крепкая! – кричала детвора.

– Да угомони, ты их! – взмолились мужики.

Но Краас, гордый своим семейством, только ухмылялся.

– Чего расхвастался? Хвост распустил? – ополчились соседские мужики. – В босяках твоих весу-то всего ничего!

– Ничего? – взбунтовался Краас, и как завопит:

– Ум-ма, иди сюда!

Умма прибежала запыхавшись.

– Вы знаете сколько она весит? – спросил Краас мужиков.

– Знаем, знаем! – загалдели мужики.

– А ну, жена, полезай ко мне на шею! – крикнул Краас.

Умма со страхом посмотрела на мужа.

– Полезай, говорю! Садись, жёнушка. Садись, сельдь, ты моя маслянистая, не жалей.

Она и села. И в тот же миг в груди Крааса что-то хрустнуло. Умма завопила, дети с ней в голос. А Краас, как свалился наземь, так и остался лежать без движения. Мужики остолбенели. Смотрят на товарища, что делать не знают.

– А потом? – всполошились школьники. – Что было потом?

– Крааса выходили кое-как. С тех пор он не мог ни двигаться, ни говорить. И так грустил по морю, что слезы у него не просыхали. Рыбаки скидывались, помогали его семье. А их жены, завидев Умму, смотрели на неё

с упрёком, шушукались за её спиной, а то и в открытую осуждали. Умма стала всех избегать, никому на глаза не показывалась. У мужа поминутно прощения просила. Потом ушла незаметно из деревни, и никто не знал, куда. А чуть позже подобралась чёрная чума, и скосила под корень всех жителей.

Шагая дальше вдоль берега, я удивлялась судьбе, которая, как штормовой ветер занесла меня с берегов Каспия на суровый берег Северного моря. Думала о времени, которое так быстротечно смывающее, как морская волна, годы нашей жизни, жизни ушедших недавно и давным-давно. Что будет после нас? Интересно, оставим ли мы после себя хотя бы такой незамысловатый миф, только что мною услышанный, или современная чёрная оспа бездуховности окончательно уничтожит человека в человеке?

Берлинские маршруты

ЛИРИКА ДУРСА ГРЮНБАЙНА

Перевод с немецкого и предисловие Марины Науйоке

Нам сегодня повезло – мы пройдем по нескольким берлинским маршрутам Дурса Грюнбайна (1962) – поэта, эссеиста, переводчика, одного из наиболее интересных современных литераторов Германии. Вот краткие биографические данные нашего «экскурсовода»:

Родился в Дрездене, учился в Берлине, в Гумбольдтовском университете на факультете театроведения. Прервав учёбу, работал в журналистике как свободный литератор. После воссоединения Германии много путешествовал по Европе, Юго-Восточной Азии и США. Читал лекции по литературе по приглашению университетов Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Дортмунда.

В настоящее время Грюнбайн свободный писатель и живёт в Берлине. Является членом Академий искусства, немецкого языка и литературы ряда городов, а также читает курсы лекций о поэзии в нескольких отечественных и зарубежных университетах. В общей сложности Дурс Грюнбайн имеет 14 литературных премий и 28 поэтических сборников.

Литературоведы называют его одним из самых интеллигентных и элитарных среди современных немецких поэтов. Его стихи наполнены философскими размышлениями о жизни и поэзии, как, например, этот сонет:

Вот говорят, мы целого частицы.
Вы не согласны? Но, по крайней мере,
в нас живы и растения, и звери,
черт знает, что в нас может затаиться.

Вот говорят, нас сделали небрежно.
Природа не особенно трудилась,
слепым страстям мы отданы на милость
и шишки набиваем неизбежно.

Вот говорят, не надо нам сонетов,
в них не решить практических вопросов.
Но - не мудрец поэт и не философ,

в четырнадцать строчках – для поэтов –
всех вечных тем чуть слышный отголосок,
хоть точных не содержится ответов.

Грюнбайн весьма органично работает в модном сейчас жанре «прозаизации поэзии и поэтизации прозы». С этим, очевидно, связано и соединение подчёркнуто бытовой, приземлённой лексики с разноцветьем фантазии в его лирических произведениях, а также большое количество нерифмованных стихов у поэта, прекрасно умеющего работать с классической рифмой.

Отметим эти общие соображения, но с собой на прогулку не возьмём, – в дорогу ведь берут только самое необходимое. В данном случае это – способность увидеть привычную жизнь города не так, как мы с вами видим её ежедневно, а под необычным углом зрения талантливого поэта, согласиться или поспорить с его неожиданными метафорами и оценками.

Нам, эмигрантам, живущим уже много лет в Берлине, хорошо известны маршруты нашей сегодняшней прогулки. Мы множество раз бывали, например, на Ку-Дамме, главной торговой улице города. Но как резко, непосредственно показывает Грюнбайн обмирание «совка», впервые – после падения стены – попавшего туда. Вспомните себя в первые дни после приезда.

Мы все наверняка не раз бывали в берлинских больницах, но кому, скажите, приходило на ум сравнить маленькую девочку в больничной пижамке с китайчонком Далай-Ламой?

Чувствовали мы себя когда-нибудь космополитами, какими-то звёздными пришельцами, мотаясь, как обычно, с чемоданами между таможней и паспортным контролем в аэропорту «Темпельхоф»? А вот поэт увидел, почувствовал.

Или гуляя в хорошую погоду по Унтер-дер-Линден, кто не разглядывал напротив Собора пустое место от снесённого Дворца республики, – жёлтого стеклянного монстра, ГДР-овской витрины социализма с человеческим лицом. Мы с вами только и можем, что пересказывать друг другу немецкие анекдоты про это сооружение, а Грюнбайн – взял да и сочинил забористые частушки. И ничего в них ни прибавить, ни убавить. На том и закончил нашу прогулку.

А кому экскурсия показалась неполной – пишите сами стихи о Берлине.
Или прогуливайтесь с романистом.

НОЯБРЬ 89-го

В тот вечер чья-то жалкая оговорка*
перевернула людям всю жизнь.
Переврали текст, –
и в момент рухнули священные запреты.
Простым и будничным
было это невероятное сообщение
перед кучей микрофонов и камер.
Таким же было и крушение призраков,
порождённых больным разумом власти.
Впервые мы увидели
робкие улыбки коммунистических авгуров, –
как у проигравшихся картёжников,
вдруг осознавших, что они натворили,
чувствуя свою безопасность и безнаказанность.
Заикаясь от страха,
но ещё с привычной угрожающей интонацией,
эти старые хрычи объявили,
что «сейчас же» освобождают нас –
своих заложников.

В ту же ночь открылись все шлюзы,
и человеческий поток хлынул
на призывный свет той части города,
которая тридцать лет жила,
как осаждённая крепость.
И этот поток подхлестнуло
лишь одно неправильно прочитанное слово:
«сейчас».

Пока железные ворота
не успели снова захлопнуться,
люди ринулись, чтобы снести проклятие,
душившее целый народ.
С открытым ртом, на обочине,

застыл потрясённый пограничник:
как теперь жить,
ведь не было больше команд и приказов.
Власть молчала –
впервые за много лет.

Под утро,
после фейерверка
и беспорядочной езды по городу,
когда закончилось бесплатное пиво,
и были выплаканы все слезы,
счастье на улицах Западного Берлина было полным.
Где-то на перекрёстке стоял забытый,
до колёс обгоревший «Трабант»,
и его владельцы с облегчением
повесили ключ на ближайшем дереве.
Приведённые своими детьми,
целые семейные кланы бродили по центру –
беспечно и умиротворённо.
А кто-то уже блаженно заснул,
привалившись к стене,
у витрин, около больших магазинов,
на обрётённых наконец-то камнях
свободной земли.

РОЖДЕСТВО. ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег. Но ей не до него.
Девочка в больнице в рождество.
Мерно каплет в вену физраствор.
У кровати тихий разговор.

Жар под сорок. И компресс из ваты –
словно снега нанесло в палаты.
А на мониторе, как Манхеттен,
график пульса – колким силуэтом.

Стиль хай-тэк, но в общем-то все то же,
и опять, две тыщи лет спустя,

пусть не в яслях и не на рогоже,
безутешно плакало дитя.

Проводов и трубочек кольцо.
Круглое горящее лицо,
лоб с повязкой, яркая пижама, —
словно китайчонок Далай-Лама.

От уколов синяя рука,
не дают ей даже молока.
Талым снегом — рисовый отвар
стынет в чашке. Не спадает жар.

Три волхва не донесли подарка, —
стал водой в ладонях первый снег.
Ей все так же нестерпимо жарко,
и — капелью — слезы из-под век.

КОСМОПОЛИТ

Уже назавтра, после возвращения
из очень далёкой поездки, стало ясно
что я ничего не понимаю в путешествиях.
Сидя в самолёте,
часами взаперти и в неподвижности,
раглядывая под собой облака, похожие на пустыни,
пустыни, похожие на моря,
и моря, будто замётённые позёмкой,
вырываясь из них, как из дурноты после наркоза,
наконец понимаешь, что это значит —
ошибиться в поисках своего меридиана.

Тело ныряет в чужое время, взгляд теряет опору,
слова рассыпаются и лишаются смысла.
И только после посадки наваждение рассеивается:
люди говорят все на тех же языках,
молятся все тем же богам,
лётное поле расчерчено на дорожки,

серые и однообразные,
светло, как в больничной палате.
Но вот в зале транзита,
когда от ожидания уже пересохли твои мозги,
вдруг почудится несусветное –
ну, хоть надпись,
намалёванная на придорожной харчевне,
в той самой, затонувшей, Атлантиде:

«В каждом путешествии есть привкус ада».

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ
О ДВОРЦЕ РЕСПУБЛИКИ ²

Был в Берлине теремок –
процветания залог.
В нем, бывало, всё проказит
всем родная крошка Штази.³

Все удобства ей создали –
вместе с крошкой проживали,
позабыв, кто чей оплот,
SED и FDJ.⁴

Строил, правда, швед проклятый,
но ЦК доволен хатой,
вырос там – без похвальбы –
центр классовой борьбы.

Стиль – барачное барокко,
отдаёт солидным сроком.
А декор? Решил проблему
циркуль с молотом – эмблема.

Всем приехавшим в столицу
надлежало восхититься,
как на западный манер
процветает ГДР.

И хрусталь там, и ковры,
и сардины, и сыры,
аж дошло до балыков, –
все от классовых врагов.

Видно всем со стороны:
гости в тереме равны,
правда, кто-то из гостей
все же чуточку ровней.

Сверхсекретный тайный список
был для баночных сосисок,
Их возили под конвоем
инкассаторы по двое.

А вот ранняя редиска, –
та по льготному шла списку,
рассылалась иногда
по бригадам соцтруда.

Под землёй, в стальном отсеке –
место спецбиблиотеки.
Правда, западное чтиво –
строго для партхозактива.

На бригадной вечеринке
вражьи диски и пластинки
допускались, – но без слов,
без подрыва всех основ.

Там любому ветерану
выдавали полбанана
и бесплатно, от дворца,
для детей два леденца.

На последнем юбилее
Эрих глаз поднять не смеет,
чует пламенный борец,
что халяве всей конец.

Кто не сиживал в кутузке,
без партийной жил нагрузки,
был овцой среди овец, –
пожалее тот дворец.

Дом снесли. Пустое место
отмывают от асбеста.
Мухи дохнут, листья вянут,
будь не к ночи он помянут!

¹ При объявлении о новом порядке выезда на запад секретарь ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски случайно оговорился, что граница открывается незамедлительно. Это вызвало массовое ночное посещение Западного Берлина.

² Общественное здание в Восточном Берлине, служившее, по мнению властей, витриной развитого социализма. Недавно снесено из-за опасного содержания асбеста в стройматериалах.

³ Штази – Министерство госбезопасности (ГДР-овский аналог КГБ.)

⁴ СЕД – в русском переводе – СЕПГ – Социалистическая единая партия Германии (правящая партия ГДР). ФДЙот – Союз свободной немецкой молодёжи (ГДР-овский комсомол).

Михаил Эненштейн

СУПНИК

Я лечусь у русскоговорящих врачей, где нередко встречаю своих земляков – одесситов. Стоит закрыть глаза, прислушаться – и мне кажется, что я сижу в Городском саду на Дерибасовской и сквозь неумолчное журчание фонтана слышу свой город. Но это Берлин.

Вот и сегодня в комнату ожидания входит большая, полная дама лет 70. Рот её плотно сжат, глаза сурово смотрят на сидящих пациентов, словно те хотят отобрать у неё что-то самое дорогое. Огромные груди беспокойно шевелятся под ярким платьем, как футбольные мячи в сетке футболиста, идущего на тренировку. В ладони дамы утонула ручка маленького, худощавого старичка на голову ниже её ростом. В свободной руке у него толстенная книга. На старичке аккуратно сидит тёмный твидовый костюм, а туфли блестят, как новые пятаки.

– Садись, Лёвочка! – громко и повелительно говорит женщина, опускаясь в кресло.

Металлические направляющие сидения жалобно лязгнули, как буфера столкнувшихся железнодорожных вагонов.

– О чём эта книга, Лева? – устроившись в кресле, строго спросила она.

– Не знаю, только взял в библиотеке.

– Что значит, не знаешь? А ну дай сюда! Я так и знала. Посмотри на эти буквы, Лёва. Можно подумать, что ты что-то увидишь. Ну, читай уже, читай, не теряй времени. Нужно иметь соображение, чтобы взять такую толстую книгу. Тебе что, так много осталось? Она тяжело вздыхает.

– Ты считаешь, что я скоро умру, – робко улыбается он.

– Типун тебе на язык, Лёвочка! Я этого не сказала, просто, зачем рисковать? И вообще, неизвестно, кто раньше. Готыню!¹ Разве тебя интересует, как я себя чувствую? Вот читать целый день за проституток ты можешь! А потом всю ночь крехцаешь.² Иди уже к врачу, малхамовэс³ – тебя зовут – и не забудь после застегнуть ширинку.

Он посмотрел на неё с укоризной.

– Не смотри на меня так, ты иногда забываешь не только её застегнуть,

но и положить своё хозяйство на место. Да, я знаю, тебе неприятно слышать, но это же правда.

Дама умолкла. Большие пальцы сцепленных рук, лежащих на коленях, закрутились, как две белки, догоняющие друг друга в некоем крохотном колесе. Она нервничала. Все мысли были там, в кабинете, где Лёвочку осматривал врач. Чтобы отвлечься, нужно было с кем-то поговорить. Взгляд дамы задержался на пустом кресле рядом с моложавой женщиной, и она быстро села рядом.

– Дамочка, вы из наших?

– Наверное, да.

– С откудова вы сами будете?

– Из Питера.

– Из Ленинграда? Слушайте, там же одни бандиты! Идёт себе человек по улице и думает за хорошее, а из чердака в него стреляют и убивают насмерть. Ну как можно, как можно, я вас спрашиваю, стрелять в живого человека?!

– А вы, наверное, из Могилева? – спросила новая знакомая.

– Ну что за люди! – всплеснула руками полная женщина.

– Как только узнают, что его зовут Лева, сразу считают, что он из Могилева. Чтобы вам было известно, мы таки да с Одэссы.

Сложив руки на груди, она гордо посмотрела на собеседницу.

– Извините меня, мадам! Я знаю, что Одесса интересный город.

– Или!

– Но я там никогда не была.

– Ви не били в Одэссе? О! Это большое несчастье! – она покачала головой, – А за Привоз слышали?

Соседка пожала плечами. Полная женщина с жалостью посмотрела на неё.

– А ну спросите меня, чего там нет. Так я таки отвечу – всё есть. Слушайте сюда! К примеру, вам нужно пару крылышек на бульончик детю или пару задних четвертей на жаркое. Идёте себе от ворот прямо, туда, где стоят с курами, и берете всё, что вам нужно. А если хотите овечью бринзачку, так идёте ещё дальше и попадёте в молочный корпус, а там ... Готыню! – она облизала губы и шёпотом продолжала. – А если вам, не дай бог, нужно что-нибудь золотое, например колечко по сходной цене, так поверните направо, где торгуют красками. Подойдите до цыган и скажите старшенькому: «Я от дяди Йоси», и сразу получите ответ: «К вашим услугам, мадам», и всё дамочка, всё, больше ничего не нужно объяснять.

Её глаза стали печальными.

– А какие люди жили в Одэссе, какие люди! Я уже не говорю за Додика

Ойстраха или за Ицка Бабеля. Даже наши бандиты – это было что-то особенное: Мишка Япончик – человек с тонкой еврейской душой. А Сонечка Блювштейн? Я уже не говорю за погромы. У нас были такие погромы – пальчики оближешь. Ну а потом, при Советах. Этот мишигенер⁴ «Мишка режет Кабана». Вы спрашиваете почему? Таки я вам скажу честно: не знаю – просто его так называли. Это был такой бандит! Он крутился на одной ноге и пел: «Грычаныки, грычаныки, а жида начальники». Пел, пел, а потом оказалось, что он турецкий шпион. Как вам это понравится? А Карабас, вы не слыхали за Карабаса – это же был главный бандит Советского Союза. Когда он шёл в баню на Провиантской улице, так два бугая стояли у ворот, два бугая у дверей и два бугая в парилке. А во всей бане таки да никого не было. Бандитам всё можно. А какие хозяйственные были наши начальники! Возьмите хотя бы Синицу. Не какая, дамочка, а какой. Он, на минуточку, был секретарь обкома. Что вы знаете, дамочка... Эта была та ещё сволочь, но хороший семьянин. Что было, то было, зачем наговаривать на человека! Синица так любил свою жену, что построил большой железный мост для тётки, чтобы ей было близко ходить до дочки. А Эдик Гурвиц, бывший мэр, балабус⁵ толчка на седьмом километре. Или возьмите теперешнего мэра Боделана – все аптеки и санатории города подарил жене. А мой за столько лет ни одного цветка, это же уму непостижимо. Но что делать: каждому своё. Дай Бог Лёвке здоровья.

Она заволновалась, легко поднялась, подошла к двери кабинета врача и прислушалась. Потом вернулась на своё место.

– Готыню, Готыню, как вы думаете, – шептала она, повернувшись к соседке, – когда Лёвочка один у доктора, я могу быть за него спокойная? – Наверно... – Ай, я вас умоляю, эти доктора... Чтoб вы знали я таки ему самый лучший врач, – она помолчала, – Женщина, я вам скажу всю правду, как родной матери, он сильно истрепался. Когда-то это был настоящий бандит.

Глаза соседки сузились.

– Не, не думайте, что он убивал или, не дай бог, грабил. Он просто был большой супник. Я вас спрашиваю, дамочка, есть разница между бандитом и супником, сама же отвечаю: никакой. Вы не знаете, что такое супник? Не знаете? Это мужчина, который каждый раз кушал суп у другой бабы, вы меня понимаете? Что значит терпела? Когда узнавала, брала подружку Хасю, царство ей небесное, красный кирпич и шла бить стекла. Таки полгода было спокойно. Дай бог, чтобы у вас было столько здоровья, сколько я побила окон. – Причём здесь я, причём здесь моё здоровье? – возмутилась собеседница. – Вам всю жизнь изменял муж, а вы так печётесь о его здоровье, – продолжала она удивляться. – Дамочка, я на вас удивляюсь, но это же мой супник, мой, и что вы смотрите на меня такими зверскими

глазами? Чего вас так холера душит? Возьмите туловище до себя поближе и ви сохраните нерви. Я вас чем-то обидела, вы не хотите иметь здоровье? Так не и надо, так не фонтан, так и не шпринцает.

– Извините, просто у меня один глаз стеклянный.

– Боже мой, боже мой, что же вы раньше не сказали. Мужчина?.. – она поцокала языком. – Расскажите с подробностями, как это произошло, я вам что-то посоветую.

– Что вы можете мне посоветовать?

– Дамочка, я не перестаю на вас удивляться. 15 лет я проработала санитаркой в Еврейской больнице. Вы знаете за Еврейскую больницу в Одессе? Нет? Мне вас жалко. В этой больнице каждый врач – профессор, каждая сестра – врач, каждая санитарка – фельдшер. Так я могу вам что-то посоветовать? То-то же. Вы такая бледненькая. Скажите, у вас есть любовник? – У меня есть муж. – Я вам сочувствую. В вашем возрасте нужен ещё один мужчина.

Она покачала головой. – Вы сумасшедшая! – возмутилась соседка. Ша! Пусть будет ша! Не горячитесь, что я такое сказала? Скажу по правде: один глаз не предел. – Что значит не предел? Я могу потерять второй глаз?

– Нет, нет, боже сохрани. Это не предел, чтобы завести хахаля. Конечно, если муж узнает, он может выбить и второй глаз, но это редко.

Соседка побледнела:

– Откуда вы знаете?

– Дамочка, когда вам стукнет столько, сколько мне, – она осеклась. – Ша, я не имею права разглашать.

– Вы что вчера поженились?

– Почему вчера, мы уже живём 50 лет.

– И муж не знает вашего возраста?

– Запомните, дамочка, жена для мужа всегда должна быть немножечко загадкой.

В дверном проёме комнаты ожидания появился маленький старичок с сияющей улыбкой.

– Бебочка! – воскликнул он. – У меня упал сахар! Из ширинки весело выглядывала пола белой сорочки с перламутровой пуговкой на краю.

¹ Готыню – (идиш) – боже мой.

² Крехцать – (идиш) – стонать.

³ Малхамовэс – (идиш) – смерть моя.

⁴ Мишигинер – (идиш) – сумасшедший.

⁵ Балабус – (идиш) – хозяин.

ГЕФИЛЬТЕ ФИШ

Холодная фаршированная рыба с хреном – это блюдо, ради которого стоит принять иудейство.

Исаак Бабель

Сима Хаимовна, а в миру Софья Харитоновна славилась на весь маленький городок своей фаршированной рыбой, и секрет её приготовления держала за семью печатями.

Все евреи городка готовили гефилте фиш, но её рыба была, «чего-то особеннова». Когда некоторые рассказывали о приготовлении рыбы с костями, она возмущённо фыркала, как обиженная кошка.

– Если гефилте фиш делают с костями, нарушая законы Субботы, – вздыхала она, – так а зохен вей нашим евреям.

Софья Харитоновна, была чуть старше, как говорят, «бальзаковского возраста». Судьба наделила её твёрдым характером, и решения она принимала быстро, не чураясь крепких выражений. Высокий рост и, тем не менее, лёгкая походка, крутые бёдра обтянутые узкой юбкой, выдающийся бюст, очень волновали провинциальных донжуанов. Встречая её, они оборачивались и долго-долго смотрели вслед, причмокивая языками. Гладкая причёска, чуть седеющие волосы, маленькая родинка у верхней губы и яркая одежда выделяли её среди гуляющей толпы.

Исаак Пинхасович, а в миру Исидор Петрович – вдовец, бабник и гурман – был известен в городке как отменный кулинар. Его штрудель, мясо с черносливом, и тейгалах были тоже «чего-то особеннова» и вкус их считался непревзойдённым. Но фаршированная рыба – еда царицы Субботы, ему не давалась. Он перечитал уйму книг, придумывал новые рецепты, но всё же дотянуть до Симиной рыбы, не мог, как ни старался. Нет,... она, конечно, тоже была вкусной, но не то! Не то, и это тоже знал весь городок.

Исидор Петрович был крепким, мускулистым мужиком маленького роста с лысиной до самого затылка и кривыми ногами. Скуластое лицо с маленькими глазками, крепко сжатыми губами, отдалённо напоминало голову готового к атаке питбуля. Весь его облик говорил об упрямстве, хитрости и умении достигать поставленной цели.

В один июльский вечер Исидор, попробовав свою рыбу, хлопнул по столу ладонью и воскликнув. – Генуг! Анек! – заторопился в цветочную лавку.

Купив большой букет, побежал к дому Софьи Харитоновны и положил цветы у двери квартиры. Каждое утро на её пороге лежал роскошный букет свежих цветов. Куда бы Софья ни шла, ей попадался Исидор Петрович.

Сердце у него ёкало, на душе теплело, и он смотрел ей в глаза с таким неприкрытым желанием, что дыхание немолодой дамы учащалось, а лицо покрывалось румянцем. На третий день она резко остановилась и сказала:

– Ви на mine смотрите, как отой кот на масло, – и, помолчав, добавила: – Хотите познакомиться, так я уже согласная. Мене зовут Соня.

– А меня Исидор, – поспешил ответить бывший Исаак.

Сима сникла. «Он не из наших», – пронзила мысль. Исидор всё понял и быстро сказал:

– Нет, нет! Это теперь, а раньше я был Исаак.

– Это другое дело, – сказала Сима и решительно, взяв его под руку, повела по правой стороне центральной улицы, потому что, по левой гуляли биндюжники, сапожники, нищие, бездомные и, как она говорила, всякий шлеперский элемент.

– Что тебе приготовить на ужин Исачок? – тяжело дыша, спросила Сима.

– А что вам не жалко для такого влюбленного, как я, Сонююра моя, – вытянув трубочкой губы, ответил Исидор, и лицо его стало похожим на морду доброго кокер-спаниеля.

– Я таки да сделаю тебе гефилътэ фиш, – ещё тяжелее задышала женщина.

После знаменитой рыбы и нескольких бокалов лёгкого вина Сима встала и направилась в спальню. В дверях она загадочно сказала:

– Я тебя позову, Исачок, и, послав воздушный поцелуй, захлопнула дверь.

Сонюра, встретила его обнажённой, лёжа на постели поверх покрывала.

– Лягайте до мене, будьте такие добренькие.

Он быстро сбросил одежду лёг рядом, продолжая восхищаться её домом, её рыбой и её телом.

– Не надо этих подготовок, не надо этих глупостей, – обиженно заметила женщина. Если ты хочешь поговорить, лягай повыше, если ми будем заниматься делом, так лягай пониже.

И разочарованный Исидор таки лёг «пониже» и таки занялся делом. Довольная Сара, отдышавшись, спросила:

– Ты что-то говорил, мой Исачок? Повтори, пожалуйста. И он подробно стал рассказывать, как сам готовит рыбу.

– Ёд! – воскликнула Соня, – это у вас под Рыбницей так готовят гэ-фильтэ фиш. Мою маму в Одессе на Молдаванке учили по-другому, – и она подробно изложила классический рецепт.

Исачок, а ныне Исидор, ликовал. Затаив дыхание, он слушал волшебную музыку её слов, судорожно пытаясь запомнить все нюансы. Затем вы-

скочил в другую комнату, быстро записал на салфетке кулинарную исповедь. Вернувшись к Соне, лёг повыше и долго восхищался её прелестями.

– Исаак... – шептала разомлевшая женщина, у тебя такие ласковые руки, может быть, ещё раз займётся делом, а?

– Сонюрочка, рибка моя! Мне пора, а то голодная собака разнесёт дом. И чмокнув её чуть ниже груди – куда смог достать – стал одеваться. Соня, разочарованно вздохнула и отвернулась к стене.

У Исаака собаки не было – он спешил на базар купить свежую рыбу.

Через некоторое время по городку поползли упорные слухи, что фаршированная рыба Исидора не хуже, а может быть, и лучше чем у Сары. Услышав это, рассвирепевшая женщина долго не могла успокоиться. Гнев, обида, ненависть травили ей душу. На третий день, надев лучшее платье, сделав причёску у самого дорогого парикмахера, с небольшим чемоданчиком направились к Исачку, не забыв захватить палку, на случай если встретит собаку. Чем ближе Сара приближалась к его дому, её дыхание учащалось и где-то с левой стороны груди, под пышным бюстом, что-то шептало ей, что несётся к нему не только чтобы отомстить за кулинарный плагиат.

– Открывай дверь мопс обрезанный, ты мне сделал вырванные годы, – кричала женщина, барабанив в дверь палкой, и придержи собаку!

Бледный Исидор распахнул дверь.

– Не бойся моя Соню-юра, – вытянул губы Исачок, – собака подавилась рыбной косточкой и сдохла. Обхватив женщину чуть пониже талии, он попытался поцеловать её в живот.

– Сонечка, ты такая красивая, такая душистая, – лепетал похититель секретов.

– Я тебе дам красивая! – кричала Соня, пытаясь оглушить его палкой. – А ну собирайся, мопс плешивый, сейчас мы, таки да пойдём в загс и распишемся!

– Тихо, тихо, кто же отказывается, кто же не хочет, Сонюрка, рибка моя фаршированная. Я уже согласный.

С этих пор слухи о потрясающем вкусе штруделя, наваристого бульона с кнейдалах, жареной курицы в сливовом соусе и, конечно же, фаршированной рыбы, что подавали на званых обедах молодожёны, ходили по городку, просачивались в райцентр, а может быть даже и в сам Гайворон.

Александр Лайко

Из старой берлинской тетради

* * *

На улице, где припаркованы авто,
И сумрак зелени – с полотен Либермана,
От станции «Karlshorst» берлинского S-бана¹
По ходу поезда, примерно, метров сто,
Имею место быть. Жара.
Пью воду из-под крана.
На вешалке висит московское пальто.
А что касаясь моих соседей, то,
Поверьте, Иванов не лучше Вестермана.

Мне хочется себе ответить без обмана –
Каков же результат квартирного обмена,
Помимо знания, что Арбат далековат?

И коммунальный быт восстанет непременно.
Летучею слезой его омою стены,
– Прости, – проговорю, – но жизнь – моя.
Privat !

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЛИН В ДЕВЯНОСТОМ

Когда не продохнуть в Берлине от сирени,
И пьян от запаха, едва ползёт закат,
Куда бы ни попал я – на восток ли, запад –
Встречаю мертвецов блуждающие тени,
От ранних сумерек до полной темени
Они по улицам пустынным мельтешат.
То медленно бредут, не узнавая город,

И озираются в кварталах пустырей,
Где югендстиль царил, но буйствует репей,
В глазницах опустевших зданий тьма и холод,
Свинцовой оспою лик ангела исколот,

И прочно досками забит проём дверей.
Под тентами кафе и в кнайпах в этот вечер
Как бы спектакль даёт театр теневой:
Не сообщаясь совершенно с жизнью новой
/Костюмы прошлого и лишь о прошлом речи/,
Герои пьесы cedят пиво доночи,
И поминально на столах мерцают свечи.

НЕМЕЦКИЙ ПАСПОРТ

Офелия пила сырую воду,
А Виолетта пела о любви –
Прибыв надясь в Берлин из Навои,
Девицы здесь не делают погоду,

Но есть соображения свои:
К примеру – замуж выйти сходу;
На готов пожилых ведут охоту,
К венцу готовы, только позови.
Ну, да, не Гамлет. Нет. И не Альфред.
И всё-таки не худшие мужчины:
Курт выпить не дурак, но ортопед,
А Ганс на пенсии – плетёт корзины.

Офелия вино пьёт из пакета.
Поёт в церковном хоре Виолетта.

КЕБАБ НА ФРИДРИХШТРАССЕ

Наверно турок, может быть, араб
Сооружает вдумчиво кебаб –
В плепорции и соусы, и зелень –

Ах, запахи! – и, коли, ты не болен,
Возьми мерзавчик, в нём всего сто грамм –
Он ключик золотой к иным мирам,
А этому, тем паче, впору,
И разговоров будет, разговоров...

И приступили мы, благословясь
Реченьями «Будь здрав!» и «Понеслась!»,
И я, неисправимый звуколюб,
Услышал – буль! – коснулась водка губ,
На что кебабщик не повёл и бровью,
А лишь вздохнул и молвил: «На здоровье!».
Еврей из Риги крикнул: «Не могу!
Ты тоже русский?».
– Русский.
Из Баку

* * *

По Фридрихштрассе веет сквознячок –
Молоденький, балтийский, голенастый –
Того гляди, загонит день ненастный
В избу валдайскую, где ба́луется сверчок,
Где в дверь стучится Коля-дурачок,
Сосед и гость, в связи с похмельем, частый,
Дрожащий и доверчиво-глазастый,
В руках бутылъ и стрелочка-лучок.

* * *

Итак, дошёл я до Берлина.
Теперь в Берлине дохожу.
Нет, не скажу, что ностальгия там, ангина,
Просто в предчувствии финиша –
У каждого своя ниша.
Сажу себе на лавочке,
А мимо – смеются, проходят,
Как время проходит, – девочки.

Так по Шпрее проходит пароходик.

Сосед мотивчик под нос заводит,
Похоже «мой милый Августин».
Нет, не ностальгия или там сплин.
Просто время облака хороводит,
Солнце за Gedächtnis-кирху уводит,
И я слышу шествие времени.

И не говорю ему – повремени́.

* * *

Berlin.
Bier-lin.
Bär-lin.

И лин(и я) форсажа розовеет
В закатной Шпрее.
А над нею
Осенней лист кленовый
Летит,
Покачиваясь, в зенит.
Жёл(той)
Шестиугольной
Звездой реет
В закатной Шпрее.

Bär-lin
Bier-lin.
Berlin.

* * *

Ах, вокзальчик S-bana
На Sonnenallee!
Он светлеет вдали,
Он в листве розовеет –
Что ж, Берлин притворяться

Москвою умеет.
А быть может сегодня
Я просто под банкой
И вокзальчик S-bana спутал с Таганкой?

* * *

Где фрау Мацке? Почто не встречаю?
Не то, что не чаю выпить с ней чаю,
Я с этой фрау был мало знаком –
Morgen! – приветствовал. Или кивком.
Почто не встречаю я маленькой Мацке
В стоптанных туфлях, в шляпке дурацкой?

Она умерла где-то ранней весной,
Соседка по дому – этаж надо мной.
Да кто мне она? Да и я ей не нужен.
Но чудится вдруг – стала улица уже,
Дома что ли ниже, пиво пожиже.
Вот вроде она, но подходишь поближе...

Почто не хватает мне старенькой Мацке
В стоптанных туфлях, в шляпке дурацкой?

AN MARIECHEN

Два мужика метают Dart.
В окне – Берлин, автобус, март,
Летит капель, гонима ветром.
Какими строфами и метром
В письме изобразить всё это?
И пятна солнечного света
Сквозь дым бегущие к окну
Вскользь по бильярдному сукну?..

А вот Mariechen. Полупьяно
Глядит, дымит марихуаной –

Так изменилась, и всё та же –
А годы трудового стажа,
Когда она бледнее мела
За стойкою пивной белела,
Считай с той европейской ночи...
По книге – тёмной, так – не очень.

Два мужика вошли в азарт.
Dart разогрел их или март?
Один из них права качает
(Что драку здесь не означает)
Какой-то чувствуя подвох,
Беснуется, орёт: – Arschloch!¹
Финал немецкой драмы прост:
Пьют, отдышавшись, пиво. Prost!

Уходят гости и приходят,
Заводят речи о погоде,
О пробках на дорогах – штау,
О марках, евро, детях, фрау.
Старик читает даме тусклой:
Авария подлодки русской...
Неповоротливость генштаба...
И эни-бэни квинтер жаба.

БАА

В любовных сердце падает столах,
В музы́ке вальса, локонах, поклонах.
Гвардеец брав, и князь хорош – ей-ей! –
И маменьки глядят в лорнет на оных,
Загадывая дочечкам мужей.

Ну, что ж, не зван – лишь по усам текло.
С младых ногтей запомнились зело –
Ещё в школярстве – проза и преданья,
Поэзии «страданья-упованья»,
Дворянских гнёзд безумье и тепло.

Вальсируют легко в стране недужной
Виновники её паденья – каждый...

В Берлине допиваю свой бокал.
Затих оркестр. Короче – кончен бал.

¹ S-ban – городская электричка.

² Arschloch /нем./ – задница.

Маргарита Их

ДЕВОЧКИ

(Журнальный вариант)

– Нет, Маша, это самая настоящая любовь – сказала Тамара, – Если всех слез не выплакала, если сто ночей под окном не ходила, если сто вечеров у калитки не ждала, значит, и не любила вовсе. Такой любви как у Юли не надо стесняться, за неё надо Бога благодарить...

Маша часто вспоминала этот разговор. Горько быть забавой, а ещё горше полюбить такого вот, как этот Юлькин полковник. Да, Юля жила той позорной жизнью, от которой погибали литературные героини: бедные Лизы, Катерины, Анны Каренины. Если наступит ее, Машин черёд, она такой жизнью жить не будет, она уйдет из этого мира, как ушли эти женщины. Мысль о самоубийстве, возникшая после ареста родителей, таилась где-то глубоко и никогда не покидала, помогала терпеть и жить.

...С каждым днем стирки становилось всё больше. Когда Тамара кричала: «Девки, шабаш из два часа!», Маша, не раздеваясь, валилась на койку, впадала в тяжелое забытье, а снилось все то же: стирка, корыто, мыльная пена...

Она слабела, теряла силы, от недосыпа переставала понимать, когда день, когда ночь.

Ближе к вечеру пришёл ординарец: Тамару к начальнику штаба! Вернулась утром:

– Девочки, бои под Волоколамском идут, опять много раненых привезли, они говорят: там немцев положили – поля необозримые!

Юля разогнулась от корыта, подняла голову, тихо проговорила:

– А рядом наши будут лежать... Там земли песчаные, лёгкие...

– Да, точно, мы как-то на базаре волоколамскую картошку продавали – откликнулась Оля, – Она от песка во какая вкусная!

– Оля! – всплеснула руками Тамара. – Ты что?! Мы о наши бойцах погибших, а ты о картошке! Оля умолкла. Долго думала, как всегда, о чем-то своём и вдруг сказала:

– Девочки, давайте подадим все рапорта на передовую, а?

Там бои не каждый день, иногда на отдых выводят, а ранят если, в госпитале отоспимся. Здесь мы все от работы сдохнем, даже лошадям отдыхать дают, а мы два месяца уже без отдыха, а вчера даже на часок на концерт не пустили! И паек урезают, и наград уж точно никаких не дадут, а бомбят ведь нас, как всех.

Маша подала рапорт первой.

В штабе майор поднял голову от бумаг и раздраженно спросил, с каждым словом заводясь всё больше и больше:

– Каким тебя шипом укололо? Чего бузу заводишь? Все с ума посходили, на передовую просятся, словно она медом мазана! В окопах, в грязи поспать захотелось? Чтобы шинель к спине примерзала? А тут раненые пусть во вшах лежат, да? Мы все на фронте, ясно?! Рядовая Волгина! Смирно! Крууу-гом! Шагом марш на рабочее место!

Маша вернулась из штаба, легла лицом к стене. Подбежала Юля, опустилась на колени, просунула руку под тонкую, худую машину шейку:

– Маш, ты голодная? Может, поешь что-нибудь?

Внезапно вскочила, тряхнула головой, надела чистый халат, всех попросила к столу. Девушки поняли: разговор будет серьезный. Оля разлила чай. Юля отодвинула кружку, обвела всех глазами:

– Девочки, вы понимаете, зачем мы здесь? Нашу работу: дрова рубить да воду таскать – мужики лучше нашего сделают, а белье гладить выздоравливающие могут. Нас здесь за блядей держат, потому – близко от штаба. Нам отсюда бежать надо! Ольгу и Тамару в деревне спрячут, да и то до времени, а вот Маша...

Её в городе сразу застукают. Но я знаю, что делать. Сегодня же комнаты простынями разгородим, будем мужиков пускать, бог даст, понесем. И тогда...

– Юля, что ты говоришь, ведь грех!

– Какой грех? Война – грех, бабе помирать, не родивши, грех. Если в войну родить сына, тебе все грехи простятся!

Оля вскрикнула:

– Мне нечего прощать, я до себя никого не допускала!

– Оля, ты не о том...

– Не о том! А из комсомола выгонят? Куда с дитём пойду?

– Пусть выгонят, себе на позор. А на работу брать не будут, я всех у нас в колхозе устрою. Как работаем, так и жить будем.

Маша смотрела на Юлю, не узнавая в этой суровой женщине ту девчущку, которая несколько месяцев тому назад подошла к ней на вокзале, и думала: «Значит, Юля нашла цель в жизни: спасти трех девушек, заблудившихся и хатосе войны. Эти девушки должны поверить, что всё в жизни можно победить

усилием воли. Она, Юля, понимает, что это не так, но мы, девушки, должны в это поверить»... Маша вздохнула и стала пить свой морковный чай.

В тот вечер больше не стирали, не гладили.

Из деревни Тамара принесла самогону. Маша испекла шанежки. Зажгли все четыре коптилки из снарядных гильз, надушились Зоиными духами. Ждали гостей.

Юля вышла, вернулась с тремя молодыми парнями. Двое были шофёры из транспортной роты, третий – красноармеец госпитальной охраны. Они принесли патефон и одну-единственную пластинку: «К Элизе» Бетховена. Грустные звуки рояля создали тихое, совсем не бордельное настроение. Все стеснялись друг друга, молчали, не двигались. Парни как сели на одну койку, так и сидели, словно каменные. Только лица у них краснели и становились всё напряжение. Маша поглядела на них и ушла за печку. Звуки «К Элизе» слышались там, словно шли откуда-то с неба...

Дверь с треском распахнулась. Вошёл лейтенант с вещмешком, вытаскивал поллитровую бутылку спирта:

– Ну!

Юля побледнела: за кражу спирта – трибунал, хотя спирт всё равно воровали. Но лейтенант отбрешется, а солдатам штрафбата не миновать, да и девчонкам не поздоровится! А лейтенант тем временем по-хозяйски выкладывал на стол консервные банки, куски бекона, сыр.

Вскочившим и вытянувшимся в струнку парням небрежно махнул рукой, те послушно и молча сели.

– Кружки-то где? – спросил лейтенант и плеснул в каждую понемногу. – Ну, со знакомством!

Девушки стали отнекиваться, мол, водку в рот не берут, потом отхлебнули по глоточку обжигающей. Маша, сколько ее не упрашивали, даже не пригубила, стала пить чай. Парни после первых глотков освоились, брали наперебой у лейтенанта его трофейный золингеневский нож, резали бекон, ели крупными кусками, было видно, проголодались...

Тамара пила наравне с ними, быстро захмелела, вышла на середину, повела плечами, зло крикнула:

– Ну, мужики, кто первый со мной?!

Вскочил лейтенант, Тамара брезгливо поморщилась, он обхватил её руками, впился поцелуем в губы, прижал к себе и так, прижавшись, они пошли за простыни. Заскрипела кровать, все вслушивались, робея, и не знали что теперь делать. Юля со свойственной большинству женщин чуткостью поняла, что настал момент, подошла к красноармейцу из охраны, он был самый молодой, с нежным пушком на щеках.

– Ты что в первый раз?

– Не...

– Ладно, не ври, иди с Машей.

Он послушно прошел с ней за занавеску, сел рядом, неловко обнял. Маша стеснялась спросить, как его зовут. Боясь шуметь, разделись, легли рядом. Она закрыла глаза. Но он только обнял её и замер, ничего больше не делая, а кругом раздавались тихие и громкие стоны, тяжёлое дыхание, скрипели койки... Постепенно всё стихло.

Мальчик, как звала его про себя Маша, выпустил ее из объятий и взглянул с мольбой в её глаза:

– Я... Я не знаю как. Я не могу...

За занавеску просунулось лицо Юли:

– Вы что? Ждёте, когда патруль застучает?

Мальчик вдруг сжался, свернулся в комок, расплакался горько, совсем по-детски, уткнувшись в подушку. Маша поняла, что ему тоже страшно, может быть, даже больше, чем ей. Она повернула к себе его вздрагивающую голову, осторожно гладила по лицу, успокаивала:

– Ничего не бойся, это со всеми так в первый раз... Уговаривая, Маша понимала, что он «так» не уйдет, он же мужчина, и жить ему осталось, может, годы, а может, часы. Мальчик прижался к ней своим юным, вдруг ставшим мужским телом, и она почувствовала дикую, пронизывающую боль, и никак не могла выскользнуть из этой боли, её мутило, бил озноб... Мальчик опять лег рядом, горячей ладонью гладил Маше волосы, что-то тихо шептал. Слушая его, Маша поняла, что уже не девушка. Она затихла, успокаивалась, перед глазами раскручивался фильм прошлой жизни: игра на рояле, море у Карадага...

Уходя, он обернулся:

– Маша, я знаю, тебе плохо, но разреши приходить к вам, не для этого, а просто так. Я как тебя увидел, так сразу полюбил. А ты меня?

– Я даже не знаю как тебя зовут.

– Меня? Андреем.

– Я буду твоим другом, Андрей.

– Я не о том, я знаю, ты всегда будешь другом, я спросил, ты любишь меня?

– Нет, Андрей. Так как ты спрашиваешь, нет.

Андрей ушёл. Маша подумала: он хороший, он хорошо поступает, но почему-то тяжело бывает не от плохих, а от хороших поступков людей.

Потом ушли шоферы, последним – лейтенант, уже когда совсем рассвело. Девушки дождались, когда за ним закрылась дверь, и сели завтракать остатками принесенного.

В лейтенантовой бутылке ещё оставалось сколько-то спирта. Юля зат-

кнула горлышко и спрятала бутылку и темный угол. Маша улыбнулась своей отрешенной улыбкой, встала к котлу.

Вскоре Маша перестала их различать – тех, кто обещал вернуться. Они не возвращались. Они гибли в атаках и перестрелках, их переводили в другие части, они попадали в окружение...

Бои в октябре шли непрерывно, но их госпиталь никуда не отводили.

Девушки по-своему старались показать Маше, что любят её: собирали ей молочные пенки, которые она особенно любила, а если Маша спала, говорили шепотом, чтобы не- разбудить. Маша сквозь сон однажды подслушала, как Оля говорила:

– Маша москвичка, а держится просто и имя у нее простое.

Кто-то возразил:

– Она не простая, она гордая.

– Что ты, гордые не такие.

– Такие. Держится просто, а что гордые, издаля видно.

Лейтенант ходил к Тамаре. Как-то её не было, а он притащил пол-бутылки портвейна и банку открытых консервов:

Есть будешь, Мария?

Маша отрицательно покачала головой.

– Не хочешь? Портвейну не хочешь? Ну, девки пошли! От такой жратвы отказываются!

Он отхлебнул прямо из горлышка, пальцем подцепил из банки кусок.

– Я тебе, Мария, должен сделать замечание: мужики говорят, ты девка неплохая, однако немного активности тебе не помешает, я хочу тебя кой-чему поучить. На войне надо на жизнь смотреть проще, не зевать, брать побольше всяких удовольствий.

От лейтенанта пахло табаком и портвейном. Стало страшно. Маша вскинула потемневшие глаза, тихо и спокойно сказала:

– Я тебя убью.

– Знаю, слышал, вы, жида всех нас поубивать хотите! Думаете, вы соль земли? Тоже мне – соль, она по десять копеек килограмм!

Несколько дней шёл артобстрел, начиналось большое наступление, значит, сегодня уже никто не придет. Маша вымыла голову, подшила подворотничок, провела пальцем по гимнастёрке: пуговицы в порядке, можно лечь, а если представить себе Новинский бульвар или солнечную сторону Арбата, можно быстро заснуть.

В окно три раза постучали, значит, к ней. Вошёл незнакомый сержант – черноволосый, прямой, бледный, серьёзный. Вынул из кармана два кусочка побуревшего сахара:

– Тебя Машей зовут? Будь добра, напой чаем.

«Будь добра!» – Маша уже давно отвыкла от таких слов. Она готовила чай, сердце стучало, руки не слушались: «Будь добра... Будь добра... Я буду доброй. А он? Он зашел и уйдёт, уйдет навсегда...».

Когда принесла чай, сержант спал, положив голову на стол. Помогла ему, сонному, лечь на постель, сняла с него сапоги, потом прилегла рядом не раздеваясь. Он приткнулся лбом к ее руке у самого плеча. Лежать было неудобно, рука затекла, болела поясница, но Маша не шевелилась. Он проспал часа два. Проснувшись, поцеловал Машину ладонь, – ей вспомнилось, что так делала мама. Встал, поправил коптилку, огонек затрепетал, запахло горячим маслом. Сержант обернулся, покраснел, ему было неловко, сказал:

– Это я с тобой так заснул?

Разделся, лёг навзничь на койку, положил её голову себе на плечо. Ее волосы щекотали ему подбородок, но он не шевелился. Потом обнял ее, повернул к себе и, целуя, стал раздевать. Потом Маша ненадолго уснула. Она никогда ни о чём не расспрашивала. Если человек пришел, значит, ему плохо без женщины. А когда уйдёт, лучше ничего о нем не знать. Сейчас всё было по-другому. Почему? Потому что поцеловал ей ладонь? Или потому что сказал про чай, а не: «Давай по-быстрому!»?

– Тебя как зовут?

– Филиппом.

– Ты женат?

– Неет... Хотя однажды чуть было не женился...

– А почему разладилось?

Он помрачнел:

– Да у неё отец был большой начальник.

– А что, на такой нельзя жениться?

– Машенька, нашу с тобой жизнь мы будем делать сами. Пока ты спала, я всё думал, думал, как будем у нас в Чумбулуте жить. Новый дом построю. Я ведь охотник, хорошо зарабатывал, соболя добывал, белку...

Маша подумала: почему он говорит так уверенно? Что он о ней знает? Что она знает о нём?

– Где это Чумбулут?

– От Тобольска двести вёрст по Иртышу, да в сторону ещё сто двадцать тайгой.

– Вижу, у тебя были девушки.

– Были, конечно, но ненадолго. Я не хочу об этом.

Он целовал осторожно, едва касаясь губ, обнимал спокойно, уверенно, нежно, как обнимают жену. Было сладко, как никогда до того.

– Нашего сына как назовём?
– А как тебя маленького звали?
– Филей.
– Значит, будет второй Филя, мне так нравится: нежно, нежно...
– Машенька, ты меня любишь?
– Да. Сначала думала, ты как все... А сейчас люблю...
– Мне надо идти. Я приду завтра и буду приходить каждый день, мы будем с тобой говорить долго-долго.

Он встал, оделся, разрезал пополам бутерброд с тушенкой. Как много может сказать самый простой жест!

Назавтра Филипп не пришёл, не пришёл и через неделю. Маша понимала: наступление, перебазировка, но сообщить о себе можно! Значит, как все – пришёл, попользовался, ушёл. Но временами жадно верила, что вот-вот постучит в окно.

Стучали, но не к ней.

Она взглянула на кровать, где он лежал, положила голову на подушку и прошептала такие слова: «Матушка, царица небесная, пошли ко мне смерть!».

На третью неделю ночью всех разбудил громкий стук в дверь, отчаянный, непрерывный. Юля крикнула:

– Отворите, это кто-то из своих!

В дверях стоял Филипп:

– Маша, прости, что не мог о себе сообщить! Нас отводили, а сейчас...

Наступление утром. Тут адрес моих в Чумбулуте. Поедешь к ним, они сэберегут тебя и сына.

Маша кинулась к нему, он положил руку ей на голое плечо, отстранил:

– Нет, Машенька, не надо. Вот уж, если вернусь, тогда. Прощай! И поцеловал и грудь.

Он погиб в первом же бою. Плечо, на котором лежала его рука, ещё долго горело. Другое плечо казалось прохладным, а это горело. Весть принес незнакомый красноармеец, рассказал, что перед боем обменялся с ним адресами: кому сообщить, если что...

– А он сказал, чтобы зашел и прачечную госпитальную, к Маше. Это вы, правильно?

Красноармеец протянул записку: несколько строк чернильным карандашом. Почерк твердый, открытый. Маша подумала: другого у Филиппа и быть не могло.

Маша опустила на узел с бельем, не плакала, не причитала, обхватила голову руками и шептала:

– Я его не полюбила! Я его не полюбила, это потому! Я его не успела полюбить гак, чтоб сохранить от пули!

Юля присела рядом, обняла за плечи:

– Подружка моя. дорогая моя! Поплачь, поплачь!

И Маша громко заплакала.

Юля плакала тоже, подошли другие девушки, и все, кто тихо, кто громко, всхлипывали, а Юля говорила сквозь слезы:

– Ты молодая, у тебя все впереди, это пройдет, нет такой боли, которая бы не проходила, все пройдет!

Марлиз Шмидль

*Из книги «Блузка шелковая
с розовым оттенком»,
стихотворения*

*Перевод с немецкого
Бориса Шапиро*

ЗА ТАНКАМИ ВОСЛЕД

Поэма

I
Фронт приближался,
громыхание
становилось всё громче.
Два немецких солдата
у садовой калитки
клянчили штатское.
У матери мужского не нашлось.

В нашей пристройке
комнатка, тесная для троих.
Две кровати, два стула,
шкафчик висячий и стол,
в кухне плита
с кольцами,
зимой наледь на стенах.

В зеркале у двери
и в облике старшей сестры,
тонкой тёмноволосой,
отдалённый образ

норвежских крестьян
читаю
в моём лице.

Ночь будто вломилась.
Первые русские
в длинных шинелях
пришли,
на краю деревни копали,
насыпали
заградительные валы.

Сидели
в подвале без окон
мы сёстры
и сосед,
похоже,
фольксштурмовец.
Крышка люка над нами.

В кухне на люке
мама с соседкой.
Потом стук дверей,
ругань, громко,
слова
мы слышали,
не понимали.
Сапоги многие
топали
над головами.
Голоса, приказы, приказы.
Вселяются на ночлег.
Гром канонады
прямо вокруг дома.

«Быстро, быстро!» –
люк откинут,
двери распахнуты,
мы грузим, что попало,
нужное и ненужное, на велосипеды.

Семейный альбом
сую к себе в сумку.

Танки катились,
перестрелка,
мёртвые лежат, будто спят.
Шоссе змеится, как живое.
Бежим по бездорожью,
поля перепаханы воронками
и следами гусениц.

II

Танки катятся
нам навстречу,
а между ними
и обломками грузовиков
книга.

Я её подняла,
обтёрла обложку.
Белокурый силач
на коне
сжимает копьё в кулаке.

Бежать утомительно
по изрытому полю,
огибая трупы.
Собака держится боязливо
вплотную моих следов.

Песок усеян
рассыпанными деньгами,
рейхсмарки.
Я не нагнулась.

На руле моего
велосипеда
приторочена
книга
«Немецкие сказания о героях».

III

Скирда на поле,
ночлег.
Приглушённые голоса
из-под соломы.
Выстрелы, крики
из леса неподалёку.

Собака моя
вдруг зарычала.
Солому откинули,
чьи-то руки меня
поволокли
через поле.

Я кричала,
била в чьё-то лицо,
не видя его.
Лес всё ближе и ближе.
Я онемела
от страха.

Из темноты
прибежала мать,
хватала его, умоляла,
просила, чтоб взял часы.
Солдат
пнул её в грязь.

Лес уже близко совсем,
холодное дуло ружья
упёрлось в шею.
Съезжаю
на землю
без чувств.

Он рванул ружьё вверх,
повернулся и
отошёл.
После этой ночи я слышу,

если женщины
плачут по-другому.

IV

Мы все попадём в Сибирь,
говорили беженки.
Перед нами имение, хутор
осиротелый,
брошенные фуры со скарбом,
покинутая скотина
мычит безысходно.

Армейская часть, арьергард,
вставала на постой.
Подневольный труд в хлеву,
вечером руки
ломило
от дойки.
Мать поставили поварихой.

Шоссе на Берлин – беженцы
сплошным потоком.
Ночью мы
с сестрой носили
украденное зерно
в деревню,
меняли у пекаря на хлеб.

Страшные тени
гнались за нами,
обступали со всех сторон.
В темноте
всё вокруг чужое,
поле не кончится никогда.
Хлеб прижимали к груди.

Ночевали в сарае на соломе.
К женщинам
подкладывались солдаты.

Дверь сарая скрипела
снова и снова до утра.
Я под лестницей нàверх
плакала изо сна в сон.

V

Один солдат
затащил меня на телегу,
рылся в узлах с одеждой
исчезнувших в никуда хозяев.

Долго разглядывал
шёлковую розовую блузку,
а чёрную бархатную юбку
ощупывал и нюхал.

Потом приказал мне
раздеться.
Так и стояла полуголая,
мёрзла от страха.

А он,
этот монгол,
блузку надел на меня
и юбку напялил.

Рассмеялся,
заставил меня повернуться,
сказал «хорошо»,
хлопал в ладоши.

Вечером
двор опустел,
перед нашим сараем
постовой.

Женщины попросили защиты
у командира,
дверь ночью
больше не скрипела.

В сумерки
я прокралась,
одежду свою
забрала обратно.

VI

Тишина улеглась
над разорёнными полями.
На обочинах
мёртвые,
молодые лица
с открытым ртом.

Приказ
копать могилы.
Мне дали лопату
слишком тяжёлую.
Мать
в ужасе.

Нас конвоировал
старый солдат.
Вдруг он
схватил меня
одной рукой,
бросил быстрый взгляд

и:
ты – нет!

VII

Колонна пленных во
всё шоссе шириной
под конвоем
русских верховых.
Обессиленные,
кое-кого
поддерживает сосед.
Я скатилась по косогору

к дороге.
Конвоир
натянул поводья,
лошадь остановилась.
Хотела спросить,
куда?

Он посмотрел
косо через плечо
уголком глаза, поднял руку,
будто из памяти или из взгляда
тысячу лиц одним движением стёр.
И сказал:
Берлин наш.

Юрий Векслер

ПИСАТЕЛЬ И ИСТОРИЯ

*К первой публикации в России «Избранных сцен» из романа-драмы
Фридриха Горенштейна «На крестцах».*

*Лишь тогда, когда России удастся исцелить свои
исторические язвы, бытовые, политические и эко-
номические гнойники, берущие начало в XVI веке, за-
падноевропейские идеи не будут служить солью, эти
язвы травящей.*

Ф. Горенштейн

В конце 2001 года, будучи уже смертельно больным, Фридрих Горенштейн в последний раз был в Москве. И он сказал тогда в интервью Анатолию Стародубцу: «...в американском издательстве уже на подходе 800-страничный роман-пьеса «На крестцах» об Иване Грозном, написанный на языке того времени. Труд многих лет жизни. Жаль, что этого не прочтёт российский читатель, для которого все это и писалось». Для пессимизма у Горенштейна было достаточно оснований. За десять предыдущих лет у него в России вышла только одна книга – роман «Псалом». Его игнорировали. За год до интервью «ЭКСМО», издавшее «Псалом» отдельной книгой, отказалось переиздать роман «Место» по причине «слишком большого объёма»... И вот спустя 15 лет россияне могут, наконец, начать знакомиться с адресованным им (как, собственно, и все творчество Горенштейна) романом-драмой со старинным названием «На крестцах» (современным эквивалентом названия было бы «На перекрёстках» или «На перепутьях»). К сожалению, это, как и многое другое (переиздания книг, экранизации, мировая премьера любимейшего произведения автора пьесы «Бердичев»), происходит уже после смерти ушедшего из жизни в 2002 году автора. Мегадрама «На крестцах» заканчивается монологом летописца – дьякона Герасима Новгородца: «...Земля уж не выносила злодейств царя Ивана-мучителя, испуская благостные вопли, тихо сама о беде

плакала. (Некоторое время молча пишет.) Однако пособил Бог, царь отворачался еды и отринул, жестокое своё житье окончив. Давно писал сие, ныне уж оканчиваю написание многогрешною рукою своею. Ещё одна последняя епистолия, и летопись окончена моя. (Пишет.) ...Сия книга грешного чернеца, дьякона Герасима Новгородца, писана его скверною рукою. Прости меня, Бог. Слава свершителю Богу! Аминь! (Оканчивает писать и ставит точку.)» Думаю, что и сам Горенштейн в момент написания этого последнего монолога, так же как и его герой, испытывал радость и облегчение по поводу окончания многолетнего труда. Герасим Новгородец не выдуман Горенштейном, он существовал реально. Но для того чтобы он, как и другие исторические личности, стал реальностью для читателя или зрителя будущего спектакля (что в случае с «На крестцах» вполне возможно), нужен автор, его воображающий, в него перевоплощающийся. У Горенштейна в «На крестцах» не меньше сотни действующих лиц, и все они (монархи, военачальники, придворные, священнослужители, простой народ) зримы, объёмны – литература и драматургия сценариста-мастера Горенштейна с его любовью к подробностям и деталям – это всегда 3D, если выразиться современным кинотермином, а то и 4D. Перевоплощаясь в своих героев, Горенштейн их как бы рождает из себя заново и сопровождает по жизни, пытаясь увидеть и ощутить их изнутри. Это и есть художественность. А «в художественности дна нет, как в открытом космосе», – написал однажды Горенштейн. В «На крестцах» перед нами предстаёт, можно сказать, бездонный «русский космос». Читателю этой книги предстоит глубоко погрузиться в русскую историю. Для чего? На это каждый может и должен ответить для себя сам. Можно сделать это, например, просто проявляя интерес и доверие к писателю, автору знакомых уже великолепных произведений, таких как «Искупление» или «Зима 53-го года»... А вот зачем это путешествие во времени предпринял сам Горенштейн? Какое послание российскому читателю содержит этот труд? Осенью 1991 года Горенштейн впервые приехал в Москву после 11 лет эмиграции. Бравший у него тогда интервью Виктор Ерофеев спросил: «Ты живёшь сейчас с немецким паспортом, в Берлине, и как ты себя ощущаешь, каким писателем: еврейским, русским, немецким?» Ни один из трёх предложенных ответов на этот шутливый и одновременно провокационный вопрос Горенштейну не подходил. Он сказал: «Я не знаю. Мне трудно сказать. Я думаю, что лучше всего сказать, что я специалист по России и специалист по Германии». На самом деле на вопрос, русский ли он писатель, Фридрих Наумович Горенштейн ответил своим творчеством. Ответил, написав в Берлине без каких-либо договоров с издателями или с театрами две драмы из русской истории, отдав им более 10 лет жизни, – пьесу о

Петре Первом «Детоубийца» и предлагаемую ныне вниманию читателей мегапьесу «На крестцах» об Иване Грозном. Кто ещё из современников отважился на такое? Пьеса Горенштейна «Детоубийца» была в России поставлена в пяти театрах. Писалась ли в расчёте на будущую постановку предлагаемая читателю хроника «На крестцах»? Нет, конечно, но писатель, несомненно, мечтал увидеть своих героев на подмостках русской сцены. В одном из писем Лазарю Лазареву сетуя на «разрастание» текста в процессе работы, он замечает: «Для сцены надо будет сокращать вчетверо». Из письма Ф. Горенштейна Л. Лазареву: 25.4.90 «Уже несколько лет занимаюсь я материалами по Грозному. Хотел бы Вас спросить – нельзя ли приобрести книгу – «Памятники литературы древней Руси. Вторая половина XVI в.» Москва. Художеств. лит. 1986. Общая редакция Дмитриева и Д. Лихачёва. Ф. Гор». 21.6.90 «Нет ли у Вас кого-либо из людей, близких Д. Лихачёву? Мне бы надо добыть ксерокс по нескольким небольшим работам, на которые Лихачёв часто ссылается, но найти я их не могу. Это завещание Ивана Грозного 1572 года. Это текст «Канон Ангелу Грозному», который Ив. Грозный подписал псевдонимом «Парфений Уродивый». Это церковные службы Ив. Грозного. А так же сочинения сына Ив. Грозного – Ивана. Житие Святых. Например, «Житие Дмитрия Прилуцкого». Работы эти считаются второстепенными, не политические, но они важны для меня, потому что личные для моих героев. (Если когда-нибудь у меня дойдут руки и они станут моими героями.) Дело это не срочное. Но вдруг случайно представится возможность». И ещё одно письмо того же года: 30.11.90 «Я взвалил на себя непомерный труд (или, может, возраст уже сказывается?). Три года изучал материал по Грозному. Уж больше месяца пытаюсь начать, но все не получалось, все не то. Написал уже несколько раз первую сцену и выбрасывал. Теперь как будто нашёл, но что будет дальше – не знаю. Я мог был написать за это время одну-две книги. Однако романы в русской литературе есть и есть даже неплохие. А пьесы о Грозном нету (пьеса А.К. Толстого – школярское изложение)».

Из письма от 1.6.92: «Я трудно работаю над Грозным. Окончил первую часть в прошлом году и треть второй части в этом году. Все расплзлось за счёт риторики. Время было очень риторичное. Без риторики пропадёт аромат». Здесь зафиксирована первая попытка Горенштейна написать вроде бы уже сложившуюся в голове пьесу, точнее, по первому замыслу, две пьесы – театральную дилогию. Позднее Горенштейн отказался от написанного и в 1994 году начал писать заново. Со второй попытки ему удалось завершить сочинение мегадрамы. Вопрос, будет ли его хроника интересна театрам или кино, был для Горенштейна, конечно, второстепенен. Двигало им то, что он видел в современной ему России продолжение

её давней истории, в которой царствование Ивана Грозного он считал ключевым, корневым периодом. О своем понимании времени Грозного Горенштейн высказался в 1991 году в том же интервью Виктору Ерофееву. ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. Ну, так, традиционно, ты веришь в Россию, или тебе кажется, что это – проклятое место? ГОРЕНШТЕЙН. Это неправильная формулировка. Что значит «веришь в Россию или не веришь» – это говорили так называемые национал-патриоты: «В Россию можно только верить». Я думаю, что Россия встанет. Только она должна (будет) отказаться от каких-то важных своих костылей. Прежде всего, арифметика должна быть другой. Мне не нравится арифметика в 72 года (время правления коммунистов. – Ю.В.). Это 450 лет. Это структура 450-летней давности, и это очень важно. ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. То есть 72 года – это болезненный момент, но все эти болезни начались гораздо раньше. ГОРЕНШТЕЙН. Гораздо раньше. Как раз Калита, как раз период Ивана Грозного, когда страна могла сложиться совсем по-другому. И, конечно же, что за тема «Ивана Грозного»? Это победа одного образа жизни над другим образом жизни. Это победа московского монголоидного кочевого образа жизни над новгородско-псковским образом жизни эгоистически-индивидуальным. ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. И гораздо более свободным... ГОРЕНШТЕЙН. Свободным и умелым, ничем не отличающимся от Запада. И вот три века потомки Калиты ломали хребет этой России, и сломали её только к концу царствования Ивана Грозного. Отношения между монголоидной Москвой и Новгородом было такое же, как теперь отношение между Россией и Литвой. Они завидовали, они ненавидели. Они старались там поселиться. Они всячески переселяли новгородцев и псковцев куда-то в глубинные места... То есть мы узнаем современные проблемы. Мы подошли опять к проблемам, которые существовали 450 лет назад. ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. Значит, для России важно вернуться к новгородскому вече или к чему? ГОРЕНШТЕЙН. Нет, не к новгородскому вече, а к образу жизни эгоиста, образу жизни индивидуалиста... ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. Европейскому образу жизни? ГОРЕНШТЕЙН. Тому образу, который существовал до того, как Калита создал это государство.

Это сказано уже после нескольких лет изучения материала и первых проб. То есть формулы Горенштейна не умозрительны, а возникли в процессе работы. Но Горенштейн, изучая горы исторических документов и книг и обретая своё видение целого, не подвёрстывает драму под это своё видение событий, видение истории. Он следует за «бегом времени». В этом одна из причин разрастания текста в процессе написания.

Предпоследнее крупное сочинение Фридриха Горенштейна «На крестцах» – это хроника жизни России в последние 14 лет правления Ивана

Грозного с декабря 1569 года. Как и в его драме «Детоубийца» о Петре Первом, герои говорят языком весьма приближенным к речи описываемого времени. Это было очень важно для писателя. Помимо большого значения для него подлинности речи героев, Горенштейн говорил, что в романной форме ему бы не удалось достичь стилистического единства, так как речь героев находилась бы в конфликте с современным языком повествования и в результате получился бы кич. Поэтому Горенштейн и отказался от повествования, от романа, и выбрал чистую драму.

Повторю, что работа над «На крестцах» тяжело далась автору. Хроника этой работы хорошо отразилась в его письмах Лазарю Лазареву. Вот два последних упоминания: 1995–1996 «Я все не могу вылезти из Грозного. (А.К. Толстой тоже возился с Трилогией семь лет.) Впрочем, уже в этом году надеюсь вылезти хотя бы вчерне». 15.7.96 «Я продолжаю работать над Грозным. Над эпилогом. Но это ещё страниц 50. А всего будет страниц 600–700 (Горенштейн как-то по-своему вычислял количество печатных страниц. – Ю.В.), хоть надеюсь сократить. Роман-пьеса». На последние «50 страниц» ушло ещё полгода работы. Свой многолетний труд Горенштейн завершил в марте следующего 1997 года. Текст уместился на более чем 1600 рукописных страницах, дав в итоге чуть больше 1000 страниц книги. Параллельно с работой над «На крестцах» (подготовкой и написанием первого варианта) Горенштейну удалось написать также и немало другого, в основном рассказы, повести и сценарии. Последние в основном ради заработка, но Горенштейн просто не умел «халтурить», и кинопроза его всегда была высочайшего качества. Однако в течение двух с половиной лет второй попытки написания «На крестцах» Горенштейн ничем другим уже не занимался. Закончив «На крестцах» и не надеясь при жизни увидеть книгу напечатанной в России, Горенштейн в том же последнем московском интервью 2001 года, отвечая на вопрос, чем особо дорого ему это произведение, рассказал Анатолию Стародубцу: «Там среди прочего есть очень важный для меня эпизод. Во времена Грозного рядом с Кремлем на Варварке (на том месте, где теперь церковь) была установлена Варварина икона, написанная Андреем Рублёвым. Но позже её подновлял некий Аламший, который завидовал и ненавидел Рублёва. Из мести он пририсовал на внутренней деке рублёвской иконы черта. Никто этого видеть не мог. Но фактически получалось, что прихожане многие годы молились и черту тоже. Только юродивый Василий Блаженный каким-то шестым чувством это уловил и на глазах изумлённой публики несчастную икону разбил. За это толпа его растерзала».

Был ли сам Горенштейн человеком, иногда догадывавшимся или знающим, где таится невидимый для других черт? Блаженным он не был, а вот

пророком его величали между собой многие, знавшие его. Как оценить написанное Горенштейном в «На крестцах»? В чем разница в подходах к событиям прошлого историков и писателя? Мне как-то довелось услышать от философа Александра Пятигорского следующее высказывание: «Я просто думаю, что, говоря об истории, люди смешивают две вещи: ход событий, который они могут знать или не знать, и второе – человеческая идея об истории, которая может вообще не иметь никакого отношения к ходу событий, это просто стойкая привычка сознания рассматривать какие-то факты как исторические. Я думаю, что наука история, конечно, строго говоря, имеет дело, прежде всего, с сознанием, а не с такими, казалось бы, природовидными событиями. И очень трудно, конечно, убедить в этом историка, для которого есть некая абсолютная историческая объективность. Хотя многие историки стали понимать, и даже раньше понимали, что история – это подход к событию, а не сами события. Это способ нашего мышления о событиях, который мы называем историей. Есть много древних культур, которые, наблюдая события, никогда не наблюдали их исторически. Были культуры древние, где людей никогда не интересовало, что было до и что было после. Мы же универсализируем наш исторический подход, считая его абсолютным».

То, что история и её интерпретации то и дело становятся предметом для манипуляций в политических целях, мы видим в наши дни и, несомненно, будем видеть и далее. И в самом труде Горенштейна, в его финале мы видим, как пишется официальное житие Ивана Грозного, пишется под строгим присмотром власти, пишется по канонам жития святых, то есть не считаясь с фактами реальной жизни и деятельности царя. Но есть, однако, ещё и Герасим Новгородец. Один из ярких примеров описанной попытки политики кроить и интерпретировать историю в угоду своим интересам в прошлом был явлен в беседе Сталина с Эйзенштейном по поводу первой серии фильма о все том же Иване Грозном. Беседу записал присутствовавший на ней и участвовавший в разговоре исполнитель роли Грозного Николай Черкасов. Причём не только Сталин, но и Жданов с Молотовым высказывались на тему, как именно надо изображать то или иное историческое явление, в частности опричнину. «Сталин. Вы историю изучали? Эйзенштейн. Более или менее... Сталин. Более или менее?... Я тоже немножко знаком с историей. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина – это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамёна и уходить с войны, – образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны как ку-клукс-клан. Эйзенштейн сказал, что они одеты в белые колпаки, а у нас – в черные. Молотов. Это принципиаль-

ной разницы не составляет. Сталин. Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решения... Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана Грозного в таком направлении были допущены отклонения и неправильности. Пётр I – тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России. Ещё больше допустила его Екатерина. И дальше. Разве двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы. Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввёл государственную монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто её ввёл, Ленин – второй». В конце беседы Сталин, можно сказать, «проговорился», дав свой собственный, личный взгляд властителя на фигуру Грозного. «Сталин. Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал... Нужно было быть ещё решительнее».

Не скажу за Сталина или Эйзенштейна, а вот о Горенштейне историк Ирина Щербакова, хорошо знавшая творчество автора «На крестцах» и его лично, сказала с убеждённостью: «...у него был, безусловно, дар погружения в историю». Уже начав собирать материалы для Грозного, Горенштейн в повести «Последнее лето на Волге» (1988) пишет: «И вот в наше итоговое время принудительно, рукотворно слились в русском море славянские ручьи, образовался огромный искусственный водоём-океан, который мелеет и иссыкает. Особенно же мелеет и иссыкает русская жизнь, русский национальный характер. Мелеть он начал не сегодня, не вчера, не позавчера, а более чем четыреста лет назад, когда был избран принудительный, рукотворный поворот чужих ручьёв и рек в русское море. Понять это до конца может не взгляд изнутри, не русский ум, а скорей орлиный взгляд сверху, внешний взгляд Шопенгауэра или Шекспира, а то и скромный взгляд со стороны таких пасынков России, как я...»

Горенштейн был свободен от каких бы то ни было идеологических

установок и табу. Он следовал своему дару и чутью. В эссе «Лингвистика как инструмент познания истории» (1993) Горенштейн изложил своё credo в подходе к изображению исторических событий: «...На мой взгляд, литератор, обеспокоенный современностью и желающий изучить и восстановить её исторические корни, должен забыть о своих идеологических и философских пристрастиях, так же как и археолог, осторожно снимающий верхние слои и добирающийся все глубже к нижним, или как аморальный гробокопатель, будоражающий мёртвых. Да, я бы сказал, в подобной работе надо забыть даже о морали. Мораль необходима в истории живой, в истории мёртвой, в истории «обратного хода» надо попытаться взять за образец аморализм «чистой сердцем» природы. Ибо только та история правдива, в которой о мёртвых, кто бы они ни были, не боятся говорить плохо, вопреки пословице. Но и не стараются использовать безответность мертвеца, чтобы пнуть его ослиным копытом. Особенно когда мертвецу-империи 450 лет. В драме «Детубийца» из петровской эпохи, оконченной мною в 1985 году, и в диалогах из времён Ивана Грозного «На крестцах», над которыми уже несколько лет продолжается работа, я стремлюсь использовать для познания исторических фактов лингвистику эпохи, причём не только по проверенным источникам, но часто по мифологии и фольклору. Пытаюсь через слова, произносившиеся давно истлевшими устами, ощутить живую суть послемонгольской России, крестьянской Азии, упорно, с энергией, со страстью отрицающую торгово-промышленную Европу». Писателя Горенштейна в людях и ситуациях всегда интересовали подробности, даже самые мельчайшие. И результат его труда в «На крестцах» поражает – такого полного собрания поступков, помыслов, взглядов, страстей и фобий Ивана Грозного до Горенштейна явлено не было. И все это в драматической форме, в действиях. Исчерпывающий портрет. Международная политика, войны, и наряду с этим убийства, совершаемые царём лично, казни, изнасилования, садизм, 8 жён, 1000 других женщин... И при этом подлинный интерес царя к науке, к книгам, к мудрости... Но ещё больше к властвованию с учётом рекомендаций Макиавелли, которого читал и Сталин. Борьба Бога и дьявола, клубок противоречий в душе этого человека. Странности на первый взгляд: при всем его стремлении возвысить Россию и оградить её от иноземных влияний, мы видим его тягу к Западу, стремление влить Россию в Запад. Иван Грозный прожил 53 года, из них 50 лет он был на троне. В событиях последних 14 лет царствования, отражённых в пьесе Горенштейна, мы видим царские победы и поражения в войнах, его ум и одновременно его трусость и малодушие, например готовность бежать от опасности пленения крымским ханом в Англию, бежать, прихватив с собой свои сокровища. Мы видим его попыт-

ки жениться в девятый раз (церковь позволяла монарху только два брака) – на английской принцессе, а до того – на сестре польского короля и многое другое... Историка всегда может опровергнуть другой историк. Но историку не под силу опровергать талантливого писателя или драматурга. Горенштейн явил нам свою историю периода Грозного. И дал он нам её не умозрительно, а чувственно, с поистине шекспировским размахом. С такой же художественной силой и убедительностью.

Например, царь Иван, показанный как садист, как закоренелый грешник, сочувствия не вызывает, кроме одной минуты, одной сцены. Это момент, когда он осознает, что, скорее всего, непреднамеренно убил родного сына и уничтожил, таким образом, своими руками возжеленную возможность продолжения династии. И в перевоплощении в эту минуту Фридриха Горенштейна в Грозного автор заставляет нас вопреки всему пожалеть этого изверга. В таких чудесах восприятия проявляется высочайшее мастерство и талант автора. В нескольких сценах дано незримое, но явственное присутствие дьявола, о котором герои нередко рассуждают. Дьявол здесь не материализуется, как в снах героя в имеющем немалое сходство с «На крестцах» сценарном повествовании Горенштейна о Тимуре – Тамерлане. Но дьявол, повторяюсь, присутствует, хотя и незримо, и некоторые герои, например обуреваемый гордыней завистник Андрея Рублёва художник Аламппий, да и сам Грозный присутствие дьявола чувствуют, и эти ощущения героев благодаря мастерству Горенштейна передаются читателю.

Горенштейну удалось также и многие массовые сцены – народные и батальные, например оборона Пскова. Вообще же лучшие сцены мегадрамы Горенштейна не уступают по мастерству шекспировским хроникам. При понимании Горенштейном истории России после конца царствования Грозного как 400 лет своеобразного застоя, саму жизнь при Грозном он рисует многообразной на всех уровнях и в массе подробностей. «На крестцах» начинается с разгрома Грозным Новгорода и Пскова, а заканчивается уже после смерти самодержца, в дни царствования его слабоумного сына Фёдора, при реальном правлении Бориса Годунова. Но в финале сочинения Горенштейна на первый план выходит не новый царь Фёдор и его приближенные, не Годунов, а Василий Блаженный, блаженная Анница (яркий образ, рождённый творческой фантазией Горенштейна) и летописец Герасим Новгородский. Горенштейн в своем творчестве показал себя незаурядным и ни на кого не похожим драматургом. Лингвистический подход привёл его к созданию трёх монументальных речевых фресок разных исторических эпох – пьес «Бердичев», «Детоубийца» и мегапьесы «На крестцах». Совсем недавно в московском театре «Мастерская Петра

Фоменко» состоялась мировая премьера первой пьесы Горенштейна «Волемир». Ждёт своего открытия русским театром его мощнейшая пьеса «Споры о Достоевском». Станет ли материалом для театра, кино или телевидения эпопея «На крестцах», мы не знаем, но прекрасно, что она, наконец, приходит к русскому читателю.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Елена Мадден Литературовед. Изучала славистику в университетах Лейпцига и Берлина. Автор литературоведческих статей в академических сборниках и в русскоязычной прессе Германии и Америки.

Марина Науйокс Переводчик немецкой поэзии. Москвичка, с 2005 г. живёт в Берлине. Переводила средневековую немецкую поэзию, стихи литературного кабаре 20-х годов, поэзию декаданса и экспрессионизма, стихи К. Тухольского, Й. Рингельнатца, Б. Брехта, современных немецких поэтов, а также немецкоязычную лирику Швейцарии и Австрии. Из прозы переводила рассказы Б. Брехта и детективы Фердинанда фон Шираха. Переводы М. Науйокс публиковались в журналах «Новый мир», «Иностранная литература» и «Студия».

Леонид Лейках Родился 1929 г. в Одессе. Станкостроитель. Кандидат технических наук. Многократно печатался в технических и научных журналах. Литературным творчеством занялся в Берлине. Сотрудничал с газетой «Русский Берлин».

Ольга Завадовская Родилась во Львове. Основная профессия – преподаватель музыки. Её стихи часто можно видеть в русскоязычных изданиях Германии. «Я снова в ожидании чуда», «Лирика», «Немыслимо любить» – книги лирических стихотворений поэта. Живёт в Берлине.

Леонид Немировский Родился в Одессе. Окончил Московскую консерваторию, пианист и композитор. Жил и работал в Москве. Писал музыку для театра и кино. Автор литературно-музыкальной композиции по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» для театра. Живёт в Берлине с 1995 года.

Карл Абрагам Родился в Берлине в 1930 году. По профессии врач-гинеколог. После прихода к власти нацистов семья эмигрировала в СССР. Публиковался в журналах «Донбасс» и «Радуга». В 2000 году вышла его книга «Два часа и вся жизнь». Вернулся в Берлин в конце 90-ых прошлого века.

Михаил Гельцер Родился в 1931 году в Украине, в Кировоградской обл., окончил литературный факультет пединститута в г. Куйбышеве. Работал учителем. Творческой работой занимался со студенческих лет. Живёт в Берлине с 1995 года. Здесь издал книгу воспоминаний «Ковчег печали».

Любовь Рейнгач Родилась в Запорожье. С 1975 г. жила и работала учителем

музыки в Подмоскowie, в Жуковском. В 1999 г. эмигрировала в Германию. Публиковала свои стихи как в немецких русскоязычных изданиях, так и в России – «Библиотека Урала», «Родная речь», «Ступени». Издала два поэтических сборника – «Бежало полотно» и «С чистого листа». Умерла в Берлине в 2012 г.

Константин Июльский Журналист, корреспондент РББ /Радио Берлин-Бранденбург/. Его корреспонденции, рассказы и очерки печатаются в русскоязычной прессе Германии. Живёт в Берлине.

Генриетта Ляховицкая Родилась в Ленинграде. Инженер. Литературные публикации – с 1984 г.: в периодике и сборниках ДЕТГИЗа, в журналах «Колобок», «Весёлые картинки», «Нева». С 1994 г. – член Союза профессиональных литераторов в Санкт-Петербурге. Публикации в периодике, журналах и альманахах: «Родная речь», «Гамбург и мы», «Третий этаж». В Берлине вышли семь книг. В Петербурге издательством «Алетейя» в серии «Русское зарубежье» выпущены книги (поэзия и проза) «Лики любви» (2007 г.) и «Талисман запоздалый» (2010 г.). Подборки стихов – в нескольких российских антологиях, включая первую антологию российских писателей Европы. С 1996 г. живёт в Берлине.

Вадим Фадин Член союза писателей Москвы и союза писателей Германии (Verband Deutscher Schriftsteller in der IG Medien). Публиковаться начал в 1963 году. Стихи, рассказы, эссе В.Фадина широко печатались в периодике России и в зарубежной русскоязычной прессе. С 1996 года В.Фадин живет в Германии.

Ульяна Шереметьева Художник, выпускница МГХПА им. Строганова, Москва. Член Международного художественного фонда, СХ России, Германии и Содружества русскоязычных литераторов Германии. Множество публикаций в различных антологиях, альманахах, в сборниках серии «Поэты русского зарубежья», СПб «Алетейя». Лауреат и дипломант ряда Международных поэтических турниров, автор трёх поэтических сборников.

Александра Лебедева Родилась в 1958 г. в Москве. По образованию архитектор. Лауреат конкурса издательства «Немцы из России». 2011 Лауреат литературного международного конкурса «А.С. Пушкин для детей», стихи, 2012, г. Берлин. Лауреат литературного международного конкурса «Русские в Германии, немцы в России», проза, г. Берлин, 2013. Публикации: В газетах «Российский писатель», «Писатель и мир», г. Рига. В альманахах Германии: «Третий этаж», «Волшебная книга сказок», «Литературные страницы», «Наше время», «Шлосс Моабит», г. Берлин и Потсдам. В альманахах России: «Любовная лирика», «Воинская слава», «Сборник стихов», «Писатель года 2012», «Поэт года» 2011, 2012, 2013 г. Москва. Журнал «Аврора» №5, «Мой Ленинград – мой Берлин», 2012, г. Санкт-Петербург.

Борис Рохлин Родился в 1942 в Башкирии После эвакуации семья вернулась в Ленинград. Окончил шведское отделение филологического факультета ЛГУ. Его проза печаталась в ленинградском самиздате: журналах «Обводный канал», «Часы» и др., а также в «Гранях» и «Звезде». Живёт в Берлине.

Михаил Вайман Родился в 1931 году в Украине. В 1941 году вместе с семьёй переехал в г. Куйбышев. Окончил пединститут, работал учителем. Затем учился в Москве в медицинском институте. 35 лет проработал врачом. Автор девяти поэтических книг. Член союза писателей Москвы. С 1995 года живёт в Берлине.

Борис Черепашенец (1923 – 2010) Родился в городе Бердичеве, по профессии инженер. Участник войны. С 1993 г. жил в Германии. Публикации в журналах: «Берега», «Третий этаж».

Виктория Жукова Прозаик, член СП Москвы, член Международного СП, автор 5 книг повестей и рассказов. Имеет многочисленные публикации в берлинских журналах и альманахах. Живет в Берлине.

Илья Китуп Художник и поэт Илья Китуп родился в Вильнюсе. В 1986 году закончил филфак МГУ, участвует в выставках с 1984 года. Автор картин, инсталляций, перформансов, графических работ, иллюстраций и комиксов (журнал «Propeller», 22 выпуска с 1993 года. Живёт в Берлине.

Леонид Усач (1928 – 2005) . Участник войны. Заслуженный артист России, автор и исполнитель юмористических рассказов. Его актерские байки печатались в периодике России и Германии. Автор книги воспоминаний «Закулисные приколы». Последние годы жил в Берлине.

Вера Лурье (1901 – 1998). Поэтесса Вера Лурье родилась в С-Петербурге. Являлась членом литературного кружка молодых поэтов Николая Гумилёва «Звучащая раковина». С 1921 года Вера Лурье жила в Берлине.

Антонина Игошина (Антонина Кудрявицкая). Родилась в Москве. Закончила МГУ, филолог. Переводчица с немецкого и польского языков. Её переводы современной немецкой прозы печатались в русскоязычных изданиях Германии. Живёт в Берлине.

Альфред Ходорковский Родился в Украине (г. Тараща). Окончил филологический факультет Черкасского пединститута. Работал педагогом в школе. Первые стихи и очерки появились в печати в 70-е годы. В 2001 выпустил первый поэтический сборник «Откровение». Затем вышли книги «Возвращение» и

книга переводов немецкой поэзии «Далёкое – близкое». С 1995 года жил в Берлине.

Марлен Глинкин Родился в Киеве в 1932 году. Окончил Киевский автодорожный институт, затем режиссёрские курсы Министерства культуры Украины. Его проза и стихи широко публикуются в различных изданиях Украины, России, Германии. Член Союза писателей Москвы. С 1992 г. живёт в Берлине.

Иосиф Вольфсон (1923 – 1999) Участник войны, учитель истории и директор одной из авторитетных ленинградских школ. Его короткие рассказы печатались в русскоязычных изданиях Германии. Автор книги «Что было, то было...». Последние годы жил в Берлине.

Леонид Кац Родился в Ленинграде, окончил Инженерно-строительный институт в Москве, кандидат технических наук. В Берлине с 1991 года. Публиковался в русскоязычной берлинской прессе: в газете «Русский Берлин», в литературных альманахах «Берега», «Третий этаж»,

Михаил Эненштейн Родился в 1932 году в Одессе. Геолог. Работал на Крайнем Севере, в Средней Азии. Первые публикации в 1957 году. Печатается в русскоязычных изданиях Германии, а также в периодических изданиях Израиля, США, Украины. Живёт в Берлине.

Дмитрий Хмельницкий Родился в 1953 году в Москве. Окончил институт им. И.Е. Репина в Ленинграде. Архитектор, историк архитектуры, журналист. С 1987 года живет в Берлине.

Евгений Денисов Родился в 1949 г. в Душанбе, археолог. Три года (1985 – 1988) находился в заключении (в тюрьме КГБ «Лефортово» и в ташкентской спецбольнице «Чукурсай») за антисоветскую деятельность. Подборки стихов печатались в журнале «Памир» и в других республиканских изданиях. С 1990 г. живёт в Берлине, печатается в берлинской прессе.

Ирина Винклер Родилась и жила в Баку. По профессии инженер-нефтяник. В Германии с 1992 года, в Берлине с 2005 года. Начала писать рассказы два года назад.

Александр Бренер Родился в Алма-Ате. В 1974-1978 годах учился в Казахском педагогическом институте имени Абая, окончил филологический факультет. В 1989 году репатриировался в Израиль. В 1990—1992 годах работал ведущим критиком еженедельника «Бег времени», Тель-Авив. С 1997 года живет в Вене, Берлине и Лондоне.

Анна Мелехова Родилась в Дербенте. Жила и училась в Махачкале. Её проза печаталась в нью-йоркских журналах «Время и место», «Jewish Magazine» и в берлинском журнале «Третий этаж». Живёт в Берлине с 1984 года.

Олег Никогосян Родился и жил в Ереване. С1998 года проживает в Берлине. Публикуется в русскоязычных и немецких изданиях в Германии и Армении. Литературно-актерский псевдоним – AL.EX. Его публикации можно прочесть в интернете на сайтах:<http://www.stihi.ru/>, <http://www.proza.ru/>

Александр Лайко Родился в Москве в 1938 году. Был близок к лианозовскому кругу поэтов и художников. Стихи печатались в журналах «Время и мы», «22» и других зарубежных изданиях, а после перестройки – в России. Автор трёх поэтических книг. Участник антологий «Самиздат века» и «Русские стихи 1950-200». Член Союза писателей Москвы, немецкого ПЕН-клуба писателей. Живёт в Берлине.

Маргарита Их (1925 – 2004) Родилась в Москве. Печаталась в журнале «Третий этаж».

Автор книг «Ферштейн зи?», «Девочки» Жила в Берлине с 1990 года.

Борис Шапиро Родился в Москве 1944, окончил Физический факультет Московского Университета им. М. В. Ломоносова в 1968 г. В Германии с 1975 г. Член Международного ПЕН-клуба, Союза литераторов России, Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга. Более 100 публикаций в периодике: стихи, поэмы, переводы стихов на русский и на немецкий, эссе о поэзии. Живёт в Берлине.

Юрий Векслер Родился в 1946 году в Москве. Выпускник экономического факультета Новосибирского государственного университета и театрального училища им. Щукина (режиссура). Работал в Москве в театре «У Никитских ворот». В Германии с 1992 года. Журналистикой начал заниматься в 1997 году. Работал на берлинском радио, сотрудничает с радиостанциями «Немецкая волна» и «Свобода».

